ПОРТРЕТЫ

НАПОЛЕОН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман-биография «Наполеон» русского писателя Д.С.Мережковского, созданный им в период эмиграции, — одно из наиболее значительных его произведений.

Первая часть романа характеризует масштабы и особенности личности Наполеона, во второй части в хронологической последовательности описана его судьба как полководца и государственного деятеля.

- Дмитрий Сергеевич Мережковский
  - ТОМ ПЕРВЫЙ
    - СУДЬИ НАПОЛЕОНА
    - УСТРОИТЕЛЬ ХАОСА
    - ВЛАДЫКА МИРА
    - ЧЕЛОВЕК ИЗ АТЛАНТИДЫ
    - ЗЛОЙ ИЛИ ДОБРЫЙ?
    - РАБОТНИК
    - ВОЖДЬ
    - COMMEDIANTE
    - РОК
  - ТОМ ВТОРОЙ
    -
    - УТРЕННИЕ СУМЕРКИ
      - I. ДЕТСТВО. 1769–1779
      - II. ШКОЛА. 1779–1785
      - III. АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОРУЧИК. 1785–1792
      - IV. ТУЛОН. 1793–1794
      - V. ВАНДЕМЬЕР. 1794–1795
    - ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
      - I. ИТАЛИЯ. 1796–1797
      - II. ЕГИПЕТ. 1798–1799
      - III. 18 БРЮМЕРА. 1799
    - ПОЛДЕНЬ
      - I. КОНСУЛ. 1799–1804
      - II. ИМПЕРАТОР. 1804
      - III. ПОБЕДЫ. 1805–1807
    - ВЕЧЕР
      - I. ПОЕДИНОК С АНГЛИЕЙ. 1808
      - II. ВОССТАНИЕ НАРОДОВ. 1809
      - III. ДИНАСТИЯ. 1810–1811
      - IV. МОСКВА. 1812

- ЗАКАТ
  - I. ЛЕЙПЦИГ. 1813
  - II. ОТРЕЧЕНИЕ. 1814
  - III. ЭЛЬБА — СТО ДНЕЙ. 1814–1815
  - IV. ВАТЕРЛОО. 1815
- НОЧЬ
  - I. ВТОРОЕ ОТРЕЧЕНИЕ. 1815
  - II. БЕЛЛЕРОФОН. 1815
  - III. СВ. ЕЛЕНА. 1815–1821
  - IV. СМЕРТЬ. 1821

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33

- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77

- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121

- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165

- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209

- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253

- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297

- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341

- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385

- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429

- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473

- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517

- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561

- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605

- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649

- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693

- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737

- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781

- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825

- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869

- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913

- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952
- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957

- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961
- ○ 962
- ○ 963
- ○ 964
- ○ 965
- ○ 966
- ○ 967
- ○ 968
- ○ 969
- ○ 970
- ○ 971
- ○ 972
- ○ 973
- ○ 974
- ○ 975
- ○ 976
- ○ 977
- ○ 978
- ○ 979
- ○ 980
- ○ 981
- ○ 982
- ○ 983
- ○ 984
- ○ 985
- ○ 986
- ○ 987
- ○ 988
- ○ 989
- ○ 990
- ○ 991
- ○ 992
- ○ 993
- ○ 994
- ○ 995
- ○ 996
- ○ 997
- ○ 998
- ○ 999
- ○ 1000
- ○ 1001

- ○ 1002
- ○ 1003
- ○ 1004
- ○ 1005
- ○ 1006
- ○ 1007
- ○ 1008
- ○ 1009
- ○ 1010
- ○ 1011
- ○ 1012
- ○ 1013
- ○ 1014
- ○ 1015
- ○ 1016
- ○ 1017
- ○ 1018
- ○ 1019
- ○ 1020
- ○ 1021
- ○ 1022
- ○ 1023
- ○ 1024
- ○ 1025
- ○ 1026
- ○ 1027
- ○ 1028
- ○ 1029
- ○ 1030
- ○ 1031
- ○ 1032
- ○ 1033
- ○ 1034
- ○ 1035
- ○ 1036
- ○ 1037
- ○ 1038
- ○ 1039
- ○ 1040
- ○ 1041
- ○ 1042
- ○ 1043
- ○ 1044
- ○ 1045

- ○ 1046
- ○ 1047
- ○ 1048
- ○ 1049
- ○ 1050
- ○ 1051
- ○ 1052
- ○ 1053
- ○ 1054
- ○ 1055
- ○ 1056
- ○ 1057
- ○ 1058
- ○ 1059
- ○ 1060
- ○ 1061
- ○ 1062
- ○ 1063
- ○ 1064
- ○ 1065
- ○ 1066
- ○ 1067
- ○ 1068
- ○ 1069
- ○ 1070
- ○ 1071
- ○ 1072
- ○ 1073
- ○ 1074
- ○ 1075
- ○ 1076
- ○ 1077
- ○ 1078
- ○ 1079
- ○ 1080
- ○ 1081
- ○ 1082
- ○ 1083
- ○ 1084
- ○ 1085
- ○ 1086
- ○ 1087
- ○ 1088
- ○ 1089

- ○ 1090
- ○ 1091
- ○ 1092
- ○ 1093
- ○ 1094
- ○ 1095
- ○ 1096
- ○ 1097
- ○ 1098
- ○ 1099
- ○ 1100
- ○ 1101
- ○ 1102
- ○ 1103
- ○ 1104
- ○ 1105
- ○ 1106
- ○ 1107
- ○ 1108
- ○ 1109
- ○ 1110
- ○ 1111
- ○ 1112
- ○ 1113
- ○ 1114
- ○ 1115
- ○ 1116
- ○ 1117
- ○ 1118
- ○ 1119
- ○ 1120
- ○ 1121
- ○ 1122
- ○ 1123
- ○ 1124
- ○ 1125
- ○ 1126
- ○ 1127
- ○ 1128
- ○ 1129
- ○ 1130
- ○ 1131
- ○ 1132
- ○ 1133

- ○ 1134
- ○ 1135
- ○ 1136
- ○ 1137
- ○ 1138
- ○ 1139
- ○ 1140
- ○ 1141
- ○ 1142
- ○ 1143
- ○ 1144
- ○ 1145
- ○ 1146
- ○ 1147
- ○ 1148

Дмитрий Сергеевич Мережковский
Наполеон

ТОМ ПЕРВЫЙ
«НАПОЛЕОН — ЧЕЛОВЕК»

СУДЬИ НАПОЛЕОНА

Свершитель роковой безвестного
веленья.

Пушкин

Показать лицо человека, дать заглянуть в душу его — такова цель всякого жизнеописания, «жизни героя», по Плутарху.

Наполеону, в этом смысле, не посчастливилось. Не то чтобы о нем писали мало — напротив, столько, как ни об одном человеке нашего времени. Кажется, уже сорок тысяч книг написано, а сколько еще будет? И нельзя сказать, чтобы без пользы. Мы знаем бесконечно много о войнах его, политике, дипломатии, законодательстве, администрации; об его министрах, маршалах, братьях, сестрах, женах, любовницах и даже кое-что о нем самом. И вот что странно: чем больше мы узнаем о нем, тем меньше знаем его.

«Этот великий человек становится все более неизвестным», — говорит Стендаль, его современник.[1] «История Наполеона — самая неизвестная из всех историй», — говорит наш современник Леон Блуа.[2]

Это значит: в течение больше ста лет «неизвестность» Наполеона возрастает.

Да, как это ни странно, Наполеон, при всей своей славе, неведом. Сорок тысяч книг — сорок тысяч могильных камней, а под ними «неизвестный солдат».

Может быть, это происходит и оттого, что, по слову Гераклита, «конца души не найдешь, пройдя весь путь, — так глубока». Мы ведь и души самых близких людей не знаем, — ни даже своей собственной души.

Или, может быть, душа его вообще неуловима книгами: проходит сквозь них, как вода сквозь пальцы? Тайна ее, под испытующим взглядом истории, только углубляется, как очень глубокие и прозрачные воды под лучом прожектора.

Да, неизвестность Наполеона происходит и от этого; но, кажется, не только от этого. В чужую душу нельзя войти, но можно входить в нее или проходить мимо. Кажется, мы проходим мимо души Наполеона.

Узнавать чужую душу — значит оценивать ее, взвешивать на весах своей души. А в чьей душе весы для такой тяжести, как Наполеон?

«Я ни с чем не могу сравнить чувства, испытанного мною в

присутствии этого колоссального существа», — вспоминает один современник, даже не очень большой поклонник его, скорее обличитель.[3]

Таково впечатление всех, кто приближается к нему, друзей и недругов, одинаково: может быть, это даже не величье, но, уж наверное, огромность, несоизмеримость его души с другими человеческими душами. Он среди нас, как Гулливер среди лилипутов.

Маленькими глазками, увеличивающими, как микроскопы, лилипуты видят каждую клеточку Гулливеровой кожи, но лица его не видят; оно им кажется страшным и мутным пятном; маленькими аршинами могут они измерить тело его с математической точностью; но вообразить, почувствовать себя в этом теле не могут.

Так мы не можем себя почувствовать в душе Наполеона. А ведь именно это и нужно, чтобы ее узнать: не увидев чужой души изнутри, ее не узнаешь.

Кажется, только один человек мог судить Наполеона, как равный равного, — Гёте. Что Наполеон в действии, то Гёте в созерцании: оба — устроители хаоса — Революции. Вот почему в дверях из одной комнаты в другую, из Средних веков в наше время, стоят они друг против друга, как две исполинские кариатиды.

«В жизни Гёте не было большего события, чем это реальнейшее существо, называемое Наполеоном», — говорит Ницше.[4]

«Наполеон есть краткое изображение мира». — «Жизнь его — жизнь полубога. Можно сказать, что свет, озаривший его, не потухал ни на минуту: вот почему жизнь его так лучезарна. Мир никогда еще не видел и, может быть, никогда уже не увидит ничего подобного».[5] Таков суд Гете — Наполеону равного. А у нас, неравных, дело с ним обстоит еще хуже, чем у лилипутов с Гулливером. Тут разница душ не только в величине, росте, количестве, но и в качестве. У него душа иная, чем у людей, — иной природы. Вот почему он внушает людям такой непонятный, ни на что земное не похожий, как бы нездешний, страх.

«Страх, внушаемый Наполеоном, — говорит госпожа де-Сталь, — происходит от особого действия личности его, которое испытывали все, кто к нему приближался. Я в своей жизни встречала людей достойных уважения и презренных; но в том впечатлении, которое производил на меня Бонапарт, не было ничего напоминающего ни тех, ни других». — «Скоро я заметила, что личность его неопределима словами, которые мы привыкли употреблять. Он не был ни добрым, ни злым, ни милосердным, ни

жестоким, в том смысле, как другие люди. Такое существо, не имеющее себе подобного, не могло, собственно, ни внушать, ни испытывать сочувствия; это был больше или меньше, чем человек: его наружность, ум, речи — все носило на себе печать какой-то чуждой природы».[6]

«Он миру чужд был. Все в нем было тайной», — понял Наполеона никогда не видевший его семнадцатилетний русский мальчик, Лермонтов. «Существо реальнейшее», вошедшее в мир, как никто, владыка мира — «миру чужд». — «Царство мое не от мира сего», — мог бы сказать и он, хотя, конечно, не в том смысле, как это было однажды сказано.

Эту «иную душу» в себе он и сам сознает. «Я всегда один среди людей», — предсказывает всю свою жизнь никому не ведомый семнадцатилетний артиллерийский поручик Бонапарт.[7] И потом, на высоте величья: «Я не похож ни на кого; я не принимаю ничьих условий».[8]

И о государственном человеке — о себе самом: «Он всегда один, с одной стороны, а с другой — весь мир».[9]

Эта «иная душа» не только устрашает, отталкивает людей, но и притягивает; внушает им то любовь, то ненависть. «Все любили меня и все ненавидели».

Божий посланник, мученик за человечество, новый Прометей, распятый на скале Св. Елены, новый Мессия; и разбойник вне закона. Корсиканский людоед, апокалипсический зверь из бездны, антихрист. Кажется, ни из-за одного человека так не боролась любовь и ненависть. Противоположные лучи их скрещиваются на лице его слишком ослепительно, чтобы мы могли его видеть. Видит ли он сам себя?

«Тысячелетия пройдут, прежде чем повторятся такие обстоятельства, как мои, и выдвинут другого человека, подобного мне».[10] Он говорит это без гордости, или гордость его так похожа на смирение, что их почти не различить.

«Если бы мне удалось сделать то, что я хотел, я умер бы со славой величайшего человека, какой когда-либо существовал. Но и теперь, при неудаче, меня будут считать человеком необыкновенным».[11] Эго, пожалуй, слишком смиренно. А вот еще смиреннее: «Скоро меня забудут, мало найдут историки, что обо мне сказать».[12] — «Если бы в Кремле пушечное ядро убило меня, я был бы так же велик, как Александр и Цезарь, потому что мои учреждения, моя династия удержались бы во Франции… тогда как теперь я буду почти ничем».[13] Это он говорит на Св. Елене живой в гробу; говорит о себе спокойно, бесстрастно, как о третьем лице, как живой о мертвом, или еще спокойнее, как мертвый о живом. «Чуждый миру», чужд и себе. Смотрит на себя

со стороны: я для него уже не я, а он.

Кажется иногда, что он и сам себя не знает, также как мы — его. Знает только, что тяжко земле носить такого, как он. «Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением: „Уф!“»[14] — «Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия мира, чтобы меня никогда не существовало».[15]

Это с одной стороны, а с другой: «Пожалеют, пожалеют когда-нибудь люди о моих несчастьях и моем паденье!»[16] — «Будете плакать обо мне кровавыми слезами!»[17]

Fu vera gloria?

Ai posteri ardua sentanzia.

Была ли слава его истинной?

Трудный суд над ней принадлежит потомкам.[18]

Но и потомки оказались не лучшими судьями, чем современники.

«Чудовищная помесь пророка с шарлатаном». — «Лжив, как военный бюллетень», — это недаром во дни его сделалось пословицей. — «Крепкая, ясная, простая итальянская природа его разложилась в мутной атмосфере французского фанфаронства». Изолгался окончательно и «провалился в пустоту». — «Бедный Наполеон! Наш последний герой!» Таков суд Карлейля в его знаменитой книге «Поклонение героям». Если суд верен, то трудно понять, как мог очутиться в сонме героев этот «провалившийся в пустоту шарлатан». Впрочем, образ Наполеона начерчен здесь так скудно, грубо и поверхностно, что едва ли стоит долго останавливаться на нем.

Тэн сильнее Карлейля. Книга его о Наполеоне, кажется, и есть то последнее, что легло на душу читателей и не скоро из нее изгладится.[19] Действием своим на умы и сердца книга эта обязана, может быть, не столько таланту и учености автора, сколько своему созвучию с духом времени: Тэн высказал о Наполеоне то, что у всех было на уме.

«Безмерный во всем, но еще более странный, не только преступает он за все черты, но и выходит из всех рамок; своим темпераментом, своими инстинктами, своими способностями, своим воображением, своими страстями, своею нравственностью он кажется отлитым в особой форме, из другого металла, чем его сограждане современники».[20] — «По глубине и широте гениальных замыслов, по героической силе духа, ума и воли со времен Цезаря не было ничего подобного».

Таково начало, а вот конец: «Дело наполеоновской политики есть дело эгоизма, которому служит гений; в его общеевропейском здании, так же как во французском, надо всем господствовавший эгоизм испортил всю постройку». Наполеон

среди людей — «великолепный хищный зверь, пущенный в мирно жующее стадо». — «Он обнаруживает безмерность и свирепость своего самолюбия», когда в 1813 году, в Дрездене, говорит Меттерниху: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей!» — «Положительно, с таким характером, как у него, нельзя жить; гений его слишком велик и зловреден; чем больше, тем зловреднее». — «Это эгоизм, выросший в чудовище и воздвигший среди человеческого общества колоссальное я, которое удлиняет постепенно, кругами, свои хищные и цепкие щупальца; всякое сопротивление оскорбляет его, всякая свобода стесняет, и, в присвояемой себе безграничной области, оно не терпит никакой жизни, если только она не придаток и не орудие его собственной жизни».[21] Другими словами, исполинский паук, захвативший мир в свои лапы и сосущий его, как муху, или адская машина, изобретенная диаволом, чтобы разрушить мир; или, наконец, апокалипсический зверь, выходящий из бездны; «Наполеон-Аполлион, Губитель», как толковали имя его тогдашние начетчики Апокалипсиса.

«Вот видите, матушка, какое вы породили чудовище!» — смеялся он, читая подобные пасквили.[22]

В 1814 году, после первого отреченья, когда комиссары союзников везли его на остров Эльбу, роялисты, в маленьком городке Прованса, Оргоне, сколотили виселицу и повесили на ней чучело Наполеона, под крики толпы: «Долой Корсиканца! Долой разбойника!» А оргонский мэр говорил речь: «Я его своими руками повешу, отомщу за то, что было тогда!» Тогда, при возвращении Бонапарта из Египта, тот же мэр, произнося ему приветственную речь, стоял перед ним на коленях.[23]

Нечто подобное происходит и с Тэном: в начале книги он поклоняется герою, а в конце — вешает чучело его.

«Привычка к самым жестоким фактам менее сушит сердце, чем отвлеченности: военные люди лучше адвокатов», — говаривал Наполеон, как будто предчувствовал, что сделают с ним «адвокаты» — «идеологи».[24]

Знаменье времени — то, что на книгу Тэна никто не ответил, потому что беспомощную, хотя и добросовестную, книгу Артюр-Леви, где доказывается, что Наполеон есть не что иное, как «добрый буржуа до мозга костей», нельзя считать ответом.[25]

И еще знаменье: в приговоре над Наполеоном Восток согласился с Западом, с неверующим Тэном — верующий Л. Толстой. Суд над Наполеоном пьяного лакея Лаврушки в «Войне и мире» совпадает с приговором самого Толстого: Наполеон совершает только «счастливые преступления». — У него «блестящая и самоуверенная ограниченность». — «Ребяческая

дерзость и самоуверенность приобретают ему великую славу». У него «глупость и подлость, не имеющие примеров»; «последняя степень подлости, которой учится стыдиться всякий ребенок».[26]

Русскому пророку также никто не ответил, как европейскому ученому. И человеческое стадо жадно ринулось, куда поманили его пастухи. «Толпа в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могучего: „он мал, как мы, он мерзок, как мы!“ Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе!» (Пушкин).

Леон Блуа — совершенная противоположность Тэну и Л. Толстому. Книга его «Душа Наполеона», странная, смутная, безмерная, иногда почти безумная, но гениально глубокая, — одна из замечательнейших книг о Наполеоне.[27]

Острота и новизна ее в том, что автор делает методом исторического познания миф — кажущийся миф, действительный религиозный опыт, свой личный и всенародный. Он знает, как знали посвященные в Елевзинские таинства, что миф — не лживая басня, а вещий символ, прообраз утаенной истины, покров на мистерии и что, не подняв его, не проникнешь в нее. Через душу свою и своего народа — к душе героя, через Наполеонов миф — к Наполеоновой мистерии — таков путь Блуа.

«Наполеон необъясним; самый необъяснимый из людей, потому что он прежде и больше всего прообраз Того, Кто должен прийти и Кто, может быть, уже недалеко; прообраз и предтеча, совсем близкий к нам». — «Кто из нас, французов или даже иностранцев конца XIX века, не чувствовал безмерной печали в развязке несравненной Эпопеи? Кого из обладающих только атомом души не угнетала мысль о падении, воистину, слишком внезапном, великой Империи с ее Вождем? Не угнетало воспоминание, что еще только вчера люди, казалось, были на высочайшей вершине человечества и, благодаря одному лишь присутствию этого Чудесного, Возлюбленного, Ужасного, какого никогда не было в мире, могли считать себя, как первые люди в раю, владыками всего, что создал Бог под небом, и что сейчас после этого надо было снова упасть в старую грязь Бурбонов?»[28]

Потерянный и возвращенный рай — вот покров Наполеонова мифа над мистерией; вот где душа народа соприкоснулась с душой героя.

«Бред сумасшедшего или лубочная картинка», — может быть, решил бы Тэн о книге Блуа, и был бы неправ. Не бывает ли, не была ли от 1793 до 1815-го «психология масс» похожа на «бред сумасшедшего» и «лубочная картинка» не драгоценный ли документ для историка?

Тем-то и драгоценен Блуа, что продолжает в душе своей

Наполеонову «психологию масс», воскрешает Наполеонов миф. Когда он говорит о «своем Императоре», на глазах у него блестят такие же слезы, как у старых усачей-гренадеров Великой Армии; тем-то он и драгоценен, что доказывает, что Наполеон все еще жив, в душе французов, в душе Франции, и, может быть, даже сейчас живее, чем когда-либо; что все еще из-под сорока тысяч книг — могильных камней — встает Неизвестный Солдат:

Из гроба встает Император.

«И то важно знать не одним французам, но и всем европейцам, потому что Герой может им всем понадобиться: „будете плакать обо мне кровавыми слезами“!»

Блуа считает себя «добрым католиком», а добрые католики считают его злейшим еретиком. Но нет никакого сомнения, что он христианин, или, по крайней мере, хочет быть христианином. Но иногда и христианину трудно решить, молится ли Блуа или кощунствует. Во всяком случае, он слишком легко и смело решает, что Наполеон есть «предтеча Того, Кто должен прийти». — Кого именно, остается неясным, но, кажется, — Параклета, нового Адама, который возвратит ветхому Адаму, человечеству, потерянный рай. Слишком легко и безболезненно решает он: «Я не могу себе представить рая без моего Императора».[29] Наполеон в раю, рядом с Жанною д'Арк — это не только для «добрых католиков» — не доказанное, а подлежащее доказательству. В том-то и вопрос, как соединить Жанну д'Арк с Наполеоном в раю.

Трудно также решить, молится ли Блуа или кощунствует, когда говорит: «Глянул Бог в кровавое зеркало войны, и оно отразило Ему лицо Наполеона. Бог любит его, как свой собственный образ; любит этого Насильника, так же как Своих кротчайших Апостолов, Мучеников, Исповедников».[30]

Да, может быть, это и кощунство; но, прежде чем решать, вспомним: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеянье Свое» (Ис. 63.3).

Вот почему и кротчайший из апостолов помнит, что «страшно впасть в руки Бога живого». Если бы и мы этого не забывали, то, может быть, не отразился бы в наши дни лик Божий в кровавом зеркале войны так ужасно, как еще никогда.

Во всяком случае, нельзя делать, как это делает Тэн, одного Наполеона ответственным за 2 000 000 людей, погибших в войнах его.[31] Получив в наследство от Революции войну Франции с

легитимной Европой, он не мог бы ее прекратить, если бы даже хотел. Когда он говорит: «Будь я побежден под Маренго, 1814 и 1815 годы наступили бы тогда же», он прав.[32] Язву гражданской войны он исцелил на теле, может быть, не только Франции, но и всей Европы, а мы теперь знаем по опыту, насколько гражданская война ужаснее международной. Наполеоновские войны — детская игра по сравнению с великой международной и русской гражданской войной, в которой убито 15 миллионов, 30 — погибло от эпидемий, 5 — от голода. И этому нисколько не помешало, а может быть и помогло, то, что Наполеона среди, нас не было.

Как бы то ни было, Блуа, несомненно, прав в одном: история Наполеона или навсегда останется «самою темною из всех историй», или осветится светом христианства, потому что Наполеонов миф все еще близок в душе народа к христианской мистерии, а к душе героя нет иного пути, как через душу народа. Это значит, что последним судом будут судить Наполеона не «адвокаты-идеологи», авторы сорока тысяч книг, не те, кто говорит, а тот, кто молчит, — народ.

Что же думает народ о Наполеоне? Это трудно узнать не только потому, что народ молчит, но и потому, что мысли его слишком далеки от наших.

Народ называет Наполеона просто «Человеком», «l'Homme», как будто желая этим сказать, что он больше других людей исполнил меру человечества; и еще — «маленьким капралом», давая тем понять, что он простым людям свой брат. И с этим герой соглашается: «Я слыл страшным человеком только в ваших гостиных, среди офицеров и, может быть, генералов, но отнюдь не среди нижних чинов: у них был верный инстинкт правды и сочувствия; они знали, что я их заступник и никому в обиду не дам».[33] — «Народные струны отвечают моим; я вышел из народа, и мой голос действует на него. Взгляните на этих новобранцев, крестьянских детей: я им не льстил; я был с ними суров, а они все-таки шли за мной, кричали мне: „Виват император!“ Это потому, что у меня с ними одна природа».[34]

Да, люди шли за ним, как за одним человеком вот уже две тысячи лет; шли через моря и реки, через горы и степи, от Пирамид до Москвы; пошли бы и дальше, до края земли, если бы он их повел; шли, терпя несказанные муки, жажду, голод, холод, зной, болезни, раны, смерть, — и были счастливы. И он это знал: «Как ни велико было мое материальное могущество, духовное — было еще больше: оно доходило до магии».[35]

Когда он говорит в огне сражения: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы должны мне ею пожертвовать», люди знают, что

должны. «Никогда никому солдаты не служили так верно, как мне. С последней каплей крови, вытекавшей из их жил, они кричали: „Виват император!“[36]

За человеческую память не было такого ужаса, как гибель шестисоттысячной Великой Армии в русском походе 1812 года. Наполеон знал, знала вся армия, что не пожар Москвы, не мороз, не измена союзников виноваты в этой гибели, а он, он один. Что же, возмущалась, роптала? Нет, только старые усачи-гренадеры тихонько ворчали, а все-таки шли, теперь уже не за ним, а рядом с ним, потому что он шел среди них пешком, по снегу, с палкой в руках. „На Березине оставалась только тень Великой Армии; но он все еще был в ней тем же, что надежда в сердце человека“. Идучи рядом с солдатами, ничего не боялся от них, говорил с ними ласково, и они отвечали ему так же. „Скорее обратили бы оружие на себя, чем на него“. — „Падали и умирали у ног его, но и в предсмертном бреду не роптали на него, а молились“.[37]

Франция содрогнулась от ужаса, когда получила 29-й бюллетень о гибели Великой Армии. В конце его было сказано: „Здравие его величества никогда не было в лучшем состоянии“. — „Семьи, осушите слезы: Наполеон здоров!“ — горько смеялся Шатобриан.[38] А простые люди плакали, когда Наполеон, вернувшись в Париж, говорил им перед новым набором: „Вы меня избрали, я дело ваших рук, вы должны меня защищать!“[39]

В кампании 1812-го погибло 300 000 человек, а новый набор объявлен в 180 000. Только очень молодые люди попали в него: старших давно уже забрали. „Эти храбрые дети жаждут славы: ни направо, ни налево не смотрят, а всегда вперед“, — восхищался ими маршал Ней; восхищался ими и Наполеон: „Храбрость из них так и брызжет!“[40]

Когда же и эти погибли под Лейпцигом, пришлось забирать на 1814-й уже совсем молоденьких мальчиков безусых, похожих на девочек, — „Мари-Луиз“. Многие из них и ружья зарядить не умели. Но в несколько дней похода доросли до старых солдат 96-го, победителей мира.

Что говорит один современник о триумфальном шествии Наполеона с Эльбы в Париж, можно бы сказать о всей его жизни: „Шествие человеческих множеств за ним, как огненный след метеора в ночи“.[41]

Народ верен ему до конца, и после Ватерлоо пошел бы за ним. На пути из Мальмезона в Рошфор — на Св. Елену, — толпы за ним бежали и кричали сквозь слезы: „Виват император! Останьтесь, останьтесь с нами!“[42]

Члены палат, министры, маршалы, братья, сестры,

любовницы — все изменяют ему, а народ верен. Чем люди выше, ближе к нему, тем хуже видят его, меньше любят; чем ниже, дальше от него, тем видят лучше и любят больше, „утаил от премудрых и открыл младенцам“.

Старую негритянку-египтянку роялисты в Марселе, во время белого террора 1815-го, заставили кричать: „Виват король!“ Но она не хотела — кричала: „Виват император!“ Ее повалили ударом штыка в живот. Она приподнялась и, держа обеими руками выпадавшие внутренности, крикнула: „Виват император!“ Ее бросили в вонючую воду старого порта; и утопая, в последний раз она вынырнув, крикнула: „Виват император!“[43]

Да, люди так никого не любили, так не умирали ни за кого, вот уже две тысячи лет.

Страшно то, что он говорит: „Такой человек плюет на жизнь миллиона людей!“ Но, может быть, еще страшнее то, что миллионы людей отвечают ему: „Мы плюем на свою жизнь за такого человека, как ты!“

Что же они любят в нем? За что умирают? За Отечество, за Человека, Брата? Да, но и еще за что-то большее.

Кажется, верно угадал поэт, за что умирала Старая Гвардия под Ватерлоо.

> Comprenant qu-ils allaient mourir dans cette fête,
> Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête.
> И, зная, что умрут, приветствуют его,
> Стоящего в грозе, как бога своего.[44]

Но если бы тем двум гренадерам, которые под Сэн-Жан-д'Акром покрыли его своими телами, чтобы защитить от взрыва бомбы, сказали, что он для них бог, они бы не поняли и, может быть, рассмеялись бы, потому что, как старые, добрые санкюлоты, ни в какого Бога не верили.[45]

В ночь накануне Аустерлица, когда император объезжал войска, солдаты вспомнили, что этот день — первая годовщина коронованья, зажгли привязанные к штыкам пуки соломы и сучья бивуачных костров, приветствуя его восьмьюдесятью тысячами факелов.[46] Он уже знал, и через него знала вся армия вещим предзнанием — Наполеоновским гением, что завтрашнее „солнце Аустерлица“ взойдет, лучезарное. Так и сказано в бюллетене: „Le soleil se leva radieux. Солнце взошло, лучезарное“. Но какому солнцу поклонялись на этой огненной всенощной, люди не знали. Если бы жили не в XIX веке по Р. Х., а во II–III, то знали бы: богу Митре, Непобедимому Солнцу — Sol Invictus.

Бедному „идеологу“, Ницше надо было сойти с ума, чтобы это

узнать: „Наполеон — последнее воплощенье бога солнца, Аполлона“. И мудрый Гете это, кажется, знал, когда говорил: „Свет, озарявший его, не потухал ни на минуту; вот почему судьба его так лучезарна, — так солнечна“.

„Холодно тебе, мой друг?“ — спросил Наполеон старого гренадера, шедшего рядом с ним на Березине, в двадцатиградусный мороз. „Нет, государь, когда я на вас смотрю, мне тепло“, — ответил тот.[47]

Так мог бы ответить древний египтянин своему фараону, богу солнца: „Воистину, из Солнца изшел ты, как дитя из чрева матери“.[48]

Солнечный миф о страдающем богочеловеке — Озирисе, Таммузе, Дионисе, Адонисе, Аттисе, Митре — незапамятно древний миф всего человечества — есть только покров на христианской мистерии.

Солнце восходит, лучезарное, а заходит в крови закланной жертвы; солнце Аустерлица заходит на Св. Елене. Св. Елена больше, чем вся остальная жизнь Наполеона: все его победы, славы, величье — только для нее; жизнь его нельзя понять, увидеть иначе, как сквозь нее.

Молится ли он или кощунствует, когда говорит на Св. Елене: „Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на кресте!“[49] Как могли это сказать те же уста, что сказали: „Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей!“ Или он сам не знает, что говорит? Пусть, — это все-таки не пустые слова, а может быть, самые полные, тяжкие, все решающие в его судьбе.

Пусть ему самому кажется, что Св. Елена, не жертва, а казнь. Объяснить и, может быть, оправдать его — значит объяснить Св. Елену, показать, почему она все-таки не казнь, а жертва, не гибель, а спасенье. Ничего подобного не могло быть в судьбе Александра и Цезаря, а Наполеон без этого не был бы героем христианской — все-таки христианской Франции, все-таки христианского человечества.

Так понял и народ. Это и значит: Наполеонов миф — покров на христианской мистерии. „Я не могу себе представить рая без моего императора“ — это мог бы сказать и народ.

Когда Наполеон был на острове Эльбе, однажды трое солдат вошли в парижский кабачок и спросили четыре стакана. „Да ведь вас трое?“ — удивился хозяин. „Все равно, давай: четвертый подойдет!“ Четвертый — Наполеон.

Когда двое верующих в Него встречались на улице, один спрашивал: „Веришь ли в Иисуса Христа?“ — „Верю в Него и в Его воскресение!“ — отвечал другой.[50]

20 марта 1815 года, когда Наполеон вернулся в Париж с

Эльбы, толпа внесла его на руках в Тюльерийский дворец. „Те, кто нес его, были как сумасшедшие, и тысячи других были счастливы, когда им удавалось поцеловать край одежды его или только прикоснуться к нему. Мне казалось, что я присутствую при воскресении Христа“.[51]

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели.

Может быть, те самые, которые под Сэн-Жан-д'Акром защитили его своими телами от бомбы. Один просит другого похоронить его в чужой земле.

И смирно, и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу…
Заслышу я конское ржанье
И пушечный гром, и трубу,
То Он над могилою едет,
Знамена победно шумят…
Тут выйдет к тебе, Император,
Из гроба твой верный солдат.[52]

Это значит: Наполеон воскреснет и воскресит мертвых.

„Я знавал в детстве старых инвалидов, которые не умели отличить его (Наполеона) от Сына Божьего“, — вспоминает Блуа.[53]

Если это кощунство, то, кажется, сам Наполеон в нем неповинен. „Прошу меня не сравнивать с Богом. Подобные выражения так странны и неуважительны ко мне, что я хочу верить, что вы не думали о том, что писали“, — говорит он неосторожному льстецу, морскому министру Декре.[54]

Атеистом он не был, но и христианином тоже не был. „Я умираю в апостолической римской религии, в лоне которой я родился“, — пишет он в своем завещании.[55] Но, если он родился и умер в христианстве, то жил вне его — и даже так, как будто никогда христианства не было. „Я предпочитаю магометанскую религию: она не так нелепа, как наша“.[56] Это сказано там же, на Св. Елене, а ведь и это тоже не пустые слова.

Гете не совсем прав, когда говорит, что Наполеон есть „краткое изображение мира“. Нет, не всего мира, а только одной половины его, — той, которую мы называем „языческою“, другая же, которую мы называем „христианскою“, от Наполеона закрыта, темна для него, как для древних темен Аид, царство теней,

ночная гемисфера небес. А что обе гемисферы — ночная и дневная — соединяются, этого он не знает.

Думать, что Наполеон есть предтеча Христа Грядущего, так же нелепо и нечестиво, как думать, что он предтеча Антихриста. В том-то и вся его трагедия, — и не только его, но и наша, ибо недаром он наш последний герой, — что он сам не знает, чей он предтеча. В этом, в главном, он — ни утверждение, ни отрицание, а только вопрос без ответа.

„Ну да, такой человек, как я, всегда бог или диавол!“ — смеется он, может быть, так, как люди иногда смеются от страха. [57] В самом деле, страшно для него и для нас — не знать, кем послан этот последний герой христианского человечества, Богом или диаволом.

„Наполеон — существо демоническое“, — говорит Гете, употребляя слово „демон“ в древнем языческом смысле: не бог и не диавол, а кто-то между ними.

Герой Запада, Наполеон и сам похож на запад, вечер мира.

> Он был похож на вечер ясный:
> Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

Вот почему он такой неизвестный, таинственный. Кажется, то, что говорит о нем Пушкин, — самое глубокое, что можно сказать:

> Свершитель роковой безвестного веленья.

И вот почему так бессилен над ним человеческий суд.

УСТРОИТЕЛЬ ХАОСА

Что влечет людей к Наполеону? Почему стремительный бег за ним человеческих множеств — „как огненный след метеора в ночи“?

Граф Сегюр, участник русского похода, описывает въезд Мюратовой конницы в еще не тронутую пламенем, но уже грозно опустевшую Москву 14 сентября 1812 года: „С тайным трепетом слушали всадники стук под собой лошадиных копыт“ — единственный звук в тишине огромного и безлюдного города; „с удивлением слушали только себя среди такого множества домов“. 1. Ségur P. P. Histoire et memoires. T. 5. P. 36.

В этом „удивленье“, „тайном трепете“ — то же апокалипсическое чувство, как во всей Наполеоновской мистерии; но началось оно еще раньше, в Революции, где достигает иногда такой остроты, что соприкасается — конечно, бессознательно — с христианской эсхатологией первых веков, с чувством мирового конца: „Скоро всему конец; будет новое небо и новая земля“. В чувстве этом — конец и начало времен вместе; бесконечная древность: „сорок веков смотрит на вас с высоты пирамид“, — и новизна бесконечная, небывалость, единственность всех ощущений: этого ничьи глаза еще не видели и уже не увидят. Радостный ужас, как перед вторым пришествием; исступленный вопль ясновидящих: „Маран аса! Господь грядет!“

„Мы оставили за собой всех победителей древности, — продолжает вспоминать Сегюр. — Мы упоены были славою. Потом находила грусть: то ли изнеможенье от избытка стольких чувств, то ли одиночество на этой страшной высоте, неизвестность, в которой мы блуждали на этих высочайших вершинах, откуда открывалась перед нами безграничная даль“.

Та же эсхатология в книге Блуа: „Люди были на высочайшей вершине человечества, и, благодаря лишь присутствию этого Чудесного, Возлюбленного, Ужасного, какого никогда еще не было в мире, могли считать себя, как первые люди в раю, владыками всего, что создал Бог под небом“.

Вот что влечет людей к Наполеону: древняя мечта о потерянном рае, о царстве Божьем на земле, как на небе, и новая — о человеческом царстве свободы, братства и равенства.

Это значит: душа Наполеона — душа Революции. Он молния этой грозы: чудо морское, выброшенное на берег бездною.

Революция вскормила его, как волчица Ромула. И сколько бы ни проклинал он ее, ни убивал ее, он всегда возвращается к ней и припадает к ее железным сосцам: кровь в жилах его — волчье

молоко Революции.

Он — сама она во плоти: „Я — Французская Революция“, — говорил он после казни герцога Энгиенского, одного из самых злых и страшных дел своих, — но не безумного: связь его с цареубийством 1793 года, Террором, душой Революции, упрочена этою казнью. Ров Венсенский, где расстрелян невинный потомок Бурбонов, есть рубеж между старым и новым порядком; разрез пуповины, соединявшей новорожденного кесаря с королевскою властью. Труп Энгиена для Бонапарта — первая ступень на императорский трон; кровь Энгиена для него — императорский пурпур.

„Только ослабляя все другие власти, я упрочу мою — власть Революции“, — говорит он в Государственном Совете по поводу своего коронования.[58] И после двусмысленной речи Шатобриана в Академии о писателе Иосифе Шенье, цареубийце 93-го года: „Как смеет Академия говорить о цареубийцах, когда я, коронованное лицо, которое должно их ненавидеть больше, чем она, обедаю с ними и сижу в Государственном Совете рядом с Камбасересом (государственным канцлером, бывшим членом Конвента, тоже цареубийцею)“.[59] Истинное помазание нового Кесаря не миро святейшей Ампулы, а революционная воля народа. „Я не похитил короны; я поднял ее из грязи, и народ возложил ее на мою голову; уважайте же волю народа“.[60]

„Я — Французская Революция“, — говорит он в начале империи, а в конце: „Империя есть Революция“.[61]

Революция — душа империи, ее динамика. Ею движется она, как тело душою. Только что империя дает трещины, как проступает сквозь них огненная лава революции.

„Надо снова надеть ботфорты 93-го года“, — говорит Наполеон в 1814 году, во время нашествия союзников на Францию.[62] И в 1815-м, накануне Ватерлоо: „Император, консул, солдат, — я все получил от народа… Воля моя — воля народа; мои права — его“.[63] И после Ватерлоо, перед отъездом в Рошфор — последним путем на Св. Елену: „Европейские державы воюют не со мной, а с Революцией“.[64]

Вот почему старый честный якобинец, член Комитета Общественного Спасенья, Дон Кихот и филантроп 93-го года, Карно остается верен ему до конца. „Честь и благо Франции не позволили мне сомневаться, что дело Наполеона есть все-таки дело Революции“, — объясняет эту верность другой якобинец.[65]

„Отделить, отделить его от якобинцев“, — повторял в суеверном ужасе император Александр I на Венском конгрессе, когда получено было известие о бегстве Наполеона с о. Эльбы: кажется, Александр один понимал всю опасность того, что

Наполеон снова сделается, чем раз уже был — воплощенной Революцией, „Робеспьером на коне“.

Кромешный ужас, преисподнее лицо ее — лицо Медузы, от которого все живое каменеет, — знает он, как никто. „Революция — одно из величайших бедствий, какие только небо посылает земле“.[66] К революционной „сволочи vile canaille“ у него отвращенье, физическое и метафизическое вместе. 10 августа 1792-го, глядя с Карусельной площади, как толпа ломится в Тюльерийский дворец, он шепчет сквозь зубы, бледнея: „Che cocjlione! О, сволочь! И как могли их пустить. Расстрелять бы картечью сотни четыре-пять, и остальные разбежались бы“.[67]

Страха человеческого он не знает. Но бледнеет, „слушая рассказы о насильях, до каких способен доходить взбунтовавшийся народ. Если, во время поездок его верхом но парижским улицам, рабочий кидался перед ним на колени, прося о какой-нибудь милости, первым движением его было вздрогнуть и отшатнуться назад“.[68] Злой человек, дурной человек! — говорил он о Руссо над его могилой в Эрменонвилле. — Без него не было бы Французской революции… Правда, и меня бы не было… но, может быть, Франция была бы тем счастливее».[69] — «Ваш Руссо — сумасшедший: это он довел нас до такого состояния».[70] — «Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия мира, чтобы ни Руссо, ни меня никогда не существовало».[71]

Но он знает, что революция не могла не быть, что тот же рок и в ней, как и в нем. «Кажется, наша революция была неотвратимо-роковою, — нравственным взрывом, столь же неизбежным, как взрыв физических сил, извержением вулкана».[72]

Революция — хаос. Силы ее бесконечно-разрушительны. Если дать ей волю, она разрушила бы человеческий космос до основания, до той «гладкой доски», о которой поется в Интернационале. Чтобы спасти космос, надо обуздать хаос. Это Наполеон и делает, и, как бы мы ни судили о всех прочих делах его, надо признать, что это дело — доброе, и даже святое, или, как сказали бы древние, «богоподобное», потому что боги суть, по преимуществу, обуздатели и устроители хаоса.

«Я закрыл бездну анархии, я устроил хаос: я очистил революцию».[73]

Космос питается хаосом; прекраснейший космос — только устроенный хаос: это знают боги, знает и он, мнимый убийца революции, ее действительный бог Музогет.

«Вопреки всем своим ужасам, революция была истинной причиной нашего нравственного обновленья: так самый

смрадный навоз производит самые благородные растенья. Люди могут задержать, подавить на время это восходящее движение, но убить его не могут».[74] — «Ничто не разрушит и не изгладит великих начал Революции; эти великие и прекрасные истины останутся вечными: такою славою мы их озарили, такими окружили чудесами… Они уже бессмертны. Они живут в Великобритании, озаряют Америку; сделались народным достоянием Франции: вот трехсвечник, с которым воссияет свет мира… Истины эти будут религией всех народов, и, что бы ни говорили, эта памятная эра будет связана со мною, потому что я поднял светоч ее, осветил ее начала, и теперь гоненья сделали меня навсегда ее Мессиею. Друзья и враги мои скажут, что я был первым солдатом революции, ее великим вождем. И, когда меня не будет, я все еще останусь для народов звездой их прав, и имя мое будет их боевым кличем, надеждой в борьбе».[75]

По слову Пушкина:

> Он миру вечную свободу
> Из мрака ссылки завещал.

Так ли это, что завещал он миру свободу и рабство?

Хаос революции, отменяя низший космос, прикасается, в одной исходной точке своей, к космосу высшему; на одно мгновенье вспыхивает над полузвериным, полубожеским лицом революции огненный язык — «трижды светящий свет», «Das dreimal glühende Licht».[76] Свобода, Равенство, Братство — Сын, Отец, Дух. Но мгновенье проходит, свет потухает, и третий член — Братство, синтез Свободы и Равенства — выпадает из трехчленной диалектики: вместо Братства — братоубийство, стук ножа на гильотине: «Братство или смерть».

Остается тезис и антитезис — Свобода и Равенство — в неразрешимой антиномии: свобода в анархии или равенство в рабстве; власть одного над всеми или всех над одним; уничтожение общества в хаосе или уничтожение личности в проклятом космосе.

Эту антиномию Наполеон, может быть, смутно чувствовал, но не разрешил ее, а только устранил, пожертвовал свободой равенству.

«Лучше нарушить свободу, чем равенство. Это страсть века, а я хочу быть сыном века».[77] — «Равенство, только равенство, — таков соединяющий лозунг между ним и революцией».[78] — «Я хотел ввести систему всеобщего равенства».[79] — «Мое главное правило: открытая дорога талантам, без различия рождений и состояний. Вот за эту-то систему равенства и ненавидит меня

ваша (английская) олигархия».[80] — «Свобода — потребность немногих, избранных… Ее можно стеснять безнаказанно, а равенство любезно большинству».[81]

Он ошибся; стеснил свободу не безнаказно; она отомстила ему вечною тюрьмою — Св. Еленою. Не только немногие, «избранные» отшатнулись от него, восстали на него за свободу, но и целые народы.

«Торгашеская» Англия, как он ее называл, оказалась защитницею мировой свободы.

Получилась роковая для него схема: смертный поединок между Англией — морем — свободой, с одной стороны, и Наполеоном — сушей — равенством, с другой: между тезисом и антитезисом; а синтез выпал: всемирное братство народов — «вся земная суша, окруженная морями, новый остров Атлантида, потерянный и возвращенный рай», — не удалось.

Кажется, он и сам сознает, говоря языком человеческим, для него недостаточным, «вину» свою перед свободой.

«Клянусь, если я не даю Франции больше свободы, то потому только, что думаю, что это для нее полезнее».[82] — «Мой деспотизм. Но историк докажет, что диктатура была необходима, что своеволье, анархия, великие беспорядки стояли еще при дверях».[83] — «Я мог быть только коронованным Вашингтоном, в сонме побежденных царей… Но этого нельзя было достигнуть иначе как через всемирную диктатуру; я к ней и шел. В чем же мое преступление».[84] И за два дня до смерти, уже почти в бреду, в такую минуту, когда люди не лгут: «Я освятил все начала (революции); я перелил их в мои законы, в мои дела… К несчастью, обстоятельства были суровы, принуждая и меня быть суровым, в ожидании лучших времен… Но подошли неудачи, я не мог ослабить лука, и Франция была лишена свободных учреждений, которые я предназначал для нее».[85]

Чтобы Наполеон, при каких бы то ни было обстоятельствах, сделался Вашингтоном, мало вероятно. Но, может быть, вина его перед свободой все-таки меньше, чем это казалось его современникам.

Свобода и равенство — два явления одной силы, свет и тепло одного солнца. Истинного равенства нет без свободы, хотя бы только без искры ее, а Наполеонова «открытая дорога талантам», основа современной демократии, — истинное равенство. Люди вообще не выносят большой меры свободы, но и совсем без нее жить не могут. Очень малая мера ее дана в Наполеоновом Кодексе, но зато так надежно и крепко, что всей европейской цивилизации надо рушиться, чтобы она была отнята у людей.

Демократия — плохонький рай; но кто побывал в аду —

знает, что лучше ада и плохонький рай и что малая свобода демократии по сравнению с абсолютным рабством коммунизма тоже свежесть весеннего утра, по сравнению с ледяным крутом Дантова ада или холодом междупланетных пространств.

Может быть, сейчас русские люди, побывавшие в аду коммунизма, знают о Наполеоне то, чего европейцы не знают и чего нельзя узнать из сорока тысяч книг.

«Мне надо было победить в Москве».[86] — «Без этого пожара (Москвы) я бы достиг всего».[87]

1812–1917. В том году началось, кончилось в этом; может быть, без того не было бы и этого. «Я объявил бы свободу крепостных в России».[88] Если бы он это сделал, — может быть, не было бы русской революции, русского ада.

Кто поджег Москву? Русские «Сыны отечества»? Нет, выпущенные из тюрем воры, убийцы и разбойник.[89] «Люди с дьявольскими лицами в бушующем пламени — настоящий образ ада», — вспоминает Сегюр.[90]

«Какие люди! Какие люди! Это скифы!» — повторял Наполеон в вещем ужасе. Скифы «с раскосыми и жадными глазами»,[91] готовы кинуться на Рим, как волки на падаль. Наполеон это знал — он один из всех европейцев.

> Померкни, Солнце Аустерлица.
> Пылай, великая Москва![92]

Москва запылала, и совершились пророчества.

«Какое несчастье мое паденье. Я завязал мех ветров, а вражий штык опять его проткнул. Я мог бы идти спокойно к обновлению мира, а теперь оно совершится только в бурях.[93] Может быть, достаточно будет искры, чтобы вспыхнул мировой пожар». Зарево этого пожара он и увидел в Москве.

«Русские суть варвары, у которых нет отечества и которым все страны кажутся лучше той, где они родились».[94]

«Вспомнят обо мне, когда русские варвары овладеют Европой, что не случилось бы без вас, господа англичане».[95] Мы теперь сказали бы: «Без вас, господа европейцы».

«Будете плакать обо мне кровавыми слезами»! — «Франция больше нуждалась во мне, чем я в ней». Эти слова Наполеона для Франции все еще загадка, но не для России.

К русским он был не совсем справедлив: не все они «варвары»; есть среди них и такие, которые любят Европу и знают ее, может быть, лучше самих европейцев.

Вот и сейчас видят русские то, чего европейцы не видят: страшно высоко над ними, — по этой высоте мы можем судить, в

какую мы сошли низину, в какую пропасть сползли, — страшно высоко над нами, по горам Запада, едет Всадник, четко чернея на небе, красном от зарева. Кто он? Как не узнать.

На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Едет шагом, смотрит вдаль, на Восток, держит в руке обнаженную шпагу — сторожит. Что от кого? Европейцы не знают, — знают русские: святую Европу — от красного диавола.

ВЛАДЫКА МИРА

«Идея всемирного объединения людей есть идея европейского человечества; из нее составилась его цивилизация, для нее одной оно и живет», — говорит Достоевский в «Дневнике писателя», и устами Великого Инквизитора, о трех искушениях Христа — хлебом, чудом и властью: «Потребность всемирного соединения есть последнее мучение людей. Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но, чем выше были эти народы, тем были и несчастливее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей».

Достоевский прав: вечная и главная мука человечества — неутолимая жажда всемирности.

Если на первый взгляд кажется, что единственно реальные существа в истории суть существа национальные — «народы, племена, языки», то, при более глубоком взгляде, оказывается, что все они только и делают, что борются с собой и друг с другом, преодолевают себя и друг друга, чтобы образовать какое-то высшее существо, сверхнациональное, всемирное; что все они более или менее чувствуют себя и друг друга «разбросанными членами», membra distecta, этого бывшего и будущего тела; все движутся в истории, шевелятся, как звенья разрубленной, но не убитой змеи, чтобы снова соединиться и срастись; или как мертвые кости Иезекиилева поля: «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кость с костью, а духа не было в них».

От основателя первой всемирной монархии, вавилонского царя Сарганисара, Саргона Древнего (около 2800 г.), до Третьего Интернационала всемирная история есть шевеление этих змеиных обрубков, шум этих мертвых костей.

Только что человечество начинает понимать себя, как уже мучается этою мукою — неутолимою жаждою всемирности. Древние всемирные монархии — Египет, Вавилон, Ассирия, Мидия, Персия, Македония — ряд попыток утолить ее, «устроиться непременно всемирно». Та же идея соединяет обе половины человечества, языческую и христианскую; только в эллино-римской всемирности могло осуществиться христианство: Сын Человеческий родился не случайно на всемирной земле Рима, под всемирной державой римского кесаря.

Дело всемирности, начатое языческим Римом, продолжает Рим христианский, до наших дней, до Революции. Революция отступила от христианства во всем, кроме этого — всемирности

«Французская революция, в сущности, была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения», — говорит Достоевский, но не договаривает: последним воплощением всемирности была не сама революция, не хаос, а его обуздатель, Наполеон.

Дело всемирности есть главное и, можно сказать, единственное дело всей жизни его. Не поняв этого, ничего нельзя в ней понять. Все его дела, мысли, чувства идут от этого и к этому.

«Жажда всемирного владычества заложена в природе его; можно ее видоизменить, задержать, но уничтожить нельзя», — верно угадывает Меттерних.[96] И он же: «Мнение мое о тайных планах и замыслах Наполеона никогда не изменялось: его чудовищная цель всегда была и есть — порабощение всего континента под власть одного».[97]

Почему же эта цель «чудовищна»? Почему Наполеоново всемирное владычество — «порабощение»? Потому что он «честолюбец», «властолюбец», каких мир не видал.

Ставить Наполеону в вину любовь к власти все равно что ваятелю — любовь к мрамору или музыканту — любовь к звукам. Вопрос не в том, любит ли он власть, а в том, для чего он любит ее и что с нею делает.

Властолюбие сильная страсть, но не самая сильная. Из всех человеческих страстей — сильнейшая, огненнейшая, раскаляющая душу трансцендентным огнем — страсть мысли; а из всех страстных мыслей самая страстная та, которая владела им — «последняя мука людей», неутолимейшая жажда их, — мысль о всемирности. Может быть, это уже не страсть, а что-то большее, для чего у нас нет слова, потому что вообще, как верно замечает госпожа де-Сталь, «личность Наполеона неопределима словами».

«Я хотел всемирного владычества, — признается он сам, — и кто на моем месте не захотел бы его? Мир звал меня к власти. Государи и подданные сами устремлялись наперерыв под мой скипетр».[98]

Он мог бы сказать о мире то же, что говорил о Франции: «Мир больше нуждался во мне, чем я в нем».

Если это — «властолюбие», «честолюбие», то какого-то особого порядка, не нашего, и нашими словами, в самом деле, неопределимого. Он и сам хорошенько не знает, есть ли оно у него. «У меня нет честолюбия… а если даже есть, то такое естественное, врожденное, слитое с моим существом, что оно, текущее в моих жилах, как воздух, которым я дышу».[99] — «Мое честолюбие?.. О да, оно, может быть, величайшее и высочайшее,

какое когда-либо существовало! Оно заключалось в том, чтобы утвердить и освятить наконец царство разума — полное проявление и совершенное торжество человеческих сил».[100]

Царство разума — царство всемирное. Как же он к нему идет?

«Одной из моих величайших мыслей было собирание, соединение народов, географически единых, но разъединенных, раздробленных революциями и политикой… Я хотел сделать из каждого одно национальное тело».[101] Это начало, а конец: соединение тел во всемирное — в «европейский союз народов, association européenne».[102]

«Как было бы прекрасно в таком шествии народов вступить в потомство, в благословение веков! Только тогда, после такого первого упрощенья, можно бы отдаться прекрасной мечте цивилизации: всюду единство законов, нравственных начал, мнений, чувств, мыслей и вещественных польз».[103] — «Общеевропейский кодекс, общеевропейский суд; одна монета, один вес, одна мера, один закон». — «Все реки судоходны для всех; все моря свободны».[104] — Всеобщее разоружение, конец войн, мир всего мира. «Вся Европа — одна семья, так чтобы всякий европеец, путешествуя по ней, был бы везде дома». H. Ibid. T. 1. P. 530–532. «Тогда-то, может быть, при свете всемирного просвещения, можно бы подумать об американском Конгрессе или греческих Амфиктониях для великой европейской семьи, и какие бы открылись горизонты силы, славы, счастья, благоденствия!»

Все это уже было близко, так близко, как еще никогда: только руку протянуть. И он уже протягивал ее дважды; две попытки всемирного «обновления» были им сделаны: «первая, с юга, через Англию, республиканская; вторая, с севера, через Россию, монархическая. Обе шли к одной цели и совершились бы твердо, умеренно, искренно. И каких только бедствий, ведомых нам и неведомых, не избегла бы несчастная Европа! Никогда не возникало замысла более великого и благодетельного для цивилизации; и никогда еще не был он ближе к исполнению. И вот что замечательно: „Неудача моя произошла не от людей, а от стихий; море погубило меня на юге, а на севере — пожар Москвы и мороз. Так вода, воздух, огонь — вся природа оказалась враждебною всемирному обновлению, которого требовала сама же природа. Неисповедимы тайны Промысла!“[105] — „Но как бы то ни было, рано или поздно, это соединение народов произойдет силою вещей: толчок дан, и я думаю, чтобы, после моего падения и крушения моей системы, оказалось возможным в Европе другое великое равновесие, помимо собирания и союза великих народов“.[106]

„Но зачем все это?“ — может быть, спросите вы, как Пирров советник. Я вам отвечу: чтобы основать новое общество и предотвратить великие бедствия. Вся Европа этого ждет, этого требует; старый порядок рушился, а новый еще не окреп и не окрепнет, без долгих и страшных судорог».[107]

Никогда еще эти слова Наполеона не звучали так пророчески, как в наши дни. 1814–1914. Этот год ответил тому: в том — пала Наполеонова империя, начало всемирности, а в этом — вспыхнула всемирная война. «Страшная судорога» только что прошла по человечеству, и, может быть, близится страшнейшая, по его же пророчеству: «Искры, может быть, будет достаточно, чтобы снова вспыхнул мировой пожар». И единственная наша защита — жалкая тень всемирности душа младенца нерожденного, витающая в Лимбах, или мертворожденный выкидыш — Лига Наций.

Чтобы понять до конца, что значит для Наполеона всемирность, надо понять, что она у него не отвлеченная, а кровная, плотская; не то, что для него еще будет, а то, что в нем уже есть; надо понять, что Наполеон не человек с идеей всемирности, а уже всемирный человек, или, говоря языком Достоевского, «слишком ранний всечеловек». И в этом, как во многом другом, он — «существо, не имеющее себе подобного», по глубокому впечатлению госпожи де-Сталь.

Он современен не своему времени, а бесконечно далекому прошлому, когда «на всей земле был один язык и одно наречие» — одно человечество; или бесконечно далекому будущему, когда будет «одно стадо, один Пастырь». Он как бы иного творения тварь; слишком древен или слишком нов; допотопен или апокалипсичен.

Человек без отечества, но не по недостатку в себе чего-то, а по избытку. В юности он любил родную землю, Корсику, и хотел быть «патриотом», подражая корсиканскому герою, Паоли, или классическим героям Плутарха. Но это плохо удалось ему, и скоро соотечественники изгнали его, объявив «врагом отечества».

Он и сам в себе это чувствует и недоумевает; сам искренне и до конца жизни не знает, что он. «Я скорее итальянец или тосканец, чем корсиканец».[108] — «Я непременно хотел быть французом. Когда меня называли „корсиканцем“, это было для меня самым чувствительным из всех оскорблений».[109] — «Один мэр, кажется, в Лионе, сказал мне, думая, что говорит комплимент: „Удивительно, что ваше величество, не будучи французом, так любит Францию и столько для нее сделало“. Точно палкой он меня ударил».[110]

«На каком бы языке ни говорил он, казалось, что этот язык

ему не родной; он должен был насиловать его, чтобы выразить свою мысль».[111] — «Когда произносил речи (по-французски), все замечали недостаток его произношения. Ему сочиняли их заранее, переписывали крупными буквами и учили его произносить слова; но, начиная говорить, он забывал урок и глухим голосом, едва открывая рот, читал по бумаге, с выговором еще более странным, чем иностранным, что производило тягостное впечатление: ухо и мысль неприятно поражались этим непреложным свидетельством его национальной чуждости».[112]

Это и значит: человек без языка, без народа, без родины.

Любит ли он Францию? О, конечно, любит! Но даже такой проницательный человек, как Стендаль, ошибается, думая, что он любит ее, как отечество. Он и сам в этом ошибается: «Клянусь, все, что я делаю, я делаю только для Франции».[113] — «В счастье, в горе, на полях сражений, в совете, на троне, в изгнании Франция была постоянным предметом всех моих мыслей и действий».[114] — «Все для французского народа», — завещает он сыну. Но все ли он отдал ему сам?

Что такое «отечество»? Родная земля, отделенная от чужих земель границами. Но вся цель наполеоновских войн — бесконечно раздвинуть и, наконец, стереть границы Франции. «Когда Франция будет Европой, не будет Франции», — остерегают его.[115] Но этого-то он и хочет: Франции не будет — будет мир.

«Какие чудесные войска!» — восхищался прусский маршал Меллендорф в 1807 году, на параде французских войск, в только что завоеванном Берлине. «Да, чудесные, — возразил Наполеон, — если бы только можно было сделать так, чтобы они забыли о своем отечестве».[116]

«Он извратил природу французской армии до такой степени, что она утратила всякую национальную память», — вспоминает современница.[117] «Маленький капрал», для своих солдат, больше Франции: где он, там и отечество. Армия Наполеона, так же как он сам, существо уже всемирное.

Он, впрочем, не всегда ошибается насчет своей любви к отечеству. «У меня одна страсть, одна любовница — Франция: я сплю с нею (je couche avec elle). Она мне никогда не изменяла; она расточает мне свою кровь и свое золото».[118] Люди так не говорят о родине: она для них мать, а не любовница; не она им жертвует всем, а они — ей.

В лучшем случае Франция для него любовница, а в худшем — боевой конь, та чудесная кобылица, о которой говорит поэт. Бешеный всадник загонял ее до смерти.

Mourante, elle tomba sur un lit de mitraille

Et du coup te cassa les reins.
Пала она, издыхая, на ложе картечи,
И спину сломала тебе под собой.[119]

И вот что всего удивительнее: если бы спросили издыхающую Францию, хотела бы ли она не иметь Наполеона, своего бешеного всадника, может быть, она ответила бы: «Нет, не хотела бы!» И в этом величие Франции.

Не корсиканец, не итальянец, не француз, а может быть, и не европеец.

Европа для него только путь в Азию. «Старая лавочка, нора для кротов — ваша Европа! Великие империи основываются и великие революции происходят только на Востоке, где живет шестьсот миллионов людей».[120]

Тяга на Восток проходит сквозь всю его жизнь.

Молодой генерал Бонапарт в Египте, перед Сирийской кампанией, лежа целыми часами на полу, на огромных разостланных картах, мечтает о походе через Мессопотамию на Индию, по следам Александра Великого.[121] Если бы мечта его исполнилась, то через сорок пять веков последний основатель всемирной монархии встретился бы с первым — вавилонским царем, Сарганисаром: путь у обоих один; только тот шел с Востока на Запад, а этот — с Запада на Восток.

«Я вхожу в Константинополь с несметною армией, низвергаю турецкое владычество и основываю великую империю на Востоке, которая обессмертит меня в грядущих веках», — мечтает он, гуляя по вечерам на морском берегу у Сэн-Жан-д'Акра.[122]

«Если бы Акр был взят, французская армия кинулась бы на Дамаск и Алеппо и в одно мгновенье была бы на Ефрате… Шестьсот тысяч человек (христиан) присоединились бы к нам, и как знать, что бы из этого вышло? Я дошел бы до Константинополя, до Индии; я изменил бы лицо мира», — мечтает он уже на Св. Елене.[123]

Только что захватив власть, после 18 Брюмера, предлагает императору Павлу I поход на Индию, и потом, на высоте величия, после Тильзита, — Александру I.

«Этот длинный путь есть в конце концов путь в Индию, — говорит в 1811-м, за несколько месяцев до Русской кампании. — Александр (Македонский), чтобы достигнуть Ганга, отправляется также издалека, как я из Москвы… С крайнего конца Европы мне нужно зайти в тыл Азии, чтобы настигнуть Англию (в Индии)… Это предприятие, конечно, гигантское, но возможное в XIX веке».[124]

В императорском обозе, шедшем на Москву, был особый

фургон с коронационным убором — мечом, диадемой и порфирой: говорили, что Наполеон коронуется вторично в священном городе Дели, на берегу Ганга, императором Востока и Запада.

Накануне Бородина он получает из Парижа портрет сына-наследника: полулежа в колыбели, мальчик держит в руках игрушку — императорский скипетр, увенчанный земным глобусом.

В 1811 году император посылает морскому министру Декрэ к исполнению проект о постройке, в течение трех лет, двух флотов — Океанского и Средиземного; база для первого — Ирландия, для второго — Египет и Сицилия; предполагаются экспедиции на мыс Доброй Надежды, в Суринам, Мартинику и другие заокеанские страны; флоты распределяются в обоих полушариях, чтобы утвердить мировое владычество не только над Европой и Азией, но и надо всем земным шаром. «Через пять лет я буду владыкою мира», — говорил он в том же 1811 году.[125]

«Император сошел с ума, окончательно сошел с ума!» — ужасался Декрэ.[126] Это в самом деле похоже на сумасшествие. Никогда никто из людей, ни Саргон, ни Александр, ни Цезарь, не думал так страшно ясно, страшно близко о мировом владычестве.

Кажется иногда, что он сам страшится этих мыслей, — «страшится», впрочем, для него не подходящее, слишком человеческое, слово; во всяком случае, он чувствует их роковую тяжесть.

Все, что делает, он делает для этого, но почти никогда не говорит об этом. «Я понимал, — говорит уже на Св. Елене, когда знает, что все кончено, дело проиграно, — я понимал, что мне всего нужнее тайна: тайна окружала меня тем ореолом загадочности, который так чарует массы; пробуждала те таинственные мысли, которые так волнуют умы; подготовляла те внезапные и блестящие развязки, которые так восхищают людей и дают над ними такую власть. Это-то, к несчастью, и побудило меня слишком поспешно кинуться на Москву: с большею медленностью я все предупредил бы; но мне нельзя было оставлять времени на раздумье. С тем, что я уже сделал и еще намеревался сделать, мне нужно было, чтобы в моей судьбе, в моей удаче было нечто сверхъестественное».[127]

Ему нужна «тайна», нужно «сверхъестественное»; это значит: нужна религия. Дойдя до какой-то крайней точки в своих мыслях о мировом владычестве, вдруг понял он, что ему не обойтись без религии: что не может быть всемирного объединения людей без внутренне объединяющего центра, абсолютного Единства — Бога.

«Я создавал религию. Я видел себя на пути в Азию, на спине

слона, с тюрбаном па голове и с новым, моего сочинения, Алкораном в руках».[128] Это говорится, конечно, с усмешкою. Он слишком умен, чтобы не понимать, что Алкораны не сочиняются, религии не создаются.

Вообще, надо помнить, что он говорит об этом почти всегда небрежно или неловко, неуклюже, потому что извне, не то чтобы поверхностно, — иногда, напротив, очень глубоко, — но именно только извне, со стороны, и с тою легкою усмешкою, которая напоминает оскал фернейского мертвого черепа. Вольтера он, впрочем, не любит и не уважает. «Злой человек, дурной человек. Это он довел нас до такого состояния», — сказал бы он о нем еще охотнее, чем о Руссо. Но от вольтеровской усмешки в религии не может отделаться. Чувствуется, однако, и сквозь эту усмешку, что религия для него не пустое и не легкое дело, а очень важное, трудное и даже, говоря опять неподходящим для него человеческим словом, очень страшное.

Как бы то ни было, но, поняв, что в мировом владычестве не обойтись без религии, он понял и то, что религиозно строится оно, как пирамида, постепенно суживаясь кверху и, наконец, заостряясь в одном острие, в одной математической точке, где земля соприкасается с небом, человек — с Богом. Или, другими словами, человек, на вершине мирового владычества, должен, — хочет не хочет, а должен выговорить эти страшные или просто нелепые, «сумасшедшие» слова: «Я — Бог»; «Divus Caesar Imperator». Римские кесари говорили это не по глупости, — были же среди них такие умные люди, как Юлий Цезарь, и не по «сатанинской гордости», — были среди них и святые, как Антонин и Марк Аврелий, — а потому, что к этому вынуждала их внутренняя логика мирового владычества; став на это место, человек должен это сказать, — иначе вся пирамида рушится.

Это понимает и Наполеон со свойственной уму его геометрическою ясностью. «Только что человек становится государем, как он уже отделен от всех людей. Я всегда находил инстинкт верной политики в мысли Александра объявить свое божественное происхождение».[129] Больше всех побед Александра — его «великая политика» — посещение Амонова храма, где оракул шепчет ему на ухо: «Ты — сын божий».[130]

Но Александр и Цезарь могли это сделать до Рождества Христова, а можно ли после? Этого Наполеон хорошенько не знает. Иногда ему кажется, что можно. «Если бы я вернулся из Москвы победителем, то весь мир снова устремился бы ко мне, удивляясь и благословляя меня. И стоило бы мне тогда исчезнуть в лоне тайны, чтобы народы возобновили басню о Ромуле: поверили бы, что я вознесся на небо и воссел в сонме богов».[131]

А иногда кажется ему, что этого уже сделать нельзя.

«Я пришел в мир слишком поздно: теперь уже нельзя сделать ничего великого», — говорит он в день коронования, 2 декабря 1804 года, тому самому Декрэ, который боится, что император «сошел с ума». — «Конечно, моя карьера блестяща, мой путь прекрасен. Но какое же сравнение с древностью! Там Александр покорил Азию, объявляет себя сыном Юпитера, и, за исключением матери его, Олимпии, которая знает, в чем дело, да Аристотеля, да нескольких афинских педантов, весь Восток верит ему. Ну а если бы я вздумал себя объявить сыном Бога-Отца и назначить благодарственное богослужение по этому поводу, то не нашлось бы такой рыбной торговки в Париже, которая не освистала бы меня. Нет, в настоящее время народы слишком цивилизованны: нельзя ничего сделать!»[132]

То можно, то нельзя. Тут геометрическая ясность ума изменяет ему; начинается «темная гемисфера небес», где свет, о котором говорит Гете: «Свет, озарявший его, не потухал ни на минуту», — вдруг потухает, так что он должен ходить ощупью, чтобы не попасть в «смешное»: «от великого до смешного только шаг». Тут «свист рыбной торговки» может низвергнуть владыку мира.

Смутно видит он или только слышит, что где-то очень близко от него, как будто рядом с ним, строится другая пирамида мирового владычества. Если бы он лучше видел, то понял бы, что строится она не рядом, а над ним и что эти две пирамиды противоположны друг другу: одна его — языческий Рим — подымается от земли к небу; другая, христианская, — Град Божий — опускается с неба на землю, так что острия их соприкасаются в одной точке, где, по смыслу пирамиды нижней, человек становится Богом, а по смыслу верхней, — Бог становится Человеком; тот жертвует миром себе, а этот — собою миру. Что противоположность эту Наполеон понимает или хотя бы смутно чувствует, видно из слов его, сказанных уже без всякой усмешки, со страшною серьезностью, когда он сам был распят на скале Св. Елены: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на кресте».

Надо бы ему выбрать одну из двух пирамид. Но он этого не делает — страшится: тут, кажется, это человеческое слово подходит к нему. Он хочет соединить обе пирамиды. Конкордат и есть попытка такого соединения.

«Это была самая блестящая победа над духом Революции; все остальные — только следствия этой, главной. Успех Конкордата показал, что Бонапарт лучше всех окружавших его угадал то, что было в глубине сердец», — говорит современник.[133]

Да, понял он, что религии не создаются. Алкораны не сочиняются; не захотел быть «чудовищною помесью пророка с шарлатаном», как определяет его Карлейль с грубою легкостью. «Не хотите ли вы, чтобы я сочинил, по своей фантазии, новую, неизвестную людям религию? Нет, я смотрю на это дело иначе: мне нужна старая, католическая религия; она одна в глубине сердец, неискоренимая, и одна только может мне приобрести сердца и сгладить все препятствия».[134]

Но что главное препятствие в ней же, в самой религии, он уже давно знает. «Христианство несовместимо с государством, — пишет семнадцатилетний мальчик Бонапарт в своих ученических тетрадях. — Царство Христово не от мира сего. Оно ставит верховную власть Бога на место верховной власти народа». «И государя, — мог бы он прибавить. — Оно разрушает государственное единство».[135]

Чтобы соединить две пирамиды мирового владычества, государство и церковь, надо что-то существенно изменить в христианстве. Что же именно? «Я старался не задевать догмата», — говорит Наполеон простодушно, как военный человек о невоенных делах.[136] Но не задевать догмата было трудно — труднее, чем он думал: ведь к самому существу догмата относится вопрос: кто истинный Владыка мира — Богочеловек или Человек-бог?

Но он все-таки начал это трудное дело: объявил, что нет двух наместников Христа, папы и кесаря, а есть один-единственный — кесарь. По Наполеонову Катехизису: «Бог сделал императора наместником Своего могущества и образом Своим на земле».[137] Только ли образом? Архиепископ руанский, кощунственно играя словом «christos», «помазанник», называет императора «Христом Провидения», «le christ de la Providence».[138]

«Я надеялся управлять папою, и тогда какое влияние, какой рычаг для власти над миром!» — открывает Наполеон «тайну» свою, опять только на Св. Елене, когда уже все кончено и дело проиграно.[139] — «Я управлял бы миром духовным так же легко, как политическим».[140] — «Я вознес бы папу безмерно… окружил бы его таким почетом и пышностью, что он перестал бы жалеть о мирском; я сделал бы из него идола; он жил бы рядом со мной; Париж был бы столицею, христианского мира, и я управлял бы миром духовным, так же как светским», — все повторяет он это, все возвращается к этому.[141]

Но легко ли это или трудно, все-таки не знает наверное. «Духовная власть государя была предметом всех моих помыслов и всех желании… Без нее нельзя управлять… Но это было очень трудно сделать; при каждой попытке я видел опасность. Я

сознавал, что, если бы я принялся за это, как следует, народ меня покинул бы».[142] Раздался бы «свист рыбной торговки».

Хуже всего то, что он хорошенько не знает, что ему делать с папою. Борется железным мечом с призраком. То ласкает, то ранит его. «Пий VII настоящая овечка, совершенно добрый человек; я его очень уважаю и люблю».[143] Это вначале, а в конце: «Папа бешеный дурак, которого надо запереть».[144] И он запирает его сначала в Савону, потом в Фонтенбло.

«Идолом» папа сделаться не захотел. Агнец оказался львом, мягкий воск — твердым камнем, тем самым, о котором сказано: «На камне сем созижду церковь Мою».

«Мы сделали все для доброго согласья, — писал о Конкордате Пий VII. — Мы еще больше готовы сделать, только бы оставили неприкосновенными те начала, в коих мы неподвижны. Тут дело идет о нашей совести, и тут от нас ничего не получат, если бы даже с нас содрали кожу».[145]

Невообразимо, чем бы кончилась эта война, может быть, величайшая из всех наполеоновских войн, если бы не наступил внезапный конец, не рушилась или не рассеялась, как сон, вся пирамида мирового владычества и он вдруг не проснулся бы голый на голой скале Св. Елены.

Видел ли он Того, с кем боролся, как Иаков во сне? «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Бог благословил Наполеона устами святейшего отца, Пия VII: «Мы должны помнить, что после Бога ему (Наполеону) религия преимущественно обязана своим восстановлением… Конкордат есть христианское и героическое дело спасения».[146] Лучше, мудрее нельзя сказать: «христианское и героическое», божеское и человеческое вместе — это и есть точка соприкосновения двух пирамид.

Он их не соединил, пал под их тяжестью; но его величие в том, что он один, за два тысячелетия христианской истории, все-таки пытался поднять эту тяжесть.

Знал ли он, кто искушает его? Если и знал, то не наяву, а только в пророческих снах.

«И возвед Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; и так, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое».

Наполеон не поклонился диаволу, и царства мира отошли от него.

Что погубило его? Он думал, рок; но не рок ему изменил, а он сам себе: вдруг ослабел, сильный, перед Сильнейшим, и,

может быть, в этой слабости из всех его величий величайшее.

Так и умер, не зная, Кто его победил, и даже не мог, умирая, сказать, как древний Отступник: «Ты победил, Галилеянин!» Только молча склонил голову, когда к ней протянулась Невидимая Рука, сняла с нее царский венец и возложила терновый.

ЧЕЛОВЕК ИЗ АТЛАНТИДЫ

Мать Наполеона, Мария-Летиция Буонапарте, посвятила его, еще до рождения, Пречистой Деве Матери, как будто знала, что дитя будет нуждаться в Ее святом покрове. И мальчик родился 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы.

Вспомнил ли Наполеон хоть раз в жизни об этом посвящении? Едва ли. А если бы даже и вспомнил, то, может быть, удивился бы, как мы удивляемся: нашла кого Кому посвятить!

Но посвящение оказалось не тщетным, хотя и не в том смысле, как могли бы это понять «добрые католики», и даже христиане вообще, но в том самом, как поняли бы дохристианские поклонники Великой Матери богов. Magna Mater deorum, потому что задолго еще до христианства Она уже царила здесь, на острове Корсике, так же как на всех островах и побережьях Средиземного моря. В этой колыбели европейского человечества Она уже баюкала его песнью волн, еще с незапамятной, может быть доисторической, древности. Мать Изида египетская, Иштар-Мами вавилонская, ханаанская Астарта, Virgo Coelestis карфагенская, Рея-Кибела малоазийская, греческая Деметра — Мать-Земля и Урания — Небесная Матерь, — под множеством имен, во множестве образов, — все Она, Пречистая Дева Матерь.

> Antiquam exquirite Matrem.
> Древнюю Матерь ищите —

этот завет Энея-праотца исполнил Наполеон, как никто: взыскал, возлюбил ее всю, — всю хотел обнять, — не маленькую Корсику, не маленькую Францию, не маленькую Европу, а всю великую Землю Мать.

Но что Мать Земля есть и Матерь Небесная, этого не знал или забыл. А между тем всю жизнь звучал над ним Ее таинственный благовест.

«Я всегда любил звук сельских колоколов», — вспоминает он на Св. Елене.[147] «Колокольный звон производил на Бонапарта необыкновенное действие, которого я никогда не мог себе объяснить, — вспоминает школьный товарищ его, Бурьенн. — Он слушал его с наслаждением. Сколько раз бывало, в Мальмезоне, когда мы гуляли с ним по аллее, ведущей к Рюейльской равнине, сельский колокол прерывал наши беседы о

самых важных делах. Он останавливался, чтобы шум шагов не заглушил ни одного из чарующих звуков, и почти сердился на меня за то, что я не испытывал тех же чувств, как он. Действие, производимое на него этими звуками, было так сильно, что в голосе его слышалось волнение, когда он говорил мне: „Это напоминает мне мои юные годы в Бриеннской школе. Я был счастлив тогда!“»[148]

Больше всех звуков земли любит он эти два столь противоположные — пушечный гром и сельский колокол.

Очарованные странники христианских легенд, блуждая в пустынях и слыша неведомо откуда доносящийся благовест, идут на него. А Наполеон никуда не идет и даже не слышит, что колокол его куда-то зовет; не знает о себе того, что мать знала о нем еще до его рождения.

«Наполеон весь жил в идее, но не мог ее уловить своим сознанием; он отвергает вообще все идеальное и отрицает его действительность, а между тем усердно старается его осуществить», — говорит Гете.[149]

Как странно! Наполеон один из самых умных людей, а если мерить ум по глубине, с какой он захватывает действительность, то и самый умный человек, по крайней мере за последних два тысячелетия, — не видит, не знает, не сознает своей же собственной идеи, такой огромной, что он «живет в ней весь». Может ли это быть?

> Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust!
> Ах, две души живут в моей груди!

Дневная и ночная. Мысли ночной потухают в дневной, как звезды — в солнечном свете. Солнцу надо зайти, чтобы выступили звезды. Но солнце Наполеона никогда не заходит: «свет, озарявший его, не потухал ни на минуту», по слову того же Гете. Вот почему он не видит своих ночных мыслей — звезд. Но, может быть, о них-то и напоминает ему колокол.

13 октября 1809 года, после Ваграма, на площади Шенбруннского замка, близ Вены, во время парада, схвачен был молодой человек, почти мальчик, лет 18, «с очень белым и нежным лицом, как у девушки, Фридрих Штапс, сын протестантского пастора в Наумбурге. Из бокового кармана сюртука торчал у него огромный, неловко завернутый в бумагу, кухонный нож. Этим ножом он хотел убить Наполеона, как тотчас, признался ему на допросе.

— За что вы хотели меня убить?

— За то, что вы делаете зло моему отечеству…

— Вы сумасшедший, вы больной. Позвать Корвизара!

Корвизар, лейб-медик Наполеона, осмотрел Штапса и объявил, что он совершенно здоров.

— Я вас помилую, если вы попросите у меня прощенья, — сказал Наполеон.

— Я не хочу прощенья, я очень жалею, что мне не удалось вас убить, — ответил Штапс.

— Черт побери! Кажется, для вас преступленье ничего не значит?

— Вас убить не преступленье, а долг.

— Ну, а если я вас все-таки помилую, будете вы мне благодарны?

— Нет, я все равно вас убью».

«Наполеон остолбенел», — вспоминает очевидец.

«Вот плоды иллюминатства, которым заражена Германия! Но с этим ничего не поделаешь: пушками секты не истребишь, — сказал он окружавшим его, когда Штапса увели. — Узнайте, как он умрет, и доложите мне».

Штапс умер, как герой. Когда его вывели к расстрелу, он воскликнул: «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия!.. Смерть тирану!» И пал мертвым.

Наполеон долго не мог его забыть. «Этот несчастный не выходит у меня из головы. Когда я о нем думаю, мысли мои теряются. Это выше моего разумения! Cela me passe!»[150]

Что же, собственно, выше его разумения, его ума, почти бесконечного, в этом восемнадцатилетнем мальчике «с очень белым и нежным лицом, как у девушки», — лицом древнего героя и христианского мученика? Что поразило его в нем до «остолбенения»? Уж не сходство ли с молодым Бонапартом, якобинцем 93-го года, который говорил то самое, что мог бы ему ответить и Штапс на вопрос: «Для вас преступление ничего не значит?» — «Странный вопрос! Нет долга, нет закона там, где нет свободы… Вечными письменами начертал Создатель в сердце человека Права Человека».[151] — «Если бы даже родной отец мой захотел быть тираном, я заколол бы его кинжалом!»[152] Да, может быть, и это поразило его, но не только это. Он «остолбенел», потому что вдруг почувствовал свое бессилье перед какой-то неведомой силой. Точно молния вдруг осветила ему его же ночную душу, ночную гемисферу небес, где некогда должно было взойти для него над Св. Еленою невидимое в дневной гемисфере Созвездие Креста.

Гете, великий язычник, удивился бы и не поверил, если бы ему сказали, что та огромная «идея, в которой Наполеон жил весь, хотя и не мог уловить ее своим сознанием», была идея, по

крайней мере наполовину, «христианская». Еще больше удивился бы и еще меньше поверил бы этому сам Наполеон. Вопреки всем благословениям папы, что ему, в самом деле, христианство?

«Монашеское смирение убийственно для всякой добродетели, всякой силы, всякой власти. Пусть же законодатель скажет человеку, что все его действия должны иметь целью счастье здесь, на земле». — «Теология — клоака всех суеверий и всех заблуждений». — «Вместо катехизиса нужен народу маленький курс геометрии».[153] Все это говорит артиллерийский поручик Бонапарт, якобинец 93-го года.

А вот что лет через пять говорит или думает главнокомандующий Египетской армии: «Париж стоит обедни!» Это значит — завоевание Азии стоит христианства. Бонапарт в Египте готов был принять ислам. «И армия вместе со мной переменила бы веру шутя. А между тем, подумайте только, что бы из этого вышло: я захватил бы Европу с другого конца; старая европейская цивилизация была бы окружена, и кто тогда посмел бы противиться судьбам Франции и обновлению века?»[154] — «Если бы я остался на Востоке, я, вероятно, подобно Александру, основал бы империю, отправившись на поклонение в Мекку».[155] — «Я видел себя на пути в Азию, с тюрбаном на голове и с новым, моего сочинения, Алкораном в руках».

«От начала мира на небесах было написано, что я приду с Запада, чтобы исполнить свое назначение — уничтожить всех врагов ислама и низвергнуть кресты», — говорит он в воззвании к мусульманским шейхам. «Так-то я забавлялся над ними!» Так же забавлялся он и над католиками в Италии: «Я сражался с неверными турками; я почти крестоносец».[156] — «Это было шарлатанство, но самого высшего полета», — как будто нарочно дразнит он Карлейля «чудовищною помесью пророка с шарлатаном».[157]

«Что ты со мной воюешь? — говорил пленному Мустафе-паше, после Абукирской победы. — Надо бы тебе воевать с русскими, этими неверными, поклоняющимися трем Богам. А я, как и твой Пророк, верю в единого Бога». — «Хорошо, если это у тебя в сердце».[158]

Если же потом он принимает христианство, или, вернее, католичество, то лишь внешне, как орудие власти.

«У нас с вами, конечно, немного религии, но народ нуждается в ней».[159] — «Может ли быть государственный порядок без религии. Общество не может существовать без имущественного неравенства, а неравенство — без религии. Когда один человек умирает от голода рядом с другим, сытым по горло, то невозможно, чтобы он на это согласился, если нет власти,

которая говорит ему: „Этого хочет Бог; надо, чтобы здесь, на земле, были бедные и богатые, а там, в вечности, будет иначе“». [160]

Что это, атеизм? Нет. С гениальною прозорливостью он уже видит то, чего мы все еще не видим, после стольких страшных опытов: «самый страшный враг сейчас атеизм, а не фанатизм». [161] «Я восстановил религию; это заслуга, последствия которой неисчислимы, потому что если бы не было религии, то люди убивали бы друг друга из-за самой сладкой груши и самой красивой девушки». [162]

Но, принимая христианство внешне, внутренне он даже не борется с ним, по крайней мере, в дневном сознании, в дневной душе своей, а проходит мимо него.

В юности сочинил, по Энциклопедии, параллель между Иисусом Христом и Аполлонием Тианским, отдавая преимущество Аполлонию. Когда же, во время консульства, брат Люсьен Бонапарт напомнил ему об этом, он воскликнул, смеясь: «Полно, забудьте об этом! Иначе я поссорюсь с Римом или должен буду публично каяться, чтобы мой Конкордат не оказался делом Веельзевула!»

«А ведь папа-то во Христа верит!» — удивляется искренне. «Существовал ли Иисус? Кажется, никто из историков, ни даже Иосиф Флавий, не упоминает о Нем».

«Я пришел к тому убеждению, что Иисуса никогда не было». Может быть, впрочем, главное недоумение его не в том, был ли Христос, а нужно ли, чтобы Он был.

И вдруг опять, как молния: «Я, кажется, знаю людей, и вот я говорю вам: Иисус не был человеком!» [163] — «Хорошо, если это у тебя в сердце».

В сердце у него, во всяком случае, бесконечный вопрос, а может быть, и мука бесконечная: «Кто я? Откуда? Куда иду?.. Я потерял веру в тринадцать лет. Может быть, я снова поверю слепо, дай-то Бог! Я этому не буду противиться, я сам этого желаю, я понимаю, что это великое счастье…» [164] «Я умом неверующий, но воспоминания детства и юности возвращают меня к неизвестности». [165] Не эти ли воспоминания в глубине сердца его — таинственный колокол?

«Ладно! Я верю во все, во что верит церковь… Но столько религий, что не знаешь, какая настоящая… Если бы от начала мира была одна, я считал бы ее истинной». [166] От начала мира — от древней Матери Земли.

Antiquam exquirite Matrem.

Матери древней ищите.

Он ее искал, но не нашел. Что же помешало ему? Уж конечно,

не «злоупотребления священников», не катехизис, вместо «нужного народу, маленького курса геометрии».

Однажды, сажая бобы на Св. Елене и заметив чудное устройство их усиков, он заговорил о существовании Бога-Творца.[167]

«Все-таки идея Бога самая простая: кто все это сделал?»[168]

В звездную ночь, на палубе фрегата «Ориент», на пути из Франции в Египет, когда ученые спутники его, члены Института, доказывали ему, что нет Бога, он вдруг поднял руку и указал им на звезды: «А это все кто создал?».[169] Это-то, уж конечно, из глубины сердца сказано.

А вот еще глубже: «Нет чудес — все чудо».[170] — «Что такое будущее? Что такое прошлое? И что такое мы сами? Какой магический туман окружает нас и скрывает от нас то, что нам всего важнее знать? Мы рождаемся, живем и умираем среди чудесного».[171]

Как-то раз, на Св. Елене, уже больной, сидя в ванне и читая Новый Завет, он вдруг воскликнул: «Я вовсе не атеист!.. Человек нуждается в чудесном… Никто не может сказать, что он сделает в свои последние минуты».[172]

В последние минуты он потребовал католического священника, «чтобы не умереть, как собака». А доктора Антоммарки, когда тот усмехнулся на его слова духовнику: «Я хочу умереть, как добрый католик», — выгнал из комнаты.[173]

«Я умираю в апостолической римской религии, в лоне которой я родился», — сказал в завещании Наполеон. Правда это или неправда? Он и сам не знает. Но нет никакого сомнения, что около этого — не католичества, не даже христианства, а самого Христа, — с кем же и борется он, как не с Ним, кого же и надо ему победить, как не Его, чтобы сделаться «величайшим из людей на земле», владыкою мира? — около самого Христа движется вся его ночная душа, та огромная идея, в которой «он живет весь».

«Всегда один среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собою и предаваться меланхолии, — пишет в своем дневнике, 3 мая 1786 года, семнадцатилетний артиллерийский подпоручик Бонапарт, в своей бедной комнатке. — О чем же я буду сегодня мечтать? О смерти. На заре моих дней я мог бы надеяться еще долго прожить… и быть счастливым. Какое же безумие заставляет меня желать конца? Правда, что мне делать в этом мире?.. Как люди далеки от природы. Как они подлы, низки, презренны… Жизнь мне в тягость, потому что люди, с которыми я живу и, вероятно, всегда буду жить, так же непохожи на меня, как лунный свет на солнечный».[174]

Что же, однако, сделал этот маленький прапорщик, чтобы так презирать людей? И что это значит: все люди — «лунный свет», а он один — «солнечный»? Этого мы не знаем, но знает Ницше: «Наполеон был последним воплощением бога солнца, Аполлона». Знает и Гете: «Жизнь Наполеона — жизнь полубога: вся она лучезарна» — солнечна. Но, может быть, лучше всех это знает тот старый гренадер, идущий рядом с императором в двадцатиградусный мороз на Березине: «Холодно тебе, мой друг?» — «Нет, государь, когда я смотрю на вас, мне тепло!» Он знает, чувствует всем своим замерзающим телом, что все люди — холодные, «лунные», — только один император — теплый, «солнечный».

День Бородина, 7 сентября, решивший участь Русской кампании, а может быть, и всей наполеоновской империи, совпал с началом осеннего равноденствия, поворотом солнца к зиме. В этот день Наполеон был болен. «Первые дни равноденствия оказали на него дурное действие», — объясняет Сегюр.[175] Он всегда чувствовал таинственную связь своего тела с солнцем. «Плоть твоя — свет солнечный; члены твои — лучи прекрасные. Воистину, из Солнца изшел ты, как дитя из чрева матери!» — возглашалось на утрени египетского царя, Ахенатона, Сына Солнца. А через три с половиной тысячелетия на огненной всенощной люди поклонялись другому «сыну Солнца» — «Солнцу Аустерлица» — самому императору.

Там же, в Оксонских казармах, несколько лет спустя после тех строк о «лунных» и «солнечных» людях, он пишет странную повесть, похожую на бред, а может быть, и в самом деле бред: в это время он болен перемежающейся лихорадкой Оксонских болот.

Повесть — о корсиканской мести, вендетте, целому народу — французам. Он тогда ненавидел их за угнетение Корсики и любил будущих злейших врагов своих, англичан, за то, что они помогли корсиканцам в войне за освобождение.

Англичанин, от лица которого ведется рассказ, плывя на корабле из Ливорно в Испанию, попадает на необитаемый островок, неподалеку от Корсики, неприступную скалу, с вечным прибоем яростных волн. Здесь происходят частые кораблекрушения, отчего, должно быть, островок и получил свое зловещее имя: Горгона. Но англичанин, меланхолик, восхищен дикою прелестью этого места. «Никогда человек не обитал в таком пустынном убежище… Я мог бы здесь быть если не счастлив, то мудр и спокоен». С этими мыслями он засыпает ночью, в палатке; как вдруг пробуждается от блеска пламени и чьего-то крика: «Умри, несчастный!» Палатка вспыхивает. Он едва

спасается из огня и узнает, что его хотела сжечь молодая девушка, дочь старика, единственного обитателя Горгоны. Старик, узнав, что он англичанин, принимает его как желанного гостя и рассказывает ему свою жизнь.

Он корсиканец; много лет сражался с поработителями Корсики, генуэзцами, австрийцами, французами. Когда же эти последние окончательно овладели островом и перебили его отца, мать, жену и всех детей, кроме одной дочери, пропавшей без вести, он покинул Корсику и переселился на остров Горгону, где после разных приключений нашел свою дочь. Здесь они живут, как дикие, в развалинах старого монастыря, питаясь желудями и рыбой. «Горести сделали мне солнечный свет ненавистным. Солнце мне никогда не сияет. Я дышу воздухом только по ночам, чтобы не растравлять сердца видом гор, где обитали некогда мои предки… Я поклялся на моем алтаре (кажется, это алтарь монастырской часовни в тех развалинах, где они живут), я поклялся не щадить ни одного француза. Когда корабли их разбиваются о скалы Горгоны, мы спасаем погибающих, как людей, и убиваем их, как французов».

«В прошлом году здесь едва не погиб французский почтовый корабль. Страшные вопли погибающих пробудили во мне жалость… Я развел большой огонь около того места, где они могли причалить, и этим спас их… Чем же, вы думаете, они отблагодарили меня?.. Узнав, что я корсиканец, схватили и заковали в цепи… Так я был наказан за свою слабость. Гневные предки мстили мне за свои неотомщенные тени. Но, видя мое раскаянье, Бог спас меня. Корабль задержался на семь дней. Вся вода у них вышла. Надо было узнать, где колодец, и они обещали мне свободу, сняли с меня цепи. Я воспользовался этой минутой и вонзил кинжал в сердце одного из двух моих спутников. Тогда я в первый раз увидел солнце, — какое лучезарное! Дочь моя осталась на корабле связанной. Я переоделся в платье одного из убитых мною солдат и, вооружившись двумя, взятыми у него, пистолетами, саблею и моими кинжалами, пошел на корабль. Капитан и юнга пали первые моими жертвами. Потом я перебил и всех остальных… Мы притащили к подножью алтаря тела убитых и там их сожгли. Этот новый фимиам, казалось, был угоден Богу». [176]

Фимиам — новый? Нет, очень древний. Только первозданные скалы Горгоны помнят те времена, когда приносились человеческие жертвы Молоху, Ваалу, Шамашу и другим богам солнца, еще более древним, — может быть, доисторической, допотопной древности. Эта-то кровавая жертва и оскверняет христианский алтарь, где приносилась некогда Жертва

бескровная. Человек не видит солнца, живет во тьме, пока не вонзит нож, как жрец Молоха, в сердце человеческой жертвы: только тогда оно засияет для него опять, лучезарное.

«Если бы мне нужно было выбирать религию, я обоготворил бы солнце, потому что оно все оживляет: это истинный бог земли», — говорит Наполеон на Св. Елене, роняя эти слова как будто небрежно, случайно, с конца уст, а на самом деле из глубины глубин сердечных.[177]

«Лунная» богиня Разума, которой тоже приносились человеческие жертвы Робеспьером и Маратом, как бледна и бескровна перед этим Наполеоновым солнечным богом: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей». Миллион человеческих жертв он уже принес, и сколько бы еще принес, если бы сделался владыкою мира!

Слишком понятно, что человек, у которого проносятся в душе, как метеоры в ночи, такие мысли, раскаленные глыбы, — не корсиканец, не итальянец, не француз, даже вообще не европеец, даже не человек нашего всемирно-исторического, а может быть и нашего космического, «века» — зона. Вскормленник иных веков, «солнечных», он задыхается в этом «лунном» веке, где и дряхлеющее солнце бледно, как луна. Давит людей нечаянно своей неуклюжею огромностью, как допотопное чудовище.

«Цивилизация всегда ему немного личный враг», — говорил о Наполеоне Талейран.[178] Только снаружи — «немного», а внутри, может быть, и очень много.

Всякая цивилизация, а особенно европейская, есть «условность», «пристойность», «хорошее воспитание». «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан!» — ответил ему однажды Талейран, конечно за глаза, на его площадное ругательство.[179]«Ему недостает воспитания и хороших манер, — говорит г-жа Ремюза, Талейранова наперсница. — Он не умеет ни войти, ни выйти из комнаты, ни поклониться, ни встать, ни сесть. Все его движенья резки и угловаты; манера говорить — тоже… Вообще, всякое постоянное правило для него невыносимо стеснительно; всякая вольность нравится ему, как победа; он никогда ничему не хотел подчиняться, ни даже грамматике.[180] Ни даже одежде: сам не умеет одеваться; камердинер одевает его, как ребенка, но, раздеваясь ночью, он нетерпеливо срывает с себя и бросает одежду на пол, как непривычную и ненужную тяжесть; естественное состояние тела его — древняя, целомудренная и нестыдящаяся нагота».[181]

Цивилизация есть «хороший вкус». «А-а, хороший вкус, вот еще одно из тех классических словечек, которых я не признаю!»[182] — «Хороший вкус — ваш личный враг. Если бы вы

могли от него отделаться пушками, его бы уже давно не существовало», — говорит ему Талейран.[183] Талейрану кажется, что Наполеон не умеет быть «цивилизованным»; но, может быть, он этого вовсе и не хочет. «Вы, сударь, навоз в шелковом мешке!»— сказал он однажды Талейрану. Но, может быть, и вся европейская «цивилизация» для Наполеона такой же «навоз». «Проходя мимо всей этой нелепости, мне иногда хочется просто-напросто взять все за хвост и стряхнуть к черту!» — мог бы и он сказать, как Раскольников.

«Вольный полет в пространстве — вот что нужно для таких крыльев. Он здесь умрет; ему надо уехать отсюда», — замечает одна современница перед самым отъездом его в Египет. Он и сам понимает, что ему надо бежать: «Этот Париж давит меня, как свинцовый плащ».[184] Не только Париж, но и вся европейская цивилизация.

Вот отчего тяга его на Восток. «В Египте я чувствовал себя освобожденным от пут стеснительной цивилизации… Это было лучшее время моей жизни, потому что самое идеальное. Но судьба — решила иначе… Я должен был вернуться в действительность социального порядка». В европейскую цивилизацию — «шелковый мешок с навозом».

Вот почему он любит войну. «Война — естественное состояние, état naturel» — оголение, освобождение от «свинцового плаща» цивилизации.[185]

Вот почему он любит и революцию, — ненавидит, убивает ее, а все-таки любит. «Марат… я его люблю, потому что он искренен. Он всегда говорит, что думает. Это характер. Он один борется против всех».[186]

Обуздатель, устроитель революционного хаоса, он чувствует в себе самом бушующий хаос, может быть, больший, чем революция, и величайший подвиг его в том, что он обуздал не только тот, внешний, но и тот, внутренний, хаос — «ужас Горгоны». Сам бы он, впрочем, не спасся от него. Мать-Земля спасла его, а может быть, и Матерь Небесная.

Что же значит «ненависть его к цивилизации»? Куда он из нее стремится? В «естественное состояние», — так ему казалось в юности, когда он увлекался Руссо. Но он был слишком умен и трезв для таких увлечений: Жан-Жакова дурь скоро с него соскочила. «Мне особенно опротивел Руссо, когда я увидел Восток: дикий человек — собака».[187]

Но если не в «дикость», то куда же? В иную цивилизацию или, точнее, в иной всемирно-исторический, а может быть и космический, век — зон; из нашего, «лунного», — в «солнечный». Что же это за «солнечный век»?

Ах, две души живут в моей груди!

Может быть, мы все еще не понимаем как следует трагическое значение для нас этих двух душ.

Две души — два сознания: бодрствующее, дневное, поверхностное и ночное, спящее, глубокое. Первое — движется, по закону тождества, в силлогизмах, в индукциях, и, доведенное до крайности, дает всему строению культуры тот мертвый, «механический» облик, который нам так хорошо знаком; второе движется, по законам какой-то неведомой нам логики, в прозреньях, ясновиденьях, интуициях и дает культуре облик живой, органический, или, как сказали бы древние, «магический».

«Магия», «теургия» — эти слова давно потеряли для нас свой реальный смысл. Чтобы напомнить его, мы могли бы только указать на такую слабую и грубую аналогию, как «животный инстинкт». Муравьи, на берегу реки, знают, где надо строить муравейник, чтобы не залило водой половодья! Ласточки знают, куда нужно лететь, чтобы попасть в прошлогоднее гнездо, за две тысячи верст. И это знание, не менее достоверное, чем то, которое мы получаем путем индукций и силлогизмов, кажется нам «чудесным», «магическим». Мы могли бы указать и на менее грубую, но еще более слабую аналогию гениальных прозрений, интуиции в научном и художественном творчестве, которые ведь тоже не по лестнице силлогизмов и индукций, а внезапными, как бы «чудесными», взлетами, так что в этой «чудесности» гения и заключается его особенность, несоизмеримость с нашей обыденной «механикой». Но все это лишь слабые намеки на какую-то огромную, исчезнувшую для нас, действительность; малые дроби какого-то неведомого нам огромного целого.

Наблюдая с этой точки зрения ряд нисходящих от нас в глубину древности великих культур, мы замечаем, что, по мере нисхождения, механичность дневного сознания в них убывает, и возрастает органичность сознания ночного, — та для нас темная область его, которую древние называют «магией», «теургией». Если же довести этот ряд до конца, то получится наш крайний антипод, противоположно-подобный, двойник — противоположный в путях, подобный в цели — в титанической власти над природою, — та совершенно органическая, «магическая» культура, которую миф Платона называет «Атлантидою».

«Был некогда Остров против Геркулесовых Столпов; земля, по размерам большая, чем Ливия и Малая Азия, взятые вместе. Этот Остров — Атлантида», — сообщает Солону, афинянину, старый Саксский жрец одно из древнейших сказаний Египта в «Тимее» Платона. «Произошли великие землетрясения, потопы, и в один

день, в одну ночь остров Атлантида исчез в морской пучине».

Миф о конце Атлантиды могли рассказать Бонапарту ученые спутники его, члены Института, когда на фрегате «Мьюрон» на возвратном пути из Египта во Францию, в 1799 году, он однажды, после чтения Библии, беседовал с ними о вероятном разрушении земли новым всемирным потопом или пожаром.[188] Или раньше, в Египте, могли они напомнить ему об атлантах, распространивших свое владычество до пределов Египта (Платон, «Критий»).

Что почувствовал бы Наполеон, слушая эти сказания? Пронеслось ли бы над душой его родное веянье?

Первое мировое владычество основали атланты, а он хотел основать последнее.

Атланты — сыны Океана, и он тоже:

> Твой образ был на нем означен;
> Он духом создан был твоим:
> Как ты, могущ, глубок и мрачен,
> Как ты, ничем не укротим.[189]

Атланты — островитяне, и он тоже: родился на острове Корсике; умер на острове Св. Елены; первый раз пал на остров Эльбу; и всю жизнь боролся с островом Англией — современной «Атлантидой» маленькой, за будущую великую — всю земную сушу, окруженную морями.

Но, может быть, еще глубже этих внешних сходств — сходство внутреннее.

Мать — Земля, Солнце — Отец, Человек — Сын — такова религия атлантов, судя по обломкам ее, которые сохранили нам вавилонские и шумеро-аккадские прапращуры нашей истории.

Клинописные скрижали Допотопных мудрецов.

«Если бы мне надо было выбирать религию, я обоготворил бы Солнце… Это истинный Бог земли». Мать — Земля, Солнце — Отец, Человек — Сын, — может быть, это и есть та «религия, от начала мира одна», которой он искал.

Атланты — «органичны», и он тоже. В законодательстве отвлеченные схемы «идеологов» он заменяет живым, историческим опытом; в стратегии, — все механические теории двумя органическими знаниями — проникновеньями в живую душу солдат и в живую природу местности, где происходит сражение.

Это в большом, это и в малом. Так же не верит врачам, механикам тела, как «идеологам», механикам ума; силлогизмами не думает, лекарствами не лечится; думает прозреньями,

«интуициями», лечится «магией», самовнушением.

Степень механичности, данную в европейской цивилизации, принимает по необходимости; но степени большей не хочет. Когда в 1803 году готовил военный десант в Англию, американец Фёльтон (Fulton) предложил ему свое изобретение — пароход; он его не принял и был, конечно, неправ: пароход мог бы дать ему победу над английским парусным флотом, ключ к мировому владычеству.[190] Но по одному этому видно его отвращение к механике.

Судя по циклопическому зодчеству атлантов, о котором говорит Платон, механика их была не менее, а может быть и более, совершенна, чем наша; судя по нашей религии — христианству, интуиция наша не менее, а может быть и более, глубока, чем интуиция атлантов.

В чем наша разница с ними? В воле, в сознании: мы только и делаем, что подчиняем нашу интуицию механике, покрываем ночное сознание дневным; атланты, наоборот, свое дневное сознание покрывают ночным, механику подчиняют интуиции.

Наполеон, и в этом смысле Атлант, наш антипод: для нас механика — крылья, а для него — тяжесть, которую он подымает на крыльях интуиции.

Душа Атлантиды — «магия», и душа Наполеона тоже. «Как ни велико было мое материальное могущество, духовное было еще больше: оно доходило до „магии“». — «Мне нужно было, чтобы моя судьба, мои удачи имели в себе нечто „сверхъестественное“. После Ватерлоо чудесное в судьбе моей пошло на убыль».[191]

У него был «род магнетического предвиденья (prévision magnetique) своих будущих судеб», — вспоминает Бурьенн.[192] «У меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает», — вспоминает он сам.[193] Можно сказать, что весь наполеоновский гений — в этом «внутреннем чувстве», в «магнетическом», магическом «предвиденье»: оно-то и дает ему такую бесконечную, в самом деле как бы «волшебную», власть над людьми и событиями.

«Sire, vous faites toujours des miracles! Государь, вы всегда творите чудеса!» — простодушно и глубоко говорит ему помощник маконского мэра, свидетель эльбского чуда — триумфального шествия императора в Париж, в 1815 году.[194]

«Ну вот его и взорвали!» — обрадовался кто-то, узнав о взрыве адской машины под каретой Первого Консула, на Никезской улице, в 1801 году. «Что? Его взорвали? — воскликнул старый военный, австриец, свидетель „чудес.“ Итальянской кампании. — Нет, господа, вы его не знаете… Я держу пари, что он сейчас здоровее нас всех… Я давно знаю все его штуки!»[195]

Это значит — «колдовские штуки», «магию».

Сила «магии» — сила «внушения». Когда он хотел соблазнить кого-нибудь, в его словах было неодолимое обаяние, род «магнетической силы», — вспоминает Сегюр.[196]

«Вещим волхвом» называет его русский поэт Тютчев, а египетские мамелюки называли его «колдуном».[197]

«Этот дьявольский человек имеет надо мною такую власть, что я этого и сам не понимаю, — признается генерал Вандам своему приятелю. — Я ни Бога, ни черта не боюсь, а когда подхожу к нему, — я готов дрожать, как ребенок: он мог бы заставить меня пройти сквозь игольное ушко, чтобы броситься в огонь!»

«Везде, где я был, я повелевал… Я для того и рожден», — говорит он сам.[198] И люди это знают:

> И с высоты, как некий бог,
> Казалось, он парил над ними,
> И двигал всем и все стерег
> Очами чудными своими.[199]

Очами «колдуна», «пронзающими голову, ses regards qui traversent la tête»:[200] страшная сила внушения — «магия» — в этих очах.

Да, «колдун», «великий маг», творящий свою жизнь и жизнь людей, всемирную историю, как непрестанное чудо.

Все это и значит: душа Наполеона — душа Атлантиды — магия.

Нам грозит гибелью злоупотребление «механикой»; атлантов погубило злоупотребление «магией». Наш путь иной, но цель та же, что у них: титаническая власть над природою и высшая точка ее — человек, становящийся Богом. Атланты — «сыны божьи», по мифу Платона. «Когда же божеская природа людей постепенно истощилась, смешиваясь с природой человеческой и, наконец, человеческая совершенно возобладала над божеской, то люди развратились… Мудрые видели, что люди сделались злыми, а немудрым казалось, что они достигли вершины добродетели и счастья, в то время как обуяла их безумная жажда богатства и могущества… Тогда Зевс решил наказать развращенное племя людей» («Критий»). И Атлантида погибла в морской пучине.

Титанизм погубил атлантов, и Наполеона — тоже. Чувством божественной меры он обладал как никогда; но, достигнув вершины могущества, утратил это чувство или пожертвовал им титанической безмерности.

Что такое «Атлантида»? Предание или пророчество? Была она

или будет? Отчего именно сейчас, как никогда, мы чувствуем сквозь этот «миф» какую-то для нас неотразимую действительность?

«Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, — и явится Человекобог» (Иван Карамазов у Достоевского). О ком это сказано? Об атлантах или о нас? Не такие же ли мы обреченные, обуянные безумною гордыней и жаждой могущества, «сыны божьи», на Бога восставшие? И не ждет ли нас тот же конец?

«Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо, как во дни перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег; и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мтф. 24. 37–39).

Атлантида и Апокалипсис — конец первого человечества и конец второго. Вот отчего Наполеон — человек из Атлантиды и «апокалипсический Всадник» — вместе.

И вот для чего он послан в мир: чтобы сказать людям: «Может быть, скоро конец».

ЗЛОЙ ИЛИ ДОБРЫЙ?

«Наполеон, человек из Атлантиды» — это не совсем точно; точнее: человек из Атлантиды — в нем.

Что какое-то существо, не имеющее себе подобного, больше или меньше, чем человек, по глубокому впечатлению г-жи де-Сталь, — существо божественное или демоническое, действительно, вложено, инкрустировано в человеческом существе Наполеона, — это нам очень трудно понять, а древним было бы легко.

«Наполеон — последнее воплощение бога солнца, Аполлона», — это для нас если не пустые слова, то лишь поэтический образ или отвлеченная идея; а для древних — «Александр, последнее воплощение бога Диониса» есть живая, всемирно-исторически движущая сила, основа такой огромной действительности, как эллинистическая всемирность; точно так же Divus Caesar Imperator — основа всемирности римской.

Для нашего философского идеализма — мнимо-христианской, духовной бесплотности — Бог человеку трансцендентен, невоплотим в человеке, а для религиозного реализма древних — воплощен, имманентен. В этом смысле так называемое «язычество» — дохристианское человечество — в высших точках своих — мистериях страдающего Бога-Сына — ближе, чем мы, к существу христианства, ибо в чем же это существо и заключается, как не в утверждении божественной имманентности, воплотимости Бога: «Слово стало плотью»?

Древние знали, что «боги — в рост человеческий», особенно знали это греки, чувствовавшие, как никто, божественность человеческого тела. Исполины — не боги, а титаны, их огромность, безмерность — слабость, сила же богов — в человеческой мере.

Знают это и пророки Израиля. «Господи, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами» (Пс. 8). — «Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; но вы умрете, как человеки» (Пс. 81). Кто же эти смертные боги, как не те богоподобные люди, герои, которых древние называют «сынами божьими».

И Ангел Апокалипсиса измеряет стену нового Иерусалима «золотою тростью, мерою человеческою, какова мера и Ангела» (Откр. 21). Это и значит, — хотя, разумеется, тут религиозный опыт происходит в иной категории: «боги — в рост человеческий».

Кажется, кое-кто из современников Наполеона видел в нем

эту божескую или титаническую «инкрустацию» — «человека из Атлантиды», хотя, конечно, слово это никому не приходило в голову; кое-кто видел ее так же ясно, как белизну слоновой кости, вставленной в черное дерево, чуял в нем «не совсем человека», так же издали, по запаху, как собаки чуют волка. Но для нас это физически зримое в лице Наполеона уже навсегда потеряно. Лучшие портреты не передают его вовсе.

Кажется, вообще, портреты относятся к живому лицу его, как пепел к пламени; пламя неизобразимо в живописи, в ваянии; так и лицо Наполеона. Слово скорее могло бы уловить его, если бы только у этого Диониса был свой Орфей.

Вот один из лучших портретов его, сделанный когда-то почти влюбленной в него, а потом вдруг испугавшейся и возненавидевшей его женщиной. «Бонапарт — небольшого роста, не очень строен: туловище его слишком длинно. Волосы темно-каштановые, глаза серо-голубые; цвет лица, сначала, при юношеской худобе, желтый, а потом, с летами, белый, матовый, без всякого румянца. Черты его прекрасны, напоминают античные медали. Рот, немного плоский, становится приятным, когда он улыбается; подбородок немного короток, нижняя челюсть тяжела и квадратна. Ноги и руки изящны; он гордится ими. Глаза, обыкновенно тусклые, придают лицу, когда оно спокойно, выражение меланхолическое, задумчивое; когда же он сердится, взгляд их становится внезапно суровым и грозящим. Улыбка ему очень идет, делает его вдруг совсем добрым и молодым; трудно ему тогда противостоять, так он весь хорошеет и преображается». [201]

Но и этот лучший портрет — только пепел, вместо огня. Здесь нет самого главного — того, от чего бесстрашный генерал Вандам, «каждый раз, подходя к Наполеону, готов был дрожать, как ребенок», и что могло его заставить «пролезть сквозь игольное ушко, чтобы броситься в огонь» за императора. Это гораздо лучше передано в простодушных словах одного бельгийского крестьянина, Наполеонова проводника на Ватерлооском поле. Когда его спросили, как показался ему император, он ответил коротко и странно: «Если бы даже лицо его было циферблатом часов, — духу не хватило бы взглянуть, который час. Son visage aurait été un cadran d'horloge qu'on n'edurait pas osé regarder l'heure». [202]

А вот что-то еще более странное.

Много думали древние о мужеженской природе богов: даже в таком мужественном боге, как Аполлон Пифийский, просвечивает женственность, а в Дионисе, страдающем боге-сыне мистерий, достигает она своего апогея. Чтобы укротить титаническое

буйство первых людей, андрогинов, боги, по мифу Платона, разрубают каждого из них пополам, на мужчину и женщину, «подобно тому как яйца, когда солят их впрок, режут волосом на две половины» («Пир»); и, хотя об этом не сказано в мифе, невольно приходит на мысль, не связан ли и титанизм атлантов с их мужеженской природой.

«У него (Наполеона) полнота не нашего пола», — замечает Лас Каз, сам не подозревая, каких таинственных глубин касается здесь в существе Наполеона.[203] Женственность у этого самого мужественного из людей иногда внезапно проступает не только в теле, но и в духе. «Он слабее и чувствительнее, чем думают», — замечает очень хорошо знавшая эти женские черты его императрица Жозефина.[204] «Часто хвалили силу моего характера, — вспоминает он сам, — но я был мокрая курица, особенно с родными, и они это отлично знали; когда у меня проходила первая вспышка гнева, их упрямство и настойчивость всегда побеждали, так что, в конце концов, они делали со мной все, что хотели».[205] Он часто и легко плачет, как женщина; от внезапно находящей дурноты надо его отпаивать сахарной водой с флердоранжем, как настоящую маркизу XVIII века.[206]

«Посмотрите-ка, доктор, — говорит он однажды на Св. Елене доктору Антоммарки, выходя к нему, совсем голый, после утреннего обтирания одеколоном, — посмотрите, какие прекрасные руки, какие округленные груди, какая белая кожа, совсем гладкая, без волоска… Этакой груди могла бы позавидовать любая красавица!»[207]

Если бы кто-нибудь сказал ему, что величайшая и страшнейшая из всех его мыслей — сделаться, подобно Александру Великому, «вторым Дионисом», завоевателем Индии, самым женственным из всех богов, — что эта мысль как-то мистически связана в нем с «полнотой не нашего пола», он, разумеется, ничего не понял бы и рассмеялся. Но, может быть, не до смеху было бы тому старому австрийцу, который хорошо знал все его «штуки», всю его «магию», если бы он услышал такой анекдот. «Как тебе понравилась новая императрица?» — спросили одного приезжего из провинции лакея, только что смотревшего на парадный, в золоченой восьмистекольной карете, выезд императрицы Марии-Луизы. «Очень хороша, очень! — ответил тот с умилением. — И какая добрая! Старую гувернантку свою взяла с собой в карету!» Что это за «гувернантка», поняли только тогда, когда он объяснил, что у нее полное, очень бледное лицо и малиновый бархатный ток с большими белыми перьями — церемониальная шляпа самого императора: это был он.[208]

Надо вообразить у этой «старой гувернантки» глаза колдуна,

«пронзающие голову», на таком лице, что, «если бы оно было даже циферблатом часов, духу не хватило бы взглянуть, который час», чтобы понять страх бедного австрийца: «вот еще одна из его штук: проклятый колдун, оборотень, — обернулся женщиной».

Что же это такое, в конце концов, — «чудо» или «чудовище»? Что это за существо в Наполеоне, «не имеющее себе подобного», — божественное или демоническое, злое или доброе?

Ницше, может быть, ответил бы почти так же, как отвечает г-жа де-Сталь: ни злое, ни доброе, а по ту сторону зла и добра. Но такой ответ слишком уклончив: ведь и «по ту сторону» человеческого добра и зла есть иное, «сверхчеловеческое», божественное. Кроме наших скудных нравственных мер, деревянных аршинов, есть «золотая трость», которою Ангел Апокалипсиса измеряет стены Града Божьего — «мерою человеческою, какова мера и Ангела». Вот по этой-то мере, что такое Наполеон?

Нам это очень важно знать, потому что если он, все-таки наш последний герой, — «чудовище», то что же мы сами? Ибо каков Герой, Человек, таково и человечество.

«У Бонапарта врожденная злая природа, врожденный вкус к злу как в больших делах, так и в малых». — «Кажется, всякое великодушное мужество чуждо ему». — «Этот человек был убийца всякой добродетели», — говорит о нем та же влюбленная в него и ненавидящая г-жа Ремюза.[209]

«Наполеон не только не был зол, но был естественно добр», — говорит человек, сам очень добрый н простой, просто любящий Наполеона, последний секретарь его, барон Фейн.[210] Это подтверждает и первый секретарь, школьный товарищ его, Бурьенн, человек недобрый и лично против Наполеона озлобленный: «Я, кажется, достаточно строго сужу его, чтобы мне поверили на слово, — и вот я говорю: вне политики он был чувствителен, добр и жалостлив».[211] Подтверждает это и русский император Александр I в 1810-м, бывший друг, будущий враг Наполеона: «Его не знают и судят слишком строго, может быть, даже несправедливо… Когда я его лучше узнал, я понял, что он человек добрый».[212]

«О Наполеон, в тебе нет ничего современного, ты весь из Плутарха!» — воскликнул однажды, взглянув на девятнадцатилетнего Буонапарте, старый корсиканский герой, Паоли.[213] «Весь из Плутарха»— значит весь из древней бронзы или мрамора, совершенный герой, человек совершенной добродетели. И тот же Паоли восклицает, через несколько лет, когда львенок выпустил когти: «Видите этого маленького человека? Два Мария в нем и один Сулла!»[214] Это значит: два

разбойника и один узурпатор.

Да, по словам и даже по безмолвным чувствам людей, трудно судить о добре и зле в Наполеоне. «Все меня любили и все ненавидели». Слишком ослепительно скрещиваются на лице его лучи любви и ненависти.

Но вот его собственное признание, как бы нечаянная исповедь, своему злому духу-искусителю, Талейрану, в деловой беседе, с глазу на глаз, почти тотчас после ужасного Лейпцигского разгрома 1814 года. Речь идет об испанском короле Фердинанде VII, которого оба они заманили в ловушку, французскую крепость Байонну, и здесь ограбили, как «настоящие разбойники на большой дороге»: заставили отречься от престола в пользу французского императора, из-за чего и вспыхнула многолетняя Испанская война — восстание, безнадежная и безысходная, одна из причин Наполеоновой гибели. Талейран, главный зачинщик и советник этого злого дела, теперь, когда уже поздно, советует Наполеону исправить его — освободить Фердинанда из французского плена и вывести войска из Испании.

«Вы еще слишком сильны, чтобы это сочли подлостью», — заключает он двусмысленно.

«Подлостью? — возразил Бонапарт. — Э, не все ли мне равно! Знайте, что я ничуть не испугался бы подлости, если бы она была мне полезной. Ведь, в сущности, нет ничего на свете ни благородного, ни подлого, у меня в характере есть все, что нужно, чтобы укреплять мою власть и обманывать всех, кому кажется, будто бы они знают меня. Говоря откровенно, я подл, в корне подл, je suis niache, essentiellement lâche; даю вам слово, что я не испытал бы никакого отвращения к тому, что в ихнем свете называется „бесчестным поступком“. Тайные склонности мои, в конце концов, естественные и противоположные тому притворному величью, которым мне приходится себя украшать, дают мне бесконечные возможности обманывать людей во всем, что они обо мне думают. Итак, мне только нужно знать сейчас, согласно ли то, что вы мне советуете, с моей нынешней политикой, а также, — прибавил он с сатанинской усмешкой, — нет ли для вас какой-нибудь тайной выгоды толкать меня на это дело».[215]

Чтобы понять эту странную исповедь, надо сначала понять духовника. Талейран тоже, в своем роде, существо необыкновенное: человек большого ума, но совершенно пустого, мертвого, потому что всякий живой ум уходит корнями своими в сердце, а у него, вместо сердца, щепотка могильного праха или той пыли, на которую рассыпается гнилой гриб-дождевик. И он это знает, чувствует свою бездонную, внутреннюю пустоту,

небытие и злобно-жадно завидует всем живым, сущим, — Наполеону особенно, потому что он сущий, живой по преимуществу.

Чем же они связаны? Тем, что Наполеону кажется в Талейране деловым реализмом, гениальною небрезгливостью к самой смрадной из человеческих кухонь, — политике. Да, этим, но и чем-то еще, более глубоким, трансцендентным. Кажется, они связаны, как Фауст и Мефистофель, человек и его потусторонняя «тень»: самое несущее прилипло к самому сущему.

И всего удивительнее, что Наполеон, по крайней мере одну минуту, как будто любит или, может быть, — это еще удивительнее, — жалеет Талейрана, из какой-то трансцендентной вежливости или осторожности, обращается с этим «бесом» своим, как с ангелом-хранителем. Чем иначе объяснить такую сцену? В 1806 году, восемь лет до той странной исповеди, отправляясь в первую Прусскую кампанию, прямо из дворца на фронт, и, в последнюю минуту, прощаясь с императрицей Жозефиной и Талейраном, Наполеон обнимает их вместе, прижимает к своей груди нежно, крепко и плачет: «Как тяжело, однако, покидать два существа, которые любишь больше всего на свете!» Плачет так, что ему делается дурно, и, по обыкновению, его приходится отпаивать флердоранжем.[216]

Минута, конечно, прошла, и он понял, с кем имеет дело, но, и поняв, не может от него отделаться, как Фауст от Мефистофеля, с тою, впрочем, разницей, что тут «магия» принадлежит не бесу, а человеку.

«Вы, сударь, навоз в шелковом мешке!» — это только один из бесчисленных легких пинков ногою слишком ласковому пуделю — Мефистофелю. А вот и настоящее, можно сказать, кровавое, хлыстом по лицу, избиение.

Сцена происходит в Тронном зале Тюльерийского дворца, в кругу первых сановников, в 1809 году, когда император, узнав о заговоре против него Талейрана, принужден был поспешно вернуться в Париж из неоконченной Испанской кампании.

Наполеон кричит на Талейрана в непритворном бешенстве, что очень редко случалось с ним, а тот, в привычной позе, облокотившись о выступ камина, чтобы облегчить свою хромую ногу, — он хром, как бес, — слушает невозмутимо и, не сморгнув глазом, принимает на лицо свое удары хлыста.

«Вы, сударь, вор, подлец, человек без совести, вы в Бога не веруете! Вы всю вашу жизнь только и делали, что нарушали ваш долг, обманывали и предавали всех. Для вас нет ничего святого, вы отца родного продали бы. Я осыпал вас милостями, а вы способны против меня на всякое злодейство. Вот уже десять

месяцев, как, судя вкривь и вкось и воображая, что мои дела в Испании плохо идут, вы имеете бесстыдство говорить всем, кто желает вас слушать, будто вы всегда осуждали это предприятие, тогда как сами же вы дали мне первую мысль о нем и упорно толкали меня на него… Какие же ваши замыслы? Чего вы хотите? На что надеетесь? Осмельтесь мне это сказать в глаза. Вы заслужили, чтобы я разбил вас, как этот стакан, но я слишком презираю вас, чтобы пачкать о вас руки!»

Рук не запачкал: Талейран остался цел и даже скоро «призван был к совету, в делах величайшей важности».[217] И он это знал заранее, еще тогда, когда слушал брань Наполеона, и все удары шли не мимо, а сквозь него, как сквозь тело призрака. Трудно сказать, кто в этой страшной сцене страшнее, сильнее, — в своем роде бессмертнее, — Наполеон или Талейран, сущий или несущий.

И такому духовнику такая исповедь! Можно ли этому верить? Можно. Талейран слишком умен, чтобы грубо лгать; слишком хорошо знает, что грубая ложь скоро обличается, а ему нужно, чтобы ложь не обличалась никогда, и великий человек вошел в потомство с этим неизгладимым, им же самим, на лбу своем, выжженным клеймом: «подлец». Талейран лжет тончайшею, в самом деле «сатанинскою», — почти правдою — тою, которую один волосок отделяет от правды полной. Очень вероятно, что он передает слова Наполеона со всею возможною точностью; только чуть что передвигает их смысл, меняет их тон — «музыку»: в таких контрапунктах лжи Талейран — гений.

Мог ли сказать Наполеон: «Я подл, я в корне подл»? Если и мог, то, конечно, не с тою целью, как это дает понять Талейран, — не для того, чтобы цинически хвастать своею «подлостью», выворачивая душу свою наизнанку перед таким зеркалом. В самом деле, какой же в мире подлец сам о себе говорит: «Я подл»? Какому подлецу не хватит ума сохранить вид благородства, и даже так, что чем подлее, тем благороднее?

О, конечно, нравственный суд Талейрана и ему подобных, со всей их «цивилизацией» — «навозом в шелковом мешке», Наполеон презирает. «Тайные склонности мои, в конце концов, естественные — qui viennent de la nature — от природы идущие»… Этих бы слов Талейрану, при всей гениальности лжи его, не выдумать: тут слышен голос Наполеона — рев «допотопного чудовища». Подлинны, вероятно, и эти слова: «В сущности, нет ничего на свете ни благородного, ни подлого». Надо бы только прибавить: «на вашем свете, господин Талейран». Разве это для Талейрана не абсолютная истина? Чье же лицо отразилось в ней, как в зеркале, — Наполеона или самого Талейрана?

Нет, кажется, на этот раз гений одурачивания сам остался в дураках и, кажется, даже сам предчувствовал, что так оно и будет. «Этот дьявольский человек обманывает во всем, — жалуется он своей наперснице г-же Ремюза. — Даже страсти его неуловимы, потому что он умеет и в них притворяться, хотя у него есть настоящие страсти».[218] Казалось бы, ясно, какие: честолюбие, властолюбие? Нет, Талейран знает или смутно угадывает, что предмет настоящих страстей Наполеона или, точнее, одной-единственной страсти что-то более глубокое, первичное. Что же именно, этого он не знает. Не знаем и мы, по крайней мере, не умеем назвать; можем только намекнуть: полнота бытия, — не жизнь, а то, из чего выходит и во что возвращается всякая жизнь, — бытие в высшем пределе своем; то сущее, что делает самого Наполеона, по слову Ницше, «существом реальнейшим», ens realissimum, и что менее всего доступно Талейрану — не-сущему, — вот предмет настоящей, единственной страсти Наполеона и вот почему зависть-ненависть Талейрана к нему так неутолима и беспомощна.

Но если даже этот «злой дух» его, «клеветник» по преимуществу не находит в нем того коренного зла, за которое человек достоин имени «злодея», то где же оно?

«Других унижает паденье, а меня возвышает бесконечно, — говорит Наполеон на Св. Елене. — Каждый день срывает с меня кожу тирана, убийцы, злодея».[219] Как же наросла на нем эта кожа? Не было ли в жизни его хотя бы одного совершенно злого дела — злодейства?

Кажется, он сам искренно думает, что не было. «Моя природа чужда злодейства; не было, за все мое правление, ни одного действия, за которое я не мог бы ответить на суде, не говорю без стыда, но даже с некоторой для себя честью».[220] — «Я не совершил ни одного преступления во всей моей политической жизни; я мог бы это утверждать перед лицом смерти. Если бы я был способен на преступление, меня бы не было здесь» (на Св. Елене). — «Да и на что мне оно? Я слишком для него фаталист и слишком презираю людей».[221]

А дело герцога Энгиенского? Забыл он о нем или помнит, но считает себя невинным?

Дело было так. В начале 1804 года арестованы сорок заговорщиков, имевших намерение покуситься на жизнь Первого Консула, большею частью наемники английского правительства; в том числе Жорж Кадудаль, бретонский «шуан»-роялист, и два генерала, Пишегрю и Моро, знаменитый победитель под Гогенлинденом, бывший Бонапартов соперник. Три последних года, с покушения на Никезской улице Первый Консул был в

самом деле окружен убийцами. «Воздух полон кинжалами», — остерегал его бывший министр полиции Фуше.[222] Да он и сам это чувствовал: «Что я, собака, что ли, которую всякий прохожий на улице может убить?»[223] — «Мне принадлежало естественное право самозащиты, — вспоминает он на Св. Елене, — на меня нападали со всех сторон и каждую минуту… духовые ружья, адские машины, заговоры, западни всех родов… Я, наконец, устал и воспользовался перекинуть террор обратно в Лондон… Война за войну… кровь за кровь». — «Ведь и моя кровь тоже не грязь. Мое великое правило, что в войне и в политике зло извинительно, поскольку оно необходимо; все же остальное — преступление»[224]

Предполагали — ошибочно, как потом доказано было с несомненностью, — что в заговоре участвовал и даже одно время находился в Париже герцог Энгиенский, Людовик Бурбон Кондэ, один из последних отпрысков старого королевского дома Франции. Это был болезненного вида человек лет тридцати с тихим и грустным лицом «бедного рыцаря». В маленьком городке Эттенгейме маркграфства Баденского, неподалеку от Рейна и французской границы, он жил уединенно, мало занимался политикой, охотясь и предаваясь любовным мечтам.

«Помню, как сейчас, — продолжает вспоминать Наполеон на Св. Елене, — я сидел однажды, после обеда, за чашкой кофе; вдруг входят и объявляют о новом заговоре герцога Энгиенского… Я даже хорошенько не знал, кто он такой… Но все подготовили заранее».[225] Подготовил Талейран. Он же настоял на аресте герцога, вопреки международному праву, на чужой территории.

15 марта взвод французских жандармов перешел через границу, пробрался в Эттенгейм, окружил потихоньку дом герцога, вломился в него, с саблями наголо и пистолетами в руках, арестовал герцога, усадил его в карету и увез, под конвоем, сначала в Страсбург, а оттуда в Париж, в Венсенскую крепость.

Первый Консул хотел поручить это дело генералу Мюрату, тогдашнему парижскому губернатору. Но тот отказался наотрез: «Мундир мой запачкать хотят, но этого я не позволю!»[226] Бонапарт все взял на себя, но, конечно, «ангел-хранитель» его, Талейран, стоял за ним неотступно. Министр полиции, Савари, был только слепым орудием обоих.

Для суда над герцогом назначена была военно-полевая комиссия. «Кончить все в эту ночь, — сказано было в приказе. — Приговор, если он будет, как я не могу в этом сомневаться, смертным, привести в исполнение немедленно и виновного похоронить на одном из крепостных дворов. — Бонапарт».[227]

На первом допросе обнаружилась совершенная невинность герцога. «Настоятельно прошу личного свидания с Первым Консулом, — написал он под допросным листом. — Имя мое, мой сан, образ мыслей и ужас моего положения позволяют мне надеяться, что он мне в этом не откажет».[228]

Просьба не была передана по назначению: ее задержал Талейран.

21 марта, в два часа пополуночи, герцога привели в комиссию. Второй допрос ничего не прибавил к первому. Подсудимый отвечал с достоинством; не думал скрывать, — это, впрочем, и так знали все, — что готов стать под знамена держав, воюющих с незаконным правительством Бонапарта, «потому что этого требуют сан и кровь Бурбонов, текущая в моих жилах»; но самую мысль о покушении на жизнь Первого Консула отверг с негодованием.

Только что подсудимого вывели, — судьи постановили смертный приговор, но, хорошенько не зная, по каким статьям какого закона судят его, оставили для них белое место в строке. Невинность герцога была для них так очевидна, что они решили, вместе с просьбой о свидании, послать Первому Консулу свое ходатайство о помиловании. Но не успели.[229]

В половине третьего пополуночи, — значит, суд продолжался менее получаса, — жандармы вошли в камеру герцога. Когда его вели вниз по лестнице, в крепостной ров, он спросил, куда его ведут. Никто ему не ответил. Снизу пахнуло холодом. Он схватил за руку одного из спутников и опять спросил: «В тюрьму?» Но вдруг, увидев взвод солдат с ружьями, понял. Отрезал прядь волос, снял с руки перстень и просил отослать их на память своей возлюбленной, принцессе Роган-Рошфор. Потом спросил: «Разве мне не дадут священника?» — «Капуцином хочет умереть, что ли?» — раздался с крепостного вала чей-то насмешливый голос, кажется министра Савари. Герцог опустился на колени, помолился, встал и проговорил: «Как ужасно умереть от руки французов!» Ему хотели завязать глаза, но он просил этого не делать. Раздался залп, и он упал мертвым.[230]

Накануне весь день Первый Консул просидел, запершись, у себя в кабинете. Жозефина ворвалась к нему, упала, вся в слезах, к ногам его и умоляла за герцога. Он грубо оттолкнул ее ногою и сказал: «Ступайте прочь! Вы ребенок и ничего не понимаете в политике!»

А на следующий день, в пять часов утра, лежа в постели, рядом с нею, он разбудил ее и сказал: «Сейчас герцога Энгиенского нет в живых». Она закричала, заплакала. «Ну ладно, спи!» — проговорил он сухо и опять, как намедни, прибавил: «Ты

ребенок».[231]

Что это, бесчувственность? Едва ли. За два дня до казни Шатобриан видел Первого Консула в Тюльерийском дворце, на большом выходе, с таким страшным лицом, что, вернувшись домой, сказал друзьям: «Бонапарт или болен, или с ним случилось что-то необыкновенное, чего мы не знаем».[232]

«Что ты сделал, мой друг, что ты сделал», — плакала Жозефина в самый день казни. «Да, несчастные слишком поторопились, — проговорил он задумчиво и потом прибавил: — Делать нечего, надо принять вину на себя: взвалить ее на других — подло».[233]

Граф Сегюр видел его, дня три-четыре спустя, на обедне в Тюльерийской часовне. «Я жадно смотрел на него… Мне казалось, что окровавленная жертва предстоит алтарю… Я искал в лице его угрызения или хотя бы сожаления… но ничего не изменилось в этом лице… оно было спокойно».

После обедни Первый Консул обходил ряды сановников и заговаривал с ними о деле Энгиена: видимо, хотел узнать впечатление; но единственным ответом ему была подлая лесть или угрюмое молчание. И вдруг он сам стал угрюмым, умолк и внезапно вышел.[234]

«Мы вернулись к ужасам 93-го года. Та же рука, что извлекла нас из них, в них же опять погружает, — говорил граф Сегюр, выражая в этих словах тогдашние чувства лучших людей. — Я был уничтожен. Прежде я гордился великим человеком, которому служил; он был для меня совершенный герой, а теперь…» Духу не хватает ему кончить: «теперь, вместо героя, злодей».

Скоро Бонапарт получил награду за убийство — три с половиной миллиона голосов в ответ на предложение Сената объявить его императором: перешагнул на престол через неостывший труп Энгиена.

Так совершился древний ужас Горгоны — человеческое жертвоприношение: жрец вонзил нож в сердце жертвы и «увидел солнце, — какое лучезарное!».

«Эти люди хотели убить в моем лице Революцию, — говорит император своим приближенным. — Я должен был защищать ее. Я показал, на что она способна». — «Когда все успокоится, меня уже не будут осуждать — поймут, что эта казнь есть великое политическое действие». — «Я заставил навсегда замолчать и якобинцев, и роялистов».[235]

«Знаете, государь, лучше не будем об этом говорить, а то я заплачу…» — сказала ему однажды г-жа Ремюза, когда речь зашла о герцоге. «А-а, слезы! Единственный довод женщины!» — рассмеялся он.[236]

Страшнее всего, что он как будто в самом деле не понимает, о чем идет речь; ребенок понял бы, а он, умнейший из людей, не понимает.

«Как? Эту старую историю все еще помнят? Что за ребячество», — удивляется он в 1807 году, когда узнает, что в Петербурге помнят герцога Энгиенского.[237]

Но он и сам хорошо помнит его и чем дальше, тем лучше. Сколько крови на войне пролил и забыл, а эту помнит.

Нельзя сказать, чтобы он никогда в злых делах своих не каялся или, по крайней мере, не сознавался в них. «Я очень плохо принялся за это дело, — говорит он о захвате испанского престола, причине той бесконечной войны, в которой увяз, как в болоте, так что уже никогда не мог из нее выбраться. — Слишком очевидной оказалась безнравственность, несправедливость слишком циничной, и все это имеет вид прескверный, потому что я потерпел неудачу; покушение, благодаря этому, представилось во всей своей безобразной наготе… Язва эта меня изъела». И еще, по другому поводу: «Нельзя возлечь на ложе царей, не заразившись от них безумьем; обезумел и я».[238]

В злых делах своих кается, а в этом, злейшем, нераскаян; так, по крайней мере, кажется ему самому и другим.

На Св. Елене Лас Каз не смеет заговорить о герцоге Энгиенском и краснеет, когда Наполеон сам заговаривает спокойно, с «неотразимой и увлекательной логикой». «Когда он кончил, я был изумлен, ошеломлен… Я уверен, что он сейчас простил бы его». Так в беседах наедине, а при посторонних свидетелях «вдруг все изменялось: он говорил, что дело это оставило в нем сожаление, но не угрызение, ни даже тени сомнения (scrupule)».[239] А все-таки, в мыслях его, что-то двоится. «Этот мерзавец Талейран передал мне письмо герцога только через два дня после его смерти».[240] А если бы раньше, — «я, конечно, простил бы его», говорит однажды; а в другой раз, «как бы обращаясь к потомству»: «Если бы это надо было снова сделать, я сделал бы снова».[241] Видимо, сам хорошенько не знает, что сделал бы — казнил или простил.

За три дня до смерти, уже в наступающих муках агонии, потребовал запечатанный конверт с завещанием, вскрыл его, прибавил что-то потихоньку от всех, опять запечатал и отдал. Вот что прибавил: «Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что это было необходимо для безопасности, блага и чести французского народа, в то время когда граф д'Артуа, по его собственному признанию, содержал шестьдесят убийц в Париже. В подобных обстоятельствах я снова поступил бы так же».[242] Не значит ли это: «Перед лицом смерти, лицом Божьим, я невинен»?

Да, значит, — но и еще что-то, совсем другое.

«Вопреки ему самому, я верю в его угрызения: они преследовали его до гроба. Терзающее воспоминание внушило ему прибавить эти слова в завещании», — говорит канцлер Паскье, хорошо знавший Наполеона и близкий свидетель этого дела.[243] Кажется, так оно и есть: эта мука терзала его всю жизнь, с нею он и умер, — угрызение без раскаяния.

Проще и лучше всех говорит об этом лорд Голланд, истинный друг Наполеона: «Надо признать, что он виновен в этом преступлении; оправдать его нельзя ничем: оно останется на памяти его вечным пятном».[244] Но, если бы спросили: «Наполеон совершил злодейство; значит, он злодей?» — лорд Голланд ответил бы, как отвечает вся его книга о Наполеоне: «Нет, хороший человек».

Может ли хороший человек совершать «злодейства»? Прежде чем ответить, пусть каждый из нас вспомнит, нет ли и в его жизни «Энгиена»? Может быть, не худшие, а лучшие из нас ответят: «Есть». Да, у каждого из нас — свой Энгиен — чумное пятно, которым проступает на всякой душе человеческой то, что христиане называют «первородным грехом»: у маленьких — маленькое, у средних — среднее, а у больших — большое. Было оно и у кроткого царя Давида: Урия Хеттеянина кровь. Между Давидом и Наполеоном разница, конечно, большая: тот покаялся, а этот каяться не захотел, или не мог, или сам не знал, что кается.

«Все меня любили и все ненавидели». Но никто никогда не жалел, а может быть, в этом-то он больше всего и нуждался, потому что, как это ни странно сказать, он был, при всем своем величии, жалок. Чтобы это понять, стоит только вспомнить: самый последний из людей может молиться, а он не мог.

А все-таки — «хороший человек». Это знает бедный Тоби, садовник на Св. Елене, старый малайский раб. Очень хотелось Наполеону выкупить его из рабства. Но губернатор острова, Гудсон Лоу, не позволил. Наполеон жалел беднягу Тоби, может быть, потому, что чудилось ему в судьбе их что-то общее: оба они были жертвы европейской «цивилизации». Тоби родился свободным, диким, а европейцы «просветили» его, обманули, увезли с родины и продали в рабство. Полюбил и Тоби Наполеона: не называл его иначе как «добрый господин», good gentleman, или еще лучше: «добрый человек», good man.[245]

Это знают и чумные в Яффе. 11 марта 1799 года, во время Сирийской кампании, молодой генерал Бонапарт, чтобы устыдить перетрусивших врачей и успокоить солдат, — доказать им, что чума не так страшна, как думают, посетил больницу чумных, долго ходил между ними, утешал их, брал за руку и одного помог

перенести.[246]

Знают это и те раненые, которым, при отступлении от Акры, в страшной Сирийской пустыне, где люди издыхают от зноя, генерал Бонапарт велит отдать всех лошадей, мулов и верблюдов, и свою лошадь тоже; а когда конюх его, не поверив этому, спрашивает, какую лошадь ему оседлать, он бьет его хлыстом по лицу и кричит: «Все пешком, все, черт побери, и я первый».

Знают это и те французские крестьяне, которые, на его последнем пути из Ниора в Рошфор — на Св. Елену, — бегут за ним и кричат сквозь слезы: «Виват император! Останьтесь, останьтесь с нами». Был сенокос, и высокие стога напоминали им большие дренажные работы, исполненные, по приказанию Наполеона, в 1807 году и превратившие всю эту болотистую, некогда бесплодную и лихорадочную местность в цветущий луг. «Видите, как народ благодарен мне за добро, которое я ему сделал!» — говорит он спутникам.[247] Да, все пройдет, забудется, а это останется — осушенное болото — «устроенный хаос».

Знают это и те тысячи людей, которые умирают за него на полях сражений с восторженным криком: «Виват император!» Знают или чувствуют, что он хочет добра, потому что, воистину, главная воля его — всемирное соединение людей — добро величайшее.

«Наполеон весь жил в идее, но не мог уловить ее своим сознанием, — опять, как уже столько раз, вспоминаются мудрые слова Гете. — Он отвергает вообще все идеальное и отрицает его действительность, а между тем усердно старается его осуществить». Это и значит: мысли и слова его могут быть злыми, но воля — добрая. Он лучше, чем сам о себе говорит и думает: зло снаружи, добро внутри.

Вот почему не надо слишком верить этому неподвижному, неумолимому, как из бронзы или мрамора изваянному, лицу. «Я мог бы узнать о смерти жены, сына, всех моих близких, не изменяясь в лице; оно казалось бы равнодушным и бесчувственным, но, когда я остаюсь один, я снова человек, и страдаю».[248] Стыдливость страдания, стыдливость добра, — они почти всегда связаны, — свойственны ему в высшей степени. «Во мне два человека: один — головы, другой — сердца».[249] «Не думайте, что сердце у меня менее чувствительно, чем у других людей; я даже добр, но, с самого раннего детства, я подавлял в себе эту сторону души, и теперь она во мне заглохла».[250] Может быть, не сам подавлял, а жизнь: в черной работе ее, душу, себе намозолил, как руки, и жестокой сделалась она, но не заглохла.

«Первым делом его после всякого сражения была забота о раненых, — вспоминает барон Фейн. — Сам обходил поле,

приказывал подбирать своих и чужих одинаково; сам наблюдал, чтобы делались перевязки тем, кому они еще не были сделаны, и чтобы все, до последнего, перенесены были на амбулаторные пункты или в ближайшие госпитали». — «Некоторых поручал особо своему лейб-хирургу Иван (Ivan) и потом заботливо расспрашивал его о малейших подробностях в ходе лечения, о свойствах раны, о надежде на выздоровление и об опасности, — обо всем хотел знать. Благодаря этим сведениям, много делал добра потихоньку, — один Бог знает сколько». — «Походный кошелек его был точно с дырою: так щедро сыпалась из него милостыня».[251]

На поле Бородинского сражения лошадь Наполеона задела копытом раненого, и тот зашевелился, простонал. Император, в гневе, закричал на штабных, начал их бранить последними словами за то, что они не заботятся о раненых. «Да ведь это русский, Ваше Величество», — заметил кто-то, чтобы успокоить его. «Что из того? — воскликнул он в еще большем гневе. — Разве вы, сударь, не знаете, что после победы нет врагов — все люди!»[252]

Обходя поле Линьийского сражения, за двое суток до Ватерлоо, он увидел прусского офицера, тяжелораненого, и подозвал бельгийского крестьянина. «Веришь в ад?» — «Верю». — «Позаботься же об этом раненом, если не хочешь попасть в ад; я тебе его поручаю. Иначе будешь гореть в аду. Бог хочет, чтоб мы были милосердными».[253] Это не молитва, но стоит, пожалуй, многих молитв.

Вспомнил однажды на Св. Елене, как, лет двадцать назад, в первую Итальянскую кампанию, после какого-то большого дела, — какого именно, уже забыл, — обходя с несколькими спутниками, в тихую, лунную ночь, поле сражения, с которого еще не успели подобрать убитых, вдруг увидел собаку, вывшую над трупом своего господина; когда они подошли, она бросилась к ним; потом опять отбежала к трупу и начала лизать его лицо; и опять к ним; и так много раз, все воя, «как будто призывая на помощь или требуя мщения». — «Никогда ничто ни на одном поле битвы не производило на меня такого впечатления»… «Этот человек, — подумал я, — всеми покинут, кроме собаки. Какой урок дает людям природа в лице этого животного. В самом деле, что такое человек и какая тайна в чувствах его? Я, командовавший в стольких сражениях и спокойно смотревший на гибель стольких людей, был потрясен этим жалобным воем собаки».[254]

Воет и сам, как собака, как Ахиллес над Патроклом, — над маршалом Данном, храбрым из храбрых, когда под Эсслингом

раздробило ему обе ноги ядром. И ночью, один, в императорской ставке, когда ему подали ужин, ест через силу и плачет, и слезы капают в суп.[255]

«Страшное зрелище! — повторяет, обходя Эйлауское поле. — Вот что должно бы внушить государям любовь к миру и омерзение к войне».[256] Лжет, говорит слова для потомства? Это легко решить — и ошибиться легко.

Но вот уже не слова, а дело. В 1815 году, перед вторым отречением, знал, что стоит ему только сказать слово, подать знак, чтобы вспыхнула гражданская война и если не Франция, то, может быть, он спасся бы. Но не захотел, сказал: «Жизнь человека не стоит такой цены», — и подписал отречение.[257]

Если на одну чашу весов положить это, а на другую — те страшные слова: «Я плюю на жизнь миллиона людей», то какая чаша перевесит?

Страшные слова вообще любил говорить — на свою же голову: жадно слушают их два паука, Талейран и Меттерних, как жужжание мухи, попавшейся к ним в сеть; слушает и умный Тэн, и добрый Толстой, и сорок тысяч судей: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!»

«Пусть он действительно говорил: „Когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтобы она пронеслась, и горе тому, кто попадает под ее колеса!“ — это только слова для сцены, — замечает барон Фейн, — я слышу великого актера, но лучше узнаю Наполеона, когда он говорит: „Пусть ночь пройдет по вчерашней обиде“. Или еще: „Нельзя сказать, чтобы люди были в корне неблагородны“. А ведь это на Св. Елене сказано!»[258]

«Он кричал, но не ударял— вспоминает де-Прадт. — Я сам слышал, как он сказал однажды, после сильнейшей вспышки гнева, на одного из своих приближенных: „Несчастный, он заставляет меня говорить то, чего я не думаю и не подумал бы сказать“. Через четверть часа он снова призывал тех, кого удалил, и возвращался к тем, кого обидел: я это знаю по опыту».[259]

«Я только вот до этого места сержусь», — говорил Наполеон де-Прадту, проводя ладонью по шее.[260] «Знайте, что человек, истинный человек, не способен к ненависти, — говорил он Лас Казу. — Гнев и досада его не идут дальше первой минуты… это только электрическая искра… человек, созданный для государственных дел, для власти, не смотрит на лица; он видит только вещи, их вес и последствия». — «Кажется, он мог бы сделаться союзником злейших врагов своих и жить с человеком, который причинил ему величайшее зло», — удивляется Лас Каз.

Сам Наполеон думает, что он так легко прощает людей только из презрения, но, может быть, и не только.

«Вы не знаете людей, — говорит он союзникам своим на Св. Елене, когда те негодуют на его бесчисленных предателей. — Знать, судить людей трудно. Знают ли они сами себя? И потом, я был больше покинут, чем предан; слабости вокруг меня было больше, чем измены: это — отречение Петра; раскаяние и слезы могут быть близки к нему». И он заключает едва ли не самым добрым и мудрым из своих слов: «Большая часть людей не дурна».[261]

В нашей «христианской» цивилизации нет слова для того, что древние называют: virtus. Это не наша «добродетель», а скорее доблесть, мужество и, вместе с тем, доброта, как высшая сила и твердость духа. Именно такая доброта у Наполеона. На этом «святом камне» — Pietra-Santa, как называлась одна из его корсиканских прабабушек, — зиждется он весь.

Благодарность — неугасимая память добра, непоколебимая верность добру — есть добродетель мужественная по преимуществу: вот почему она так сильна в Наполеоне.

«Я презираю неблагодарность, как самый гнусный порок сердца», — говорит он из глубины сердца. Благодарность — доброта затаенная — теплота глубоких вод. Вот почему он скрывает ее целомудренно: «Я не добр; нет, я не добр, я никогда не был добрым, но я надежен».[262]

Завещание Наполеона — один из прекраснейших памятников этой человеческой «надежности».

Всех, кто сделал ему в жизни добро, вспоминает он; воскрешает, в памяти своей, давно умерших; сам умирающий, благодарит их в детях и внуках и все боится, как бы не забыть кого-нибудь. За десять дней до смерти, уже в страшных муках конца, пишет собственноручно четвертое прибавление к завещанию, «потому что в прежних статьях мы не исполнили всех обязательств». Следуют тринадцать новых статей. «Сыну или внуку генерала Дюгамье, бывшего главнокомандующего Тулонской армией — сто тысяч франков — знак памяти о том уважении, привязанности и дружбе, которые оказывал нам этот доблестный и бестрепетный генерал. — Сто тысяч франков — сыну или внуку Распарена, члена Конвента, за то, что он одобрил наш план Тулонской осады. — Сто тысяч франков — вдове, сыну или внуку нашего адъютанта Мьюрона, который был убит рядом с нами, под Арколем, покрывая нас телом своим».

А в одной из первых статей — сто тысяч франков главному полевому хирургу, Ларрею, потому что «это самый добродетельный человек, какого я знал».[263] Добрый знает доброго.

Что старую кормилицу свою, Камиллу Илари, жену бедного

корсиканского лодочника, он благодетельствует всю жизнь — неудивительно; удивительнее то, что выплачивает из собственной шкатулки тайную пенсию кормилице короля Людовика XVI и двум бедным старушкам, сестрам Максимилиана Робеспьера.[264] Так просто и чудно примирил он в сердце своем палача с жертвою.

Сердце человеческое в малом чаще застигается врасплох и познается больше, чем в большом; хуже иногда виден герой сквозь триумфальные ворота, чем сквозь замочную скважину.

«Я могу говорить о нем только полуодетом, и, в этом виде, он почти всегда был добр», — вспоминает камердинер Наполеона Констан.[265]

Как-то раз, в одной из зарейнских кампаний, после нескольких бессонных ночей, Констан глубоко заснул в императорской ставке, в креслах государя, за письменным столом его, с бумагами и военными картами, положив руки на стол и опустив на них голову. Вдруг вошел Наполеон с маршалом Бертье и мамелюком Рустаном.

Эти двое хотели разбудить спящего, но император не позволил им и, так как другого стула в комнате не было, присел на край своей походной койки, продолжая разговор с Бертье о завтрашней диспозиции. Понадобилась карта. Наполеон подошел к столу и начал вытаскивать ее из-под локтя Констана, потихоньку, так, чтобы его не разбудить. Но тот проснулся, вскочил и залепетал извинения.

«Господин Констан, я очень жалею, что вас разбудил. Простите меня», — сказал Наполеон с доброй улыбкой.[266]

Многие солдатские грубости его — розовое платье Жозефины, нарочно облитое чернилами за то, что оно ему не понравилось, и даже знаменитый, хотя не очень достоверный, удар коленом в живот философу Вольнею за глупое кощунство — все это можно простить Наполеону за эту царственную вежливость.

Свитский паж, молоденький мальчик, скакал однажды верхом, рядом с дверцей императорской кареты, в сильный дождь. Выходя из кареты, Наполеон увидел, что мальчик промок до костей, велел ему остаться на ночлег и много раз потом спрашивал, не простудился ли он. Паж написал об этом матери, и та, читая письмо его, может быть, узнала кое-что о Наполеоне, чего не знают сорок тысяч судей.[267]

Доктору О'Меаре, на Св. Елене, сделалось дурно, и он упал без чувств к ногам Наполеона, а очнувшись, увидел, что император, стоя на коленях, нагнулся к нему, заглядывает в лицо его и мочит ему виски одеколоном. «Никогда не забуду той

нежной тревоги, которую я увидел в глазах его», — вспоминает О'Меара.[268]

Самое доброе в людях — самое простое, детское. «Злые редко любят детей, а Наполеон их любил», — вспоминает Бурьенн.[269]

Сидя на полу, Первый Консул играет с маленьким Наполеоном, племянником своим, сам как маленький, и в эту минуту лицо у него настоящее, а через минуту, выходя к английскому посланнику, лорду Витворту, чтобы накричать на него, напугать разрывом дипломатических сношений, он надевает страшную маску.[270]

«Я провел эти два дня у маршала Бессьера; мы играли с ним, как пятнадцатилетние мальчики», — пишет он в 1806 году, между Аустерлицем и Иеною.

Четырнадцатилетняя девочка, Бетси Балькомб, хозяйская дочка в Бриарской усадьбе на Св. Елене, где Наполеон провел первые месяцы своего заточения, наслушавшись о нем с детства, как о людоеде-чудовище, особенно лакомом до маленьких девочек, очень боялась встретиться с ним; но встретившись, привыкла к нему через несколько дней так, что играла, шалила с ним, как с ровесником. И через много лет, уже старухой, не могла иначе вспомнить о нем, как о маленьком мальчике, товарище своих детских игр.[271]

Генерал Гурго, один из его добровольных союзников, там же, на Св. Елене, задумал покинуть императора, но сказать ему об этом стыдился. Однажды, гуляя по саду, Наполеон увидел на дороге булавку, поднял ее и подал Гурго с детской улыбкой: «Вот, Горго, Горгончик, булавочка, — я вам ее дарю!» Подарить острый предмет — значит поссориться. Но этого и хочет Гурго. «Что делаешь, делай скорей», — как будто говорит ему Наполеон.[272] Грусть, упрек, ласка, насмешка, прощение — тут все вместе, и все детское. Но ничего этого не понял Гурго, как ничего не понимают в Наполеоновой детскости безнадежно взрослый Тэн и безнадежно тоскующий о детстве Толстой.

«Если не обратитесь и не станете, как дети…» — это значит: детское — Божье. Вот почему в герое, человеке — Бог и дитя вместе.

Таково зло и добро в Наполеоне. Что же он сам — злой или добрый? Сказать: совсем «святой», так же грубо-неверно, как сказать: «злодей». Зло и добро в нем борются. Но и в этой борьбе, как во многом другом, он существо не нашей породы, тварь иного творения — «человек из Атлантиды». Сердце его — чаша смешения: капля какой-то жертвенной крови, еще не голгофской, упала в какую-то амброзию, еще не олимпийскую, и закипело смешение, брожение неистовое, — то, что мы называем

«Наполеоновым гением». Но, чтобы сказать о нем просто; «злодей», надо быть нами — детьми самого безбожного из всех веков.

Хула на героя, Человека, — хула на человечество. Вот уже сто лет как мы хулим Наполеона. Не пора ли наконец сказать: самый оклеветанный из всех героев — он.

Мертвое лицо его — одно из прекраснейших человеческих лиц.[273] Ясное и чистое, как небо. Видно по этому лицу, что если не в жизни, то в смерти он победил зло добром, исполнил «меру человеческую, какова мера и Ангела». Спящий полубог и ангел вместе; павший с неба на землю, херувим силы и света. А мы его не узнали и вот что сделали с ним!

РАБОТНИК

Соединение противоположностей — так можно определить гений Наполеона; так он и сам определяет его.

«Редко и трудно соединение всех качеств, нужных для великого генерала. Самое желательное, что сразу выдвигает человека на первое место, это — равновесие ума или таланта с характером или мужеством». Это значит, по выражению Наполеона: «быть квадратным в высоте, как в основании».[274] Основание квадрата — мужество, воля, а вышина его — ум. «У Бонапарта ум в равновесии с волей. La partie intellectuelle balance la volunté», по глубокому слову аббата Сийэса.[275] Это равновесие ума и воли есть «квадрат гения».

Все мы, люди современной европейской цивилизации, более или менее страдаем болезнью Гамлета — отрывом ума от воли, созерцания от действия; Наполеон, один — среди больных, здоровый. В нас во всех две души, дневная и ночная, расторгнуты; в нем одном соединены. Все мы вкусили только от древа познания, — и умираем; он один вкусил от древа познания и жизни — и живет. Все мы умножаем наш ум насчет нашей воли; он один соединяет бесконечный ум с бесконечной волей. Все мы — четырехугольники широкие, низкие в воле, или высокие, узкие в уме; он один — совершенный квадрат.

Как все существо его соединяет эти два противоположные начала, так и каждое из них в отдельности — воля и ум — соединяет в себе противоположные качества.

Память и воображение, вот первая в нем черта противоположностей умственных; обращенная к будущему, динамика воображения, и обращенная к прошлому, статистика памяти.

«Память у меня изумительная. В молодости я знал логарифмы больше чем тридцати — сорока чисел; знал не только имена всех офицеров во всех полках Франции, но и места, где набирались эти части, и где каждая из них отличилась, и даже какого политического духа каждая».[276]

Проверяя, впоследствии, уже императором, военные отчеты (etats de situations) о сотнях тысяч людей, от Данцига до Гибралтара, он тотчас находил малейшие неточности: «Почему на острове Влахерне пятнадцать человек жандармов сидят без оружия?» — «Почему не упомянуты два четырехдюймовых орудия, находящихся в Остенде?»[277] В 1813-м, вспоминает, что, три года назад, отправил в Испанию два эскадрона 20-го конно-егерского полка. Помнит все военные отчеты почти наизусть, так

что мог бы заблудившемуся в пути рядовому указать, по номеру его полка, местонахождение корпуса.[278]

Но память для него — только неисчерпаемая каменоломня, где воображение добывает камень для своего исполинского зодчества.

«Император — весь воображение», — замечает де-Прадт.[279] Можно бы сказать: «и весь память», так же как вообще весь — то умственное качество, какое в данную минуту нужно ему, и иногда противоположное тому, которым, в минуту предшествующую, он тоже был весь. Ум его — многовидный Прометей, во все из всего оборачивающийся оборотень.

«Необычайное воображение одушевляло этого холодного политика, — говорит Шатобриан. — Разум его осуществлял идеи поэта. Он, конечно, не сделал бы того, что сделал, если бы при нем не было Музы».[280]

«Я иногда верю, что возможно все, что этому странному человеку взбредет в голову, а при его воображении как знать, что в нее взбредет», — пророчески угадывает Жозефина при первом знакомстве с ним.[281]

Воображение делает его таким же великим поэтом в действии, как Эсхил, Данте и Гете — в созерцании; музыкантом всемирно-исторической симфонии, новым Орфеем, чья песнь повелевает камням строиться в стены Града.

«Я люблю власть, как художник… как скрипач любит скрипку… Я люблю власть, чтобы извлекать из нее звуки, созвучья, гармонии».[282] И из всех гармоний величайшую — всемирное соединение людей.

Знание как творческое действие и знание как чистое созерцание — вот вторая, в уме его, черта противоположностей. Находить Архимедову точку опоры, волевую, действенную, как рычага знания, умеет он, как никто. И вместе с тем радость чистого созерцания так понятна ему, что он иногда сомневается, не был ли рожден великим ученым и не изменил ли своей настоящей судьбе, покинув созерцание для действия.

«Вот для меня новый случай пожалеть, что, увлеченный силой обстоятельств, я пошел по иному, столь далекому от науки, пути», — пишет он Лапласу, принимая от него посвящение «Небесной Механики» и восхищаясь ее «совершенною ясностью». И в наступающих ужасах 12-го года, из Витебска, благодарит его за присылку «Теории вероятностей» — «одного из тех сочинений, которые усовершенствуют математику, эту первую из наук».[283]

Тайную музыку чисел он чувствует так же, как Пифагор. В трудные минуты жизни читает для успокоения таблицы логарифмов, как молитвенник.[284]

Возвращаясь из Египетской кампании во Францию, на фрегате «Мьюрон», когда спутники его, в смертельной тревоге, ожидают, с минуты на минуту, появления английской эскадры, которая давно уже гонится за ними, генерал Бонапарт спокойно беседует с членами Института Бертоллэ и Монжем о химии, физике и математике.[285]

В 1815-м, после второго отречения в Мальмезоне, император говорит Монжу: «Праздность для меня жесточайшая мука. Без империи, без армии, я вижу теперь для души одну пищу — знание… Я хочу начать новую жизнь, чтобы оставить потомству достойные меня научные труды и открытия… Мы с вами изъездим весь Новый Свет, от Канады до мыса Горна, и, в этом огромном путешествии, исследуем все великие физические явления земного шара». Никогда еще, казалось Монжу, Наполеон не был так велик. Но слышатся далекие гулы орудий, и он снова бежит к своим военным картам и накалывает на них булавки; снова мечтает о войне — действии.[286] Так и не узнает до конца, что ему ближе — созерцание или действие.

Целыми часами, в одной из покинутых комнат лонгвудского дома на Св. Елене, забывая все свои беды и муки, наблюдает жизнь муравьев; восхищается их умом и упорством в отыскивании спрятанного сахара: «Это ум, это больше, чем инстинкт, это настоящий ум… образец государственной мудрости. О, если бы такое единодушие людям!»[287] В этой муравьиной мудрости, как в том жалобном вое собаки над трупом своего господина, он чувствует, что тварь может быть ближе человека к Творцу.

Целыми днями, уже больной, почти умирающий, наблюдает жизнь рыб в лонгвудском садке, — особенно их любовные игры и войны; а когда от какой-то неизвестной причины, повальной болезни или отравы, начинают они засыпать, не шутя огорчается, видит в этом дурную примету: «значит, и я умру».[288]

Раньше, когда еще был здоров, подолгу рассматривал географический атлас Лас Каза с планисферою, беседовал о новых геологических гипотезах, о неизвестных причинах циклонов и ураганов, о постоянных воздушных и водяных течениях — этих могучих дыханиях Земли, не мертвой для него глыбы материи, а живого тела — великого Животного, Zôon, так же как для древних ионийских философов.[289] Да, после древних, может быть, только в Гете и Винчи чувствуется такая же, как в Наполеоне, близость человеческого сердца к сердцу Матери-Земли.

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье

И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.[290]

Синтез и анализ — вот третья в нем черта умственных противоположностей. Синтез величайший, величайшая гармония Орфеевой скрипки — власти — есть всемирное соединение людей. Широта этого синтеза соответствует глубине анализа.

«Я всегда любил анализ, и если бы по-настоящему влюбился, то разложил бы и любовь мою по частям. „Зачем“ и „почему“ — такие полезные вопросы, что чем их больше задаешь себе, тем лучше».[291] «Геометричность ума всегда побуждала его разлагать все — даже чувства свои, — вспоминает г-жа Ремюза. — Бонапарт — человек больше всего размышлений над причинами человеческих действий. Вечно напряженный в малейших действиях своей собственной жизни, постоянно открывая тайную причину всех своих душевных движений, он никогда не мог ни объяснить, ни понять ту естественную беспечность, которая заставляет нас действовать иногда без всякой цели и умысла».[292] Последнее, впрочем, неверно: мотыльковая беспечность светских дам, вроде самой г-жи Ремюза, Наполеону, разумеется, чужда; но это не значит, что ему также чужда непроизвольность, неумышленность «ночного сознания», интуиции.

Мера и безмерность — такова четвертая, в уме его, черта противоположностей.

Солнечный гений всего средиземного племени, от Пифагора до Паскаля, — геометрическая ясность, точность, простота, Аполлонова мера — есть и гений Наполеона. Стиль его напоминает стиль Паскаля, замечает Сэнт-Бев; надо бы прибавить: и стиль Пифагора: «точно острием циркуля вырезанные слова».[293]

Как бы числовым строем устрояет он и хаос революции, геометрической мерой умеряет его. «Я ввел всюду одинаковую простоту, ибо все, что добро, все, что красота, есть плод простого и единого замысла».[294] Эта простота — красота совершенная — как бы солнечный божеский круг, вписанный в человеческий «квадрат» гения.

И рядом с Аполлоновой мерой — безмерность Дионисова. Великое — прекрасное борется в нем с безмерным — чудовищным. «Границы человеческие были в нем превзойдены, — говорит Сегюр о кампании 12-го года. — Гений его, желая подняться над временем и пространством, как бы изнемогает в

пустоте. Сколь ни велика была мера его, он ее нарушил».[295]

Это безмерное, напоминающее зодчество атлантов, титаническое в замыслах его так пугает бедного Декрэ: «Император сошел с ума, окончательно сошел с ума! Вот помяните слово мое: он когда-нибудь отправит нас всех к черту, и все это кончится ужасной катастрофой».[296] Или, как сам Наполеон говорит: «Невозможность есть только пугало робких, убежище трусов».[297] Тут уже в самом деле безмерное похоже на безумное; тут геометрия трех измерений — только путь к четвертому; квадрат человеческого гения становится основанием божественной пирамиды, заостряющейся в одно острие, в одну точку: «я — Бог».

Впрочем, и эту титаническую безмерность он в конце концов побеждает божественной мерой, но уже в ином порядке, — в жертве.

И в воле его, как в уме, — то же соединение противоположностей, тот же квадрат гения.

Мир и война. Работник и Вождь — таковы два «противных — согласных» лица этой воли. На войне — внезапные, как молния, разряды ее, а в мире — медленное усилье — капля, точащая камень.

Трудно решить, какое из двух слов лучше выражает волю его, — это, военное: «Надо ставить на карту все за все»,[298] или то, рабочее: «Рад бы отдохнуть, да запрягли вола, — паши!»[299] Трудно решить, где он больше герой — в величье побед или в смирении труда; в огне сражений, когда летит подобно орлам своих знамен, или в затишье работы, когда влачится, как медленный вол.

«Работа — моя стихия; я создан для нее. Меру моих ног, меру моих глаз я знаю; но меры моей работы я никогда не мог узнать».[300] — «Я всегда работаю: за обедом, в театре; просыпаюсь ночью, чтобы работать. Я сегодня встал в два часа ночи, сел на диван у камина, чтобы просмотреть военные отчеты, поданные мне накануне вечером; нашел в них двадцать ошибок и поутру отослал о них замечания министру; тот сейчас исправляет их в своей канцелярии».[301]

Трижды в месяц подаются ему отчеты министерства финансов, целые книги в восьмую долю листа, наполненные столбцами цифр, и он проверяет их так тщательно, что находит ошибки в несколько сантимов. Каждые две-три недели просматривает отчеты военного министерства, составленные тоже в виде книжек: номерные, послужные, дивизионные, корпусные, артиллерийские, пехотные, инженерные, рекрутские, иностранных армий и проч., и проч.[302] Он читает их жадно: «В

чтении военного отчета я нахожу больше удовольствия, чем молодая девушка — в чтении романа».[303] Иногда восхищается: «Этот отчет так хорошо составлен, что читается, как прекрасная поэма!»[304]

И все это складывается в уме его правильно, по отделениям, как мед в сотовых ячейках, или прозаичнее, — он любит прозу, — как «дела в ящиках конторского шкафа». — «Если я хочу кончить одно дело, я закрываю тот ящик, где оно лежит, и открываю другой, так что дела никогда не смешиваются, не затрудняют и не утомляют меня. А когда я хочу спать, я закрываю все ящики, и тотчас засыпаю».[305]

Люди слабы, потому что рассеянны; гений есть внимание, а внимание — воля ума. Наполеон обладает этою умственной волей в высшей степени. «Сила и постоянство внимания — вот что отличает ум Бонапарта, — замечает член Государственного Совета Редерер. — Он может заниматься по восемнадцати часов одной и той же работой или различными, и при этом я никогда не видел, чтобы ум его ослабевал или утрачивал гибкость даже в телесной усталости, в самом крайнем напряжении физических сил, даже в гневе; я никогда не видел, чтобы одно дело отвлекало его от другого. Не было человека более поглощенного тем, что он делал сейчас».[306] — «Изумительна гибкость ума его, которая позволяет ему переносить мгновенно все свои способности, все свои душевные силы и сосредоточивать их на том, что в данную минуту требует внимания, все равно, мошка это или слон, отдельный человек или целая армия. Пока он чем-нибудь занят, все остальное для него не существует: это своего рода охота, от которой ничто не может его отвлечь».[307]

Люди устают, но не боги и не вечные силы природы; так же неутомим и он.

«Сотрудники его изнемогают и падают под бременем, которое он взваливает на них и которое сам несет, не чувствуя тяжести».[308] — «Будучи Консулом, он иногда председательствовал на частных собраниях секций министерства внутренних дел, от десяти часов вечера до пяти утра». — «Нередко в Сэн-Клу он задерживал членов Государственного Совета от десяти часов утра до пяти вечера, с перерывом в четверть часа, и, в конце заседания, казался не более усталым, чем в начале».[309] — «Я мог рассуждать о каком-нибудь деле в течение восьми часов и затем перейти к другому, с такою же свежестью ума, как вначале. Еще теперь (на Св. Елене) я мог бы диктовать двенадцать часов подряд».[310] — «Он работает по пятнадцати часов, без еды, без отдыха».[311]

«Однажды, во время консульства, в одном административном

совещании, военный министр заснул; несколько других членов едва держались на стульях. „Ну-ка, просыпайтесь, просыпайтесь, граждане! — воскликнул Бонапарт. — Только два часа ночи. Надо зарабатывать жалованье, которое нам платит французский народ“».[312]

За семьдесят два дня последней Французской кампании люди не понимали, когда он находил время спать и есть.

После страшного Лейпцигского разгрома, 2 ноября 1813-го, выезжает из Майнца, а на следующий день, 3-го, поздно вечером, выходит из кареты на Тюльерийском дворе: от Майнца до Парижа проскакал, нигде не останавливаясь. «Когда он вышел из кареты, ноги у него так затекли, что он едва стоял на них, и лица на нем не было от усталости. Но, наскоро обняв жену и сына, проводит весь остаток ночи с министрами, выслушивая их доклады, диктуя и отдавая распоряжения. Отпускает их в шесть утра, приказав министру финансов возвратиться в полдень: „Захватите, Годэн, отчеты по казначейству, нам нужно над ними поработать вместе как следует“. В эти дни секретарь Наполеона, барон Фейн, говорил графу Лавалетту: „Император ложится в одиннадцать вечера, встает в три часа утра и работает до ночи, не отдыхая ни минуты. Надо, чтобы это кончилось, иначе он себя доконает, и меня с собою“».[313]

«За три года (консульства) он больше управлял, чем короли за сто лет», — говорит Редерер.[314] «Безмерно то, что я сделал, а то, что я замышлял сделать, еще безмернее», — говорит он сам.[315]

И эта иступленная, невообразимая, нечеловеческая работа длится, без перерыва, без отдыха, тридцать лет.

«На таких людях не тело, а бронза», — говорит о Наполеоне Раскольников. Нет, тело, и очень слабое, может быть, даже слабее, чем у обыкновенных людей.

У Первого Консула такой болезненный вид, что «кажется, он не проживет недели».[316] И потом, с годами, когда он уже окреп, — простужается от всякого сквозняка; при малейшем свете не может спать; от лишнего куска делается у него рвота; не выносит ни запаха свежей краски, ни тесной обуви; легко, по-женски, плачет и чувствует себя дурно. Вообще, обнаженные нервы. «Нервы у меня в таком состоянии, что, если бы не постоянно медленное кровообращение, я мог бы сойти с ума».[317]

Но силою духа он побеждает слабость тела. «С телом моим я всегда делал все, что хотел».[318] Есть тело «душевное» и тело «духовное», по апостолу Павлу, «психическое» и «пневматическое». Наполеон — один из величайших «пневматиков», хотя, разумеется, не в нашем, христианском,

смысле. Как бы воочию проступает в нем тело духовное сквозь душевное. Кажется, именно здесь начало Наполеоновой «магии».

В мрачных покоях Тюльерийского дворца он живет, как суровый монах. Прирожденный постник, трезвенник. Мало ест: «как мало ни ешь, — все много».[319] Пьет только воду с красным вином. Спешит есть: восемь минут на завтрак, пятнадцать — на обед; иногда забывает, что не обедал. Женщин ласкает с такою же поспешностью. «Впрочем, только пять-шесть дней в году женщины имеют над ним какую-нибудь власть, да и то…» — замечает с грустью Жозефина. Кажется, единственная роскошь его — нюхательный табак, лакрица с анисом для освежения рта, одеколон да паровые ванны.

Бессребреник: богатейший из государей в Европе, сам для себя никогда ничего не имел; даже Мальмезон куплен на имя Жозефины. «У каждого свой вкус, — говаривал, — у меня был вкус к постройкам, но не собственности».[320] Выехал из Франции почти ни с чем, так что на Св. Елене вынужден продавать серебряную посуду и похоронен на счет англичан, своих тюремщиков.

Тело — недвижность, дух — движение. Он весь — дух, и весь движение, как бы заключенная в человеческом теле молния.

«Можно подумать, что он хочет осуществить perpetuum mobile, — доносит английский комиссар с острова Эльбы. — Любит на прогулках утомлять всех своих спутников до изнеможения. Кажется, пока он на ногах, ему невозможно даже присесть, чтобы что-нибудь написать. После прогулки под палящим солнцем, от пяти утра до трех пополудни, посетив фрегаты и транспорты, три часа еще ездил верхом, „чтобы отдохнуть“, как сам мне сказал».[321]

В 1809-м, во время Испанской кампании, проскакал верхом, во весь опор, в 5 часов, 35 испанских лье, около 130 километров, от Валладолида до Бургоса; выехал с многочисленной свитой, но по дороге спутники постепенно отставали от него, так что он прискакал в Бургос почти один.[322] На охоте делает по сотне верст. При Кастильоне, в первой Итальянской кампании, загонял, в три дня, пять лошадей.

Так же неутомим пеший. Ходит иногда взад и вперед по комнате пять-шесть часов сряду, не замечая.[323] Любит разговаривать на ходу: «кажется, мог бы так проходить целый день».

И внутреннее движение соответствует внешнему. «С меньшею скоростью несутся по небу тучи, гонимые бурей, чем мысли и чувства его».[324] Вот почему он не может писать: рука не поспевает за мыслью; диктует, и всегда с такою скоростью, что

кажется, разговаривает со своим корреспондентом: «если бы кто-нибудь подслушал у двери, то подумал бы, что говорят двое». — «Ни за что не повторяет раз продиктованного, и прерывать его тоже нельзя». Эта неповторимость мысли — от ее совершенной органичности, живости. «И диктует тоже почти всегда на ходу; по быстроте шагов можно судить о быстроте мыслей».[325]

Кажется, это человек на земле, больше всего двигавшийся. И такому человеку Св. Елена — «казнь покоя»; дьявол бы для него злейшего ада не выдумал.

«Безмерно то, что я сделал, но что замышлял сделать, еще безмернее». Кто это говорит, — Наполеон, владыка мира? Нет, устроитель сточных труб. «Надо сделать, сколько я сделал, чтобы понять, как трудно делать людям добро… Я истратил около тридцати миллионов на сточные трубы, и никто мне за это спасибо не скажет».[326]

Солнце Аустерлица видимо всем, а сточные трубы невидимы, — ни те, под землей, ни другие, в политике, осушившие кровавую хлябь Революции. Но где лицо героя богоподобнее — в солнце Аустерлица или во мраке сточных труб?

Вот еще одно лицо Наполеона «неизвестного» — смиренного. Точно ассирийский бог солнца, крылатый бык-исполин, запрягся в плуг и пашет неутомимо: «рад бы отдохнуть, да запрягли вола, — паши»!

Точность работы, может быть, еще удивительнее, чем ее безмерность. Точность, добросовестность, не такая, как у людей, а как у богов или вечных сил природы: только звезды восходят на небе и боги воздают людям с такою чудесною, математическою точностью.

Детски радуется, когда в многомиллионных счетах находит ошибку в двадцать сантимов. Как-то раз, увидев в руках императрициной фрейлины бельевую книжку, взял ее, просмотрел и нашел, что стирка стоит слишком дорого; начал торговаться о каждой штуке белья и выторговал, сколько считал справедливым.

От великолепных, новых занавесей на окнах Тюльерийского дворца отрезал золотую кисть и спрятал в карман, а через несколько дней показал ее заведующему дворцовой мебелью: «Боже меня сохрани заподозрить вашу честность, мой друг, но вас обкрадывают: вы за это заплатили на треть дороже настоящей цены».[327]

Тот же Демиург, бог Работник, — в солнцах и в атомах. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Если бы так не дрожал над двадцатью сантимами, не совершилось бы чудо — почти внезапная, в три-четыре года консульства, метаморфоза

нищей босоножки, Франции, в богатейшую царицу мира.

За три недели до смерти, между двумя рвотами, «черными, как кофейная гуща», от раковой язвы в желудке, сидя в постели, держа на коленях папку с листом бумаги и макая перо в чернильницу, которую держит перед ним обер-гофмаршал, пишет прибавление к завещанию, под литерой А, где перечисляет забытое в прежних статьях: «Все мои матрацы и одеяла, полдюжины рубашек, полдюжины платков, галстухов, полотенец, носков, пара ночных панталон, два халата, пара подвязок, две пары кальсон и маленький ящичек с моим табаком».[328] Все это завещает на память сыну.

«Какое мещанство! Лучше бы о душе подумал в такую минуту» — так для нас, «христиан», но не для него, «язычника». Ведь вся душа его — любовь к Земле: та же любовь — в мечте о мировом владычестве и в этой заботе о щепотке табака.

«Я держал мир на плечах: J'ai porté le monde sur mes épaules». Если наша ветхая Европа все еще кое-как держится, то, может быть, только потому, что этот Атлас — исполинский, апокалипсический Мещанин — все еще держит ее на плечах.

ВОЖДЬ

Чтобы увидеть как следует лицо Наполеона-Вождя, надо понять, что война для него не главное. Как «существо реальнейшее», он слишком хорошо понимает историческую неизбежность войны для своего времени; понимает, что война все еще «естественное состояние» людей. Но и здесь, как во всем, идет через то, что людям кажется «естественным», к тому, что им кажется «сверхъестественным», через необходимость войны — к чуду мира: ведь главная цель — его мировое владычество, всемирное соединение людей, и есть конец всех войн, вечный мир.

«Чтобы быть справедливым к Наполеону, надо бы положить на чашу весов те великие дела, которых ему не дали совершить».[329] Совершить великие дела дали ему только на войне, но не в мире. Как это ни странно звучит, Наполеон — миротворец: вечно воюет и жаждет мира; больше чем ненавидит — презирает войну, по крайней мере, в свои высшие минуты. Понял же и на всю жизнь запомнил тот вой собаки над трупом ее господина, на поле сражения; понял или почувствовал, что эта смиренная тварь в любви выше, чем он, герой, в ненависти — войне.

«Что такое война? Варварское ремесло».[330] — «Война сделается анахронизмом… Будущее принадлежит миру: некогда победы будут совершаться без пушек и без штыков».[331] Легкими могли бы казаться эти слова в устах такого миротворца-идеолога, как Л. Толстой; но в устах Наполеона приобретают они страшный вес.

Воля к миру и воля к войне — таково глубочайшее в нем соединение противоположностей; глубочайший, может быть, ему самому еще невидимый, «квадрат» гения.

«Генерал — самый умный из храбрых», — определяет он гений Вождя.[332] Чтобы кончить мысль его, надо бы сказать: «Генерал — самый храбрый из храбрых и самый мудрый из мудрых». Совершенно храбрых людей мало; совершенно мудрых и того меньше; а соединяющих эти два качества нет вовсе или есть один за целые тысячелетия. Таким и сознает себя Наполеон: «тысячелетия пройдут, прежде чем явится человек, подобный мне».

Военная наука состоит в том, чтобы сначала хорошо взвесить все шансы и затем, точно, почти математически, расчесть, сколько шансов надо предоставить случаю… Но это соотношение знания и случая умещается только в гениальной голове. Случай всегда остается тайной для умов посредственных и только для

высших становится реальностью.[333]

Тайна случая, тайна рока есть Наполеонова тайна, по преимуществу, потому что он «человек рока».

«Вечность, Эон — дитя, играющее в кости», по Гераклиту. Случай, судьба, «звезда» — игральная кость вечности. И война есть тоже «игра в случай» Вождя с Роком. «Ставить на карту все за все» — правило игры. Никогда никто не играл в нее с таким математически точным расчетом, геометрически ясным видением, — «мой великий талант ясно видеть… это перпендикуляр, который короче кривой», — и с таким пророческим ясновидением, как Наполеон.[334] Соединения случая с математикой, самого слепого с самым зрячим — таков умственный «квадрат» военного гения.

Перед началом каждой большой кампании или перед каждым большим сражением целыми днями лежит он ничком на полу, на огромной разостланной карте, утыканной булавками с восковыми разноцветными головками, отмечающими действительные и предполагаемые диспозиции своих и чужих войск; обдумывает чудный порядок, с каким военные части будут переноситься за сотни, за тысячи верст, — с берегов Ламанша, из Булонского лагеря, на берега Рейна или из Сиерра-Моренских гор в русские степи; концентрические марши, непрерывные наступления, молниеносные удары, весь стратегический план, простой и прекрасный, как произведение искусства или теорема геометрии. Главная задача — поставить противника перед началом операции в невозможность соединиться со своей операционной базой; Маренго, Ульм, Иена, Аустерлиц — различные применения этого метода. Тут все — математика, механика: «сила армии, подобно количеству движения в механике, измеряется массой, помноженной на скорость; быстрота маршей увеличивает храбрость войск и возможность победы».[335]

Бесконечная осторожность, как бы «трусость», вождя тут лучше храбрости. «Нет человека трусливее меня при обдумывании военного плана: я преувеличиваю все опасности… испытываю самую мучительную тревогу, что, впрочем, не мешает мне казаться очень спокойным перед окружающими. Я тогда как женщина в родах (comme une fille qui accouche). Но только что я принял решение, я все забываю, кроме того, что может мне дать успех».[336]

Все забывать в последнюю минуту так же трудно, как до последней минуты помнить все. Медленная механика, геометрически ясное видение — сначала, а потом — внезапное ясновидение, пророческая молния.

«Горе вождю, который приходит на поле сражения с готовой

системой».[337] Вдруг освобождаться от системы, от знания, от разума, сбрасывать их, как ненужное бремя, еще труднее, чем их вести.

«Странное искусство война: я дал шестьдесят больших сражений и ничему не научился, чего бы не знал уже при первом».[338] «У меня всегда было внутреннее чувство того, что меня ожидает». Это «внутреннее чувство», или первичное, раньше всякого опыта, знание, и есть то «магнетическое предвидение», о котором говорит Буррьенн; врожденное «знание-воспоминание», anamnesis, Платона. Кажется, в самом деле, за целые тысячелетия оно никому из людей не было дано в такой мере, как Наполеону.

«Похоже было на то, что план кампании Мака (австрийского фельдмаршала) я сочинил за него». — «Кавдинским ущельем для Мака будет Ульм», — предсказал Наполеон, и, как предсказал, так и сделалось: день в день, почти час в час, Ульм капитулировал.[339] План Аустерлица исполнился с такою же точностью: солнце победы блеснуло первым лучом в тот самый день, час и миг, когда велел ему Наполеон. Утром в день Фридланда, еще не победив, он спокойно завтракает под свистящими пулями, и лицо его сияет такою радостью, что видно: знает — «помнит», что уже победил. Да, именно помнит будущее, как прошлое.

«Великое искусство сражений заключается в том, чтобы во время действия изменять свою операционную линию; это моя идея, совсем новая».[340] Это возможно только благодаря совершенной немеханичности, органичности плана: он остается до конца изменчивым, гибким в уме вождя, как раскаленное железо в горне.

«В самых великих боях вокруг Наполеона царствовало глубокое молчание: если бы не более или менее отдаленный гул орудий, слышно было бы жужжание осы; люди не смели и кашлянуть».[341] В этой тишине прислушивается он к внутреннему голосу своего «демона-советчика», по слову Сократа, — к своему «магнетическому предвидению».

Но наступает наконец и та последняя минута, когда нужно «ставить на карту все за все». — «Участь сражений решается одною минутой, одною мыслью — нравственною искрою».[342] «Сражение всегда есть дело серьезное, но победа иногда зависит от пустяка — от зайца».[343] Этот «заяц» — смиренная личина Рока — «Вечности, играющей, как дитя, в кости». Бородино проиграно из-за Наполеонова насморка; а Ватерлоо — из-за дождя, не переставшего вовремя.

В эту-то последнюю минуту и происходит тот молнийный разряд воли, которым Вождь решает все. «Нет ничего труднее, но

и ничего драгоценнее, как уметь решаться».[344]

«Очень редко находил он в людях нравственное мужество двух часов пополуночи, т. е. такое, при котором человек, будучи застигнут врасплох самыми неожиданными обстоятельствами, сохраняет полную свободу ума, сужденья и решенья. Он говорит, не колеблясь, что находил в себе больше, чем во всех других людях, это мужество двух часов пополуночи и что видел очень мало людей, которые в этом не отставали бы далеко от него».[345]

«Кажется, я самый храбрый на войне человек, который когда-либо существовал», — говорит он просто, без тени хвастовства, только потому, что к слову пришлось.[346]

Храбрость военная в нем вовсе не главная; она только малая часть того «послеполуночного мужества», о котором он так хорошо говорит, — «послеполуночного», в двойном смысле, точном и переносном, может быть, ему самому еще не понятном: полдень воли, действия, кончится — начнется полночь жертвы, страдания; но в обеих гемисферах — одно и то же солнце мужества.

Чтобы не видеть, что Наполеон храбр на войне, надо быть слепым. Так слепы Толстой и Тэн. Мера этой слепоты дает меру их ненависти. Тэн старается даже доказать, что Наполеон — «трус». И многие «справедливые» судьи поверили этому, обрадовались: «Он трус, как мы!»

Трудно сказать, когда Наполеон был храбрее всего. Кажется, от Тулона до Ватерлоо, и дальше, до Св. Елены, до последнего вздоха, — одинаково. Этот «свет, озаривший его», по слову Гете, «не погасал ни на минуту». Но Франция увидела впервые лицо молодого героя, такое прекрасное, какого люди не видели со времени Эпаминондов и Леонидов, — в Аркольском подвиге.

К ноябрю 96-го года положение генерала Бонапарта, главнокомандующего Итальянской армией, сделалось почти отчаянным. Маленькая армия его истаивала в неравных боях: двадцать тысяч измученных людей против шестидесяти тысяч — свежих. Помощь из Франции не приходила. Цвет армии, солдаты и командиры выбыли из строя. Госпитали переполнены были ранеными и больными гнилой лихорадкой Мантуанских болот. Болен был и сам Бонапарт. Но хуже всего было то, что дух армии пал, после неудачной атаки на высоте Кальдьеро, где австрийский фельдмаршал Альвинци укрепился на неприступной позиции, угрожая Вероне, и откуда Бонапарт вынужден был отступить, в первый раз в жизни, почти со стыдом.

«Граждане Директоры, — писал он в эти дни, — может быть, мы накануне потери Италии… Я исполнил мой долг, и армия исполнила — свой. Совесть моя спокойна, но душа растерзана…

Помощи, пришлите помощи!» Знал, что не пришлют: якобинцы, роялисты и даже сами Директоры только и ждали удобного случая съесть его живьем. «Нет больше надежды, — писал он Жозефине, — все потеряно… У меня осталась только храбрость». [347]

«Всякий другой генерал, на месте Бонапарта, отступил бы за Минчио, и Италия была бы потеряна», — говорит Стендаль, участник похода.[348]

Но Бонапарт не отступил: он задумал безумно смелый маневр: зайти в тыл австрийцам со стороны почти непроходимых Адиджских болот и, застигнув неприятеля врасплох, вынудить его к бою на трех узких плотинах, где численный перевес не имел значения и все решалось личною храбростью солдата. Чтобы исполнить маневр, надо было захватить одним внезапным ударом маленький деревянный мостик в конце одной из плотин, над болотной речкой Альпоне, у селения Арколя, — единственное сообщение австрийского тыла с болотами.

Ночью, в глубоком молчании, французская армия выступила из Вероны. Смелый маневр Бонапарта понравился ей так, что раненые, прямо с лазаретных коек, присоединялись к ней. Крадучись в темноте по Адиджским плотинам, передовые колонны французов под командой генерала Ожеро подошли еще до свету к Аркольскому мосту. Вопреки ожиданиям Бонапарта, мост был хорошо защищен: два батальона кроатов с артиллерией могли его крыть убийственным фланговым огнем. Но отступать было поздно, да и некуда: та же гибель впереди, как позади; попали в ловушку.

Первая колонна пошла в атаку, и картечный залп смел ее почти всю, как хорошая метла метет сор: и вторую, и третью, и четвертую. Люди выбегали на мост, и тотчас сметала их метла. Гибли бессмысленно. Все — мальчуганы безусые, санкюлоты 93-го, тоже в своем роде «мужи из Плутарха». Но и таким удальцам тошно было умирать без толку: мост нельзя было взять, как нельзя вспрыгнуть на небо. Почти все командиры были убиты или ранены, и люди отказывались идти в огонь. Когда Ожеро кинулся вперед со знаменем и, думая увлечь солдат, закричал в бешенстве: «Что вы так боитесь смерти, подлецы!» — никто из них не двинулся.[349]

Подскакал Бонапарт и сразу увидел, что, если мост не будет взят, дело проиграно: уже не он застигнет врасплох Альвинци, а тот — его; заслышав шум сражения, ударит с высот Кальдьеро и раздавит, утопит в болоте французскую армию. Но в то же мгновение он понял, что надо делать. Спешился и схватил гренадерское знамя. Люди не понимали или не смели понять, что

он сделает; только смотрели на него, не двигаясь, молча.

В очень простом, почти без шитья, синем, куцем мундирчике, с широким шелковым поясом, в белых лосинах, в низких козлиных сапожках с отворотами; худенький, тоненький, несмотря на свои двадцать семь лет, как шестнадцатилетняя девочка; длинные пряди чуть-чуть напудренных волос, плоско висящие вдоль впалых щек; странное спокойствие в лице, точно глубокая задумчивость, — только невыносимый, как бы расплавленного металла, блеск огромных глаз; лицо больного мальчика, за которое солдаты любили — «жалели» его особенно.

Все еще не понимали, что он сделает. Поднял одной рукой знамя — изрешеченное пулями, святое отрепье, а другой — шпагу; обернулся, крикнул: «Солдаты! Разве вы уже не лодийские победители?» — и побежал на мост.[350]

Все кинулись за ним, с одной мыслью: лучше самим умереть, чем видеть, как «больной мальчик» умрет. Командиры окружили его, защищая телами своими. Дважды раненный генерал Ланн защитил его от первого залпа и упал, раненный в третий раз. От второго залпа защитил полковник Мьюрон и был убит на груди Бонапарта, так что кровь брызнула ему в лицо.

Буря картечи косила людей. Но люди все-таки шли вперед и дошли уже до конца моста. Только здесь не вынесли огня почти в упор, повернули и побежали назад. Кроаты — за ними, добивая штыками не убитых картечью.

Бонапарт все еще стоял на мосту. Кучка пробегавших гренадеров подхватила его на руки и потащила вон из огня, но тут же, в свалке, уронила и не заметила. Он упал в болото, угруз по пояс в тине; барахтался и только еще больше угрузал. Хорошо было стоять на мосту героем, но скверно сидеть лягушкой, в болоте. Слышал, казалось, и сквозь шум сражения, только тихий шелест сухих тростников над собой; видел только серое, тихое небо, и сам затих; ждал конца: то ли тина засосет с головой, то ли австрийцы зарубят или захватят в плен. А может быть, знал — «помнил», что будет спасен.

Австрийцы уже были впереди него, шагов на сорок, но все еще не заметили его, с лицом, окровавленным кровью Мьюрона, облепленным грязью. Так тихое небо хранило его; там, на мосту, погиб бы неминуемо, в болоте спасся; чем больше угрузал, тем лучше спасался от пуль.

Гренадеры опомнились, только сбежав с моста на берег: увидели, что Бонапарт исчез. «Где он? Где Бонапарт?» — завопили в ужасе. «Бегите назад, спасайте, спасайте его!» И побежали снова на мост, бешеным натиском смяли кроатов, увидели Бонапарта в болоте, угрузшего почти по плечи, кое-как добрались до него,

вытащили, подняли, вынесли на берег и усадили на лошадь. Он был спасен.

Что произошло потом, трудно понять, как вообще всякое сражение — по существу, хаос — понять трудно. Сами участники дела не умеют иногда рассказать о нем, как следует. Ясно одно: маневр Бонапарта не удался. Мост не был взят ни в тот день, ни на следующий, и только на третий — генерал Массена перешел его, почти без боя, потому что он уже был покинут австрийцами: центр действия перенесся тогда совсем в другую сторону.

Значит, подвиг Бонапарта бесполезен. Нет, полезен в высшей степени. «Уверяю вас, что все это было необходимо, чтобы победить», — писал он Карно, впрочем, не о своем подвиге, — о нем как будто забыл, — а о подвиге Ланна.[351] Да, все это было необходимо, чтобы поднять дух солдат, зажечь ту «нравственную искру, которою решается участь сражения». На волевой разряд в душе начальника отозвались бесчисленные волевые разряды в душе солдат. Точно искра упала в пороховой погреб, и он взорвался.

В течение трех дней после Арколя произошли такие чудеса, что храбрый, твердый, умный Альвинци как бы ошалел, не понимая, что происходит, почему солдаты Бонапарта вдруг точно взбесились, полезли на стену; и, ошалев, наделал глупостей: сошел с неприступных позиций Кальдьеро, отдал Верону, Мантую, всю Италию. Вот что получил Бонапарт, сидя в болоте. Арколь, Пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Иена, Фридланд — бусы одного ожерелья: если бы нитка его оборвалась тогда, под Арколем, то и все ожерелье рассыпалось бы.

За несколько минут до смерти он бредил каким-то сражением на мосту, — может быть, именно этим, Аркольским.[352] В ту минуту надо ему было перейти через другой, более страшный, мост. Перешел ли его или опять упал в болото? Если и упал, — ничего: будет спасен, как тогда.

«Неприятель разбит под Арколем… Я немного устал», — писал он Жозефине, так же не упоминая о своем подвиге, как в письме к Карно.[353] Вообще, храбростью не мог гордиться перед людьми уже потому, что храбрость его совсем не то, что люди называют этим словом. Если бы человек знал заранее все, что с ним произойдет до последнего смертного часа, то для него не существовало бы ни нашего человеческого страха, ни нашей храбрости. Но именно так знал Наполеон — «помнил» будущее. О, конечно, не всегда, а только редкие минуты, тоже очень страшные, но уже иным страхом, не человеческим, и, чтобы преодолевать его, нужно ему было не наше, не человеческое, мужество.

В эти минуты он чувствовал свою чудесную неуязвимость в боях. Дал шестьдесят больших сражений, и без счета — малых; девятнадцать лошадей было убито под ним,[354] а ранен только два раза: довольно тяжело, при осаде Тулона, в 1793-м, и легко, под Ратисбонном, в 1809-м.

Всякое сражение есть как бы игра человека со смертью в чет и нечет; при умножении ставок шансы на выигрыш уменьшаются в геометрической прогрессии, а при сплошном выигрыше, в такой же прогрессии, возрастает сходство того, что мы называем «случаем», с тем, что мы называем «чудом». Чудом кажется неуязвимость Наполеона в боях.

> Под грозной броней ты не ведаешь ран:
> Незримый хранитель могучему дан.

Только при этом чувстве неуязвимости он мог играть со смертью так, как играл. Маршал Бертье, близко стоявший к нему на самой линии огня, под Эсслингом, долго терпел, но наконец воскликнул: «Если ваше величество не уйдет отсюда, я велю гренадерам увести его насильно!»[355]

В сражении под Арсисом император сам строил гвардию в боевой порядок на участке земли, где непрерывно разрывались снаряды; когда один из них упал перед самым фронтом колонны, люди подались было назад, и, хотя тотчас поправились, Наполеон захотел дать им урок. Шпорами заставил свою лошадь подойти к дымящейся бомбе и остановил ее над нею. Бомба взорвалась, лошадь упала с распоротым брюхом, увлекая за собою всадника; он исчез в пыли и в дыму; но тотчас же встал, невредим, сел на другую лошадь и поскакал к следующим батальонам продолжать диспозицию.[356]

Храбрость так же заразительна, как трусость. Храбрость зажигается о храбрость, как свеча о свечу. Но, чтобы вся армия вспыхнула, как сухой лес в пожаре, от одной «нравственной искры», молнии, решающей участь сражения, надо подготовить людей — высушить лес. Он это и делает; медленной, трудной и долгой работой усиливает восприимчивость солдат к заразе мужества; учит людей умирать.

Чтобы научить их, как следует, надо с ними жить душа в душу. Он так и живет с солдатами, и это ему легко; детское, простое в нем сближает его с простыми людьми: «утаил сие от мудрых и открыл младенцам». «Мудрецы» — «идеологи» Наполеона ненавидят, а простые люди любят. Он для них величайший из людей и Маленький Капрал; поклоняются великому и жалеют «маленького».

«На бивуаках я разговаривал и шутил с простыми солдатами. Я всегда гордился тем, что я человек из простого народа».

На острове Эльба проводит по шести часов в казармах; осматривает койки, пробует суп, хлеб, вино, беседует с нижними чинами как с равными и, по обыкновению, «с начальниками строг, добр с подчиненными».[357]

В самый горький и стыдный день своей жизни, 7 июня 1815 года, когда отрекся от власти — от себя — перед ничтожной Палатой, все забывает, чтобы думать о солдатских сапогах; пишет военному министру, маршалу Даву: «Я с грустью увидел, что отправленные сегодня утром войска имеют только по одной паре сапог, а на складе их множество. Надо им дать по две пары в мешок и одну на ноги».[358]

Каждого солдата узнает, или делает вид, что узнает, в лицо: перед осмотром учит наизусть особые таблички с именами рядовых.

Революционное равенство осуществилось, может быть, только здесь, в наполеоновой армии. «Старые усачи-гренадеры никогда не осмелились бы говорить с последним прапорщиком так, как говорили с императором».[359]

В страшном зное Египетской пустыни, у развалин Пелузы, солдаты уступали ему единственную узкую тень от стены, и он понимает, что «это уступка огромная».[360] Расплачивается с ними в пустыне Сирийской, когда всех лошадей, в том числе и свою, отдает под больных и раненых. Помнит, язычник, христианскую заповедь: «Генерал должен поступать со своими людьми так, как хотел бы, чтобы с ним самим поступали».[361]

Тут, может быть, даже нечто большее, чем революционное равенство, — уже почти религиозное братство.

Возвращаясь с Эльбы и подходя к Греноблю, на одной стоянке, пьет вино из того же ведра и того же стакана, из которых только что пили все его «усачи»-гренадеры. Вместе пьют из одной чаши вино и кровь.

Когда раненный в ногу под Ратисбонном и едва перевязанный император вскакивает снова на лошадь и кидается в бой, люди плачут от умиления. «Кровь есть душа» — это знали древние и все еще знает народ. С кровью «душа начальника переходит в души солдат».[362] Вся армия, от последнего солдата до маршала, — одна душа в одном теле.

Понятно, почему никогда никому солдаты не служили так верно, как Наполеону: «с последней каплей крови, вытекавшей из их жил, они кричали: „Виват император!“ Понятно, почему те два гренадера, под Арколем, защитили его телами своими от взрывавшейся бомбы; и генерал Ланн, дважды раненный, снова

кинулся в бой, на Аркольском мосту, и получил третью рану, а полковник Мьюрон был убит на груди Бонапарта. Понятно, почему генерал Вандамм готов „пройти сквозь игольное ушко, чтобы броситься в огонь“ за императора, а генерал Гопуль, под Ландсбергом, когда Наполеон обнял его и поцеловал перед строем, воскликнул: „Чтобы быть достойным такой чести, я должен умереть за ваше величество!“ — и был убит на следующий день, под Эйлау».[363] И полковник Сур, под Женаппом, когда ему ампутировали руку, диктует письмо императору, только что произведшему его в генеральский чин: «Величайшая милость, какую вы могли бы мне оказать, это оставить меня полковником в моем уланском полку, который я надеюсь вести к победе. Я отказываюсь от генеральского чина. Да простит мне великий Наполеон. Чин полковника мне дороже всего». И только что наложили хирургический аппарат на кровавый обрубок руки его, он опять садится на лошадь и пускается в галоп к своему полку.[364] Понятно, почему граф Сегюр, во время хирургической операции, побеждает боль и страх смерти одною мыслью о вожде: «Хорошо умереть, быть достойным его!»[365] А старый солдат, участник Маренго, под Ватерлоо, сидя с раздробленными ногами на дорожной насыпи, повторяет громким и твердым голосом: «Ничего, братцы, вперед, и виват император!»

Но, кажется, всего чудеснее эта зараза мужества в сражении под Эсслингом.

Когда приходит внезапная весть, что сломаны мосты на Дунае, соединяющие французскую армию с ее оперативной базой, островом Лобау, и резервы маршала Даву отрезаны, положение армии, на обширной равнине, без точки опоры, без боевых запасов и резервов, становится таким отчаянным, что на военном совете все маршалы подают голос за сдачу Лобау и отступление на правый берег Дуная. Император выслушивает их терпеливо, но решает не отступать. «Так, так! Так надо сделать!» — восклицает маршал Массена, революционный генерал, внук дубильщика, сын мыловара, бывший контрабандист и лавочник, неисправимый вор, лихоимец, грабитель собственных солдат, спаситель Франции, победитель Суворова, «возлюбленный сын Победы». «Так надо сделать, так, — повторяет он с восторгом, и тусклые глазки этого маленького, худенького человека разгораются чудным огнем. — А! Вот великое сердце, вот гений, достойный нами командовать!» Тогда Наполеон берет его под руку, отводит в сторону и ласково шепчет ему на ухо: «Массена! Ты должен защитить остров и кончить то, что начал с такою славою. Ты один можешь это сделать. Ты это сделаешь!» Да, сделает: душа

Наполеона перешла в душу Массена — храбрый зажегся о храброго, как свеча о свечу.

А через несколько часов, когда положение становится еще более отчаянным и приходит последняя, страшная весть, что маршал Ланн смертельно ранен, у Наполеона опускаются руки; в первый раз в жизни он плачет в сражении, как будто теряет все свое мужество; но, только что опомнившись, посылает генерала Монтиона к Массене сказать, чтобы он продержался в Асперне, важнейшем подступе к Лобау, «хотя бы еще только четыре часа». — «Скажите императору, — отвечает Массена, схватив руку Монтиона и сжав ее с такою силою, что следы пальцев долго потом оставались на ней, — скажите императору, что никакая сила в мире не заставит меня уйти отсюда. Я останусь здесь четыре часа — двадцать четыре часа — всегда!» И остался. Защита Асперна была так героична, что неприятель осмелился вступить в развалины его только на следующий день, когда французский арьергард давно уже покинул селение.[366]

«Без меня он ничто, а со мной — моя правая рука», — говорит Наполеон о Мюрате[367] и мог бы сказать о всех своих маршалах: все они члены Вождя.

Да, вся армия — одно тело, одна душа. «Он колдун», — говорили о Наполеоне египетские мамелюки Мурад-Бея. «Он связал своих солдат большой белой веревкой, и, когда дергает ее туда или сюда, все они движутся вместе, как одно тело».[368] Эта «белая веревка» и есть «магия» — молнийная воля Вождя. «Как ни велико было мое материальное могущество, духовное — было еще больше: оно доходило до магии». — «Государь, вы всегда творите чудеса!» — по простодушно-глубокому слову помощника маконского мэра.

«Когда он хотел соблазнить, в словах его было неодолимое обаяние, род магнетической силы. Тот, кого он хочет увлечь, как бы выходит из себя», — вспоминает Сегюр.[369] В эти минуты своей наибольшей силы он уже не приказывает, как мужчина, а соблазняет, как женщина. Вот что значит в нем «полнота не нашего пола», странное сходство с «молодою красавицей», которое он сам в себе замечает, или со «старою гувернанткою» императрицы Марии-Луизы, которое обманывает провинциального лакея. Эта одна из колдовских «штук» его, так пугающих суеверного австрийца: «проклятый колдун — оборотень обернулся женщиной».

Бог Дионис тоже «оборотень». В Еврипидовых «Вакханках» он «Женоподобен», thelymorphos, а в Эсхиловом «Ликурге» — уже настоящий Андрогин. И в элевзинских таинствах Дионис-Вакх называется «двуестественным», diphyes: два естества в нем —

мужское и женское. Что это значит? Значит, что божественная полнота человеческой личности есть соединение двух расколотых половин — половин двух противоположностей — «квадрат» гения; вышина квадрата — мужественность. Или, по слову Канта: «Erst Mann und Weib zusarnmen machen den Menschen aus. Человека составляют только мужчина и женщина вместе». Божественная искра человеческой личности вспыхивает только в соприкосновении двух полюсов — женского катода и мужского анода.

Наполеон ближе, чем думает сам, к своему прообразу: Александру Великому. Тот хотел быть вторым Дионисом. «Дионис» значит «сын божий»: Dio — «бог», nysos — «сын». Вот почему старый инвалид наполеоновской армии, которого знал в детстве Леон Блуа, «не умел отличить императора от Сына Божьего». Вот почему солдаты Наполеона пьют вместе с ним из одной чаши, как в Дионисовых таинствах, вино и кровь, соединяясь в одно тело, в одну душу — Великую Армию.

Вся она движется с такой быстротой, в таком чудном порядке, когда в 1805 году император перекидывает ее одним мановением руки из Булонского лагеря, от берегов Ламанша к берегам Рейна, что если бы кто-нибудь мог обозреть ее с высоты, то подумал бы, что это стройно пляшущий хор Диониса, где хоровожатый — сам бог.

> И с высоты, как некий бог,
> Казалось, он парил над ними
> И двигал всем, и все стерег
> Очами чудными своими.[370]

Эти очи с «невыносимым блеском как бы расплавленного металла» — очи самого Диониса.

«Я хочу, чтобы мои знамена возбуждали чувство религиозное».[371] Какая же это религия?

Чей это голос? Кто зовет нас? Эвий! — узнают вакханки Еврипида голос своего невидимого бога. Тот же голос и в этих словах Наполеона: «Когда в огне сражения, проезжая перед строем, я кричал: „Солдаты! Развертывайте ваши знамена, час пришел!“ — надо было видеть наших французов: люди плясали от радости, сотни человек тогда стоил один, и с такими людьми, казалось, все возможно».[372]

Люди плясали, как исступленные, одержимые богом, вакханты. «Солдаты Наполеона — одержимые», — говорит очевидец накануне Ватерлоо.[373] Эта «одержимость», katokhe, есть признак «богоприсутствия» в Дионисовых таинствах.

«Тот, кого Наполеон хочет увлечь, как бы выходит из себя». Это «выхождение из себя» — экстаз, ekstasis — признак того же богоприсутствия. Надо человеку выйти из себя, чтобы войти в бога; надо выйти из своего человеческого, мнимого, дробного, смертного «я», чтобы войти в божественное, подлинное, цельное, бессмертное. Это и значит: сберегающий душу свою потеряет ее, а потерявший — найдет.

Дионис — учитель экстаза; и Наполеон тоже. Дионис, сын Семелы, смертной женщины, — человек, становящийся богом; и Наполеон тоже. Дионис — завоеватель-миротворец; и Наполеон хочет соединить Запад с Востоком, чтобы основать мировое владычество — царство вечного мира. Дионис — страдающий богчеловек; и Наполеон на Св. Елене — прикованный к скале Прометей — тот же Дионис.

«Мир смотрит на нас. Мы остаемся и здесь мучениками великого дела… Мы боремся с насильем богов, и народы благословляют нас», — говорит он, как мог бы говорить Прометей.[374]

Может быть, именно здесь, на Св. Елене, у него наибольшее мужество — уже не внезапное, а непрерывное «мужество двух часов пополуночи».

«В жизни моей, конечно, найдутся ошибки, но Арколь, Риволи, Пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Иена, Фридланд — это гранит: зуб зависти с этим ничего не поделает».[375] Нет, и это не гранит, а туман, призрак, но за этим — вечный гранит — Св. Елена, Святая Скала, Pietra Santa — вечное мужество.

«Что это говорят, будто бы он постарел? Да у него, черт побери, еще шестьдесят кампаний в брюхе!» — воскликнул старый английский солдат, увидев императора на Св. Елене.[376] «Мне еще нет пятидесяти, — говорит он сам в 1817 году, — здоровье мое сносно: мне остается еще, по крайней мере, тридцать лет жизни».[377] — «Говорили, будто я поседел после Москвы и Лейпцига, но, как видите, у меня и сейчас нет седых волос, и я надеюсь, что вынесу еще не такие несчастья».[378] — «Вы, может быть, не поверите, но я не жалею моего величия; я мало чувствителен к тому, что потерял».[379] — «Кажется, сама природа создала меня для великих несчастий; душа моя была под ними, как мрамор: молния не разбила ее, а только скользнула по ней».[380] — «Моей судьбе недоставало несчастья. Если бы я умер на троне, в облаках всемогущества, я остался бы загадкой для многих, а теперь, благодаря несчастью, меня могут судить в моей наготе».[381]

Нагота его — Св. Елена, Святая Скала — непоколебимое мужество. «Я основан на скале. Je suis établi sur un roc», —

говорит он на высоте величия и мог бы сказать в глубине падения.[382] Кто из людей возвысился и падал, как он? Но чем ниже падение, тем выше мужество. Все его славы могут померкнуть, — только не эта: учитель мужества.[383]

В этом он себе равен всегда: в щедрости, с какой отдает свою жизнь под Арколем, и в скупости, с какой дрожит над двадцатью сантимами в отчете министерства финансов или вспоминает о щепотке табака в табакерке, завещанной сыну, — одно и то же исступленное, экстатическое мужество. Наполеон — учитель экстаза и мужества, потому что эти две силы неразлучны: надо человеку выйти из своего смертного «я» и войти в бессмертное, чтобы достигнуть того последнего мужества, которое побеждает страх смерти. «Лучше всего наслаждаешься собой в опасности», — говорит Наполеон:[384] наслаждаешься, упиваешься пьянейшим вином Диониса — своим божественным, пред лицом смерти бессмертным, «я».

> Все, все, что гибелью грозит,
> Для сердца смертного таит
> Неизъяснимы наслажденья —
> Бессмертья, может быть, залог.[385]

Вот почему тайное имя Диониса — Лизей, Освободитель: он освобождает человеческие души от рабства тягчайшего — страха смерти. В этом, впрочем, как и во всем, Дионис — только тень Грядущего: «верующий в Меня не увидит смерти вовек».

Люди благодарны тому, кто учит их жить; но, может быть, еще благодарнее тому, кто учит их умирать. Вот почему солдаты Наполеона так благодарны ему и «с последней каплей крови, вытекающей из жил их, кричат: „Виват император!“ Он, воистину, — Вождь человеческих душ к победе над последним врагом — Смертью.

„Надо хотеть жить и уметь умирать“, — говорит Наполеон.[386] И еще: „Надо, чтобы солдат умел умирать“.[387] Каждому человеку надо быть солдатом на поле сражения, чтобы победить последнего врага — смерть. Это невозможно? „Невозможное — только пугало робких, убежище трусов“, — отвечает Наполеон. Каждому человеку, чтобы умереть и воскреснуть, надо быть Наполеоном.

Все мы, извращенные мнимым „христианством“, думаем, более или менее, как бедный Ницше, что быть добрым значит быть слабым, а быть сильным значит быть злым. Наполеон знает, что это не так: „Добродетель заключается в силе, в мужестве; сильный человек добр, только слабые злы“.[388] Это говорит он в

начале жизни, и в конце — то же. „Будьте всегда добрыми и храбрыми“, — завещает своей Старой Гвардии, прощаясь с нею в Фонтенбло, после отречения, и мог бы завещать всем людям.[389]

„Я показал, что может Франция; пусть же она это исполнит“. Он показал, что может человечество, пусть же оно это исполнит.

Убыль экстаза — вина Дионисова — происходит сейчас в наших сердцах, как убыль воды в колодцах во время засухи. Американский „сухой режим“ господствует во всем „христианском“ человечестве. „Я есмь истинная лоза, а Отец Мой — виноградарь“ — это мы забыли и ни от какой лозы уже не пьем. „Сухи“, впрочем, на вино, но не на кровь: кровью только что залили мир, и „сохнем“ теперь, может быть, для того, чтобы снова „вымокнуть“.

Наполеон тоже лил кровь, но не был „сух“, как мы: он — последний, вкусивший от лозы Дионисовой; последний опьяненный — опьяняющий.

Дионис — только тень, а тело — Сын Человеческий. Не лучше ли тело, чем тень? Да, лучше, но когда уходит тело, — остается только тень. Мир без Сына жить не может, и если не телом Его, то тенью живет. Тень Сына — Наполеон-Дионис.

Первая, за память человечества, тень того же тела — Сына — есть древневавилонский герой Гильгамеш: сенаарские кочевники пели песни о нем, может быть, еще за тысячу лет до Авраама. Странствуя по всей земле, в поисках за Злаком Жизни, дающим бессмертие людям, Гильгамеш, богатырь солнечный, совершает путь солнца с Востока на Запад, погружается, как солнце, в океан, — кажется, тот самый, где затонула Атлантида, и находит в нем Злак Жизни.[390]

> Терну и розе подобен тот Злак.[391]

Терну страдания — Розе любви. Такова мудрость Диониса: через терзающий Терн смерти — к опьяняющей Розе бессмертия.

Путь солнца из дневной гемисферы в ночную совершает и Наполеон, последний богатырь солнечный, последний человек Атлантиды; погружается и он, как солнце, в океан и находит в нем тот же Злак Жизни — терзающий Терн, опьяняющую Розу Диониса.

Первый Дионис — Гильгамеш, последний — Наполеон. Можно сказать и о последнем то же, что о первом.[392]

> Увидел он все, до пределов вселенной,
> Все испытал и познал,
> Взором проник в глубочайшие

тайны,
С сокровеннейшей мудрости поднял
покров…
Весть нам принес о веках допотопных;
Путь далекий прошел он, скорбя
и труждаясь,
И повесть о том начертал на
скрижалях…
На две трети он — бог, на одну —
человек.

COMMEDIANTE

Облака проносились так низко над подоблачными скалами Св. Елены, что цеплялись за них краями, как белые одежды призраков. „Главное занятие Наполеона состояло в том, чтобы следить за полетом облаков над остриями исполинских гор, наблюдать, как изменяются их облики, превращаются в развевающиеся над вершинами занавеси, сгущаются в темных ущельях или расстилаются вдали, над океаном: он точно хотел прочесть будущее в этих мимолетных и воздушных обликах“.[393]

Нет, не будущее, а прошлое: он уже знает, что будущее для него кончено; Св. Елена — гроб заживо. И эти мимолетящие облака — образы, облики, призраки — для него только видения прошлого, сон всей его жизни.

„Какой, однако, роман моя жизнь!“ — говорит он соузникам на Св. Елене. „Какой роман“ — какой сон, призрак, мимолетящее облако.

„Мне иногда кажется, что я умерла, и у меня осталось только смутное чувство, что меня уже нет“, — повторяла императрица Жозефина перед смертью.[394]

То же мог бы сказать и Наполеон на Св. Елене.

„Только бы продлилось! Pourvou que ca doure!“ — шептала, как вещая парка, на своем ломаном французском языке, мать Наполеона, скромная, тихая старушка, „мать царей — мать скорбей“, как она сама себя называла.[395] Нет, не продлилось — пронеслось, как облако. „Летиция всегда твердо знала, что все огромное здание (империи) рушится“.[396] — „Того и во сне не приснится, как она жила. Он ne rêve pas comme elle a vécu“, — сказал кто-то о ней; то же можно бы сказать и о сыне ее.

„После стольких лет смятений, жертв и крови, Франция ничего не получила, кроме славы“, — говорил наполеоновским маршалам русский император Александр I, в 1814 году, в занятом союзными войсками Париже.[397] „Ничего, кроме славы“ — пустоты, призрака, мимолетящего облака.

Так ли это? Все ли дело исчезло, как сон? Нет, кое-что осталось: остался правовой костяк, заложенный в тело Европы Наполеоновым Кодексом, первым, после Рима, всемирным законодательством правового утверждения личности. И если современная Европа выдержит напор коммунистической безличности, то, может быть, только потому, что в ней все еще крепок этот Наполеонов позвоночный столб.

Внук уже не знает, не помнит деда, но все еще напоминает его, похож на него лицом: так Наполеон уже „неизвестен“

современной Европе, но все еще у него наполеоновский профиль. Мало это или много? Много, по сравнению с тем, что он хотел и мог бы сделать, — так мало, что это ему казалось иногда „почти ничем“. Он сам предвидел это свое умаление в истории: „Я буду почти ничем. Je ne serai presque rien“.

Да, хотя и „существо реальнейшее“, он смутно знал всегда, что весь реализм бытия призрачен и что он творит жизнь свою, как спящий — сновидения или художник — образы, музыкант — симфонию.

Власть над миром для того и нужна ему, чтобы творить из мира сон. „Я люблю власть, как художник, как скрипач любит скрипку. Я люблю ее, чтобы извлекать из нее звуки, созвучья, гармонии“.

„Мир как представление“. Die Welt, ais Vorstellung, он, может быть, понял бы, что это значит, когда поднималась облачная занавесь над скалами Св. Елены. „Представление“ — трагедия, Дионисова игра на сцене мира. Он ее поэт, лицедей и герой вместе: сочиняет, играет ее и гибнет в ней.

Если он — „чудовище“, то иной породы и иных размеров, чем Нерон; но, кажется, мог бы воскликнуть и он перед смертью, как тот: „Qualis artifex pereo. Какой художник во мне погибает!“

Сон мира творит, как бог Демиург; сон исчезает — умирает бог.

> Простите, пышные мечтанья.
> Осуществить я вас не мог…
> О, умираю я, как бог
> Средь начатого мирозданья![398]

„Commediante!“ — воскликнул будто бы папа Пий VII, Фонтенблоский узник, жертва „нового Нерона-антихриста“, в споре с императором из-за второго Конкордата 1813 года. Кажется, это легенда. Но слово, если даже не подлинно, очень глубоко: да, „комедиант“ человечески-божественной комедии.

Когда он обдумывал чин коронации, художник Изабей (Isabey) и архитектор Фонтан принесли ему маленький театрик, изображавший внутренность собора Парижской Богоматери, где должна была происходить церемония, со множеством ряженых и нумерованных куколок. Наполеон восхитился этой игрушкой. Тотчас позвал Жозефину, собрал министров, маршалов, сановников и начал репетицию священного венчания — кукольной комедии.

При отступлении от Москвы, узнав о заговоре полоумного генерала Малэ для низвержения династии, воскликнул: „Так вот

как прочна моя власть! Одного человека, беглого арестанта, довольно, чтобы ее поколебать. Значит, корона чуть держится на голове моей, если дерзкое покушение трех авантюристов в самой столице может ее потрясти“.[399] Да, на голове его корона — как сусальная корона кукольного императора, и власть его прочна, как сон.

А за несколько месяцев перед тем, глядя с Поклонной горы на распростертую у ног его Москву, он утешается, после страшных бед, перед страшными бедами, этим волшебным зрелищем — театральной декорацией. „Рукоплескания всех народов, казалось, приветствовали нас“.[400] Древние Фивы — Москва, вот какие дали пространства и времени захватывает этот исполинский сон. Но вдруг все улетает, рассеивается, как марево, как мимолетящее облако, от одного тихого веяния — вести: „Москва пуста!“[401] Пуста, как сон пустой. И декорация меняется: „Москва исчезает, как призрак, в клубах дыма и пламени“.[402] „Это было самое величественное и ужасное зрелище, какое я видел в моей жизни“, — вспоминает он на Св. Елене.[403] Там же, на развалинах обгорелой Москвы, он устраивает Французский театр — зрелище в зрелище, сон во сне.[404] Это уже вторая степень „мира как представления“: не число, а логарифм числа.

„Генерал Бонапарт видел воображаемую Испанию, воображаемую Польшу (Россию) и теперь видит воображаемую Св. Елену“, — говорит Гудсон Лоу.[405] Это значит: воля его к жизни, от начала до конца, есть воля к сновидению:

> Вся наша жизнь лишь сном окружена,
> И сами мы вещественны, как сны,—

эти слова Просперо-Шекспира он понял бы: строить сны свои из вещества мира, а мир свой — из вещества снов.

„Существо реальнейшее“ — существо идеальнейшее — два лица его, и как решить, какое из них настоящее?

Это — в великом, это в малом.

„Он любил все, что вызывает мечтательность: Оссиана, полусвет, меланхолическую музыку. Жадно слушал шум ветра, говорил с восторгом о реве волн морских; склонен был верить в привидения и вообще был суеверен. Иногда, вечером, выходя из своего кабинета в салон г-жи Бонапарт, приказывал занавешивать свечи белым газом, и все мы должны были хранить молчание, пока он рассказывал нам истории о привидениях… Или, слушая тихую и медленную музыку, впадал в задумчивость, которой никто из нас не смел нарушить ни одним движением“.[406]

Эти занавешенные дымкою свечи льют призрачный свет

сновидений, как бы уже предрекают тот солнечный свет сквозь облака — призраки над Св. Еленою.

Однажды импровизует и разыгрывает в лицах фантастическую повесть о двух несчастных любовниках, Терезе и Джулио, где, между прочим, действует таинственное существо, Андрогин-Сибилла, похожее на самого Наполеона или Диониса Оборотня.[407]

„Джулио вонзил кинжал в сердце Терезы“, — заключил он рассказ и, подойдя к императрице, сделал вид, что вынимает кинжал из ножен: иллюзия была так сильна, что фрейлины, вскрикнув от испуга, кинулись между ним и Жозефиной. А Бонапарт, как превосходный актер, не смущаясь и не замечая произведенного им впечатления, продолжает рассказ». — «Предаваясь полету воображения, он так увлекался, что все окружающее для него исчезало». Уверяли, будто бы он учился у великого актера, Тальма; но он, «пожалуй, сам мог бы его научить».[408]

«Когда диктует воззвания к армии, похож на итальянского импровизатора или Пифию на треножнике».[409] Значит, и здесь, на полях сражений, лицедействует, сочиняет, как в салоне г-жи Бонапарт — «историю о привидениях», — всемирную историю; и пороховой дым клубится, как дым Пифийской расщелины или облака-призраки Св. Елены.

Маг, вызывающий видения, или, по-нашему, съемщик исполинских фильмов. Великий мастер художественных противоположностей.

Главнокомандующий Египетской армии, генерал Бонапарт, давая охранную грамоту инокам Синайской обители, «из уважения к Моисею и народу израильскому, чья космогония напоминает нам века незапамятной древности», вписывает имя свое в книгу почетных гостей, рядом с именем Авраама.[410] Что это, «комедиантство», «шарлатанство», световая реклама на облаках или апокалипсическое знамение? Может быть, все это вместе; может быть, он искренне чувствует выход свой из времени в вечность, из всемирной истории в космогонию — эсхатологию.

А вот и другие маски все той же «комедии». Мечтает, «на старости лет, объезжать вместе с императрицей, потихоньку, на своих лошадях, как супружеская чета поселян, все закоулки империи, принимая жалобы, исправляя обиды и сея всюду память о своих благодеяниях».[411] Тут, конечно, лев в овечьей шкуре: знает сам, что этого не будет, но, может быть, снилась ему и эта мещанская идиллия; мещанство в нем глубже, чем кажется.

В память знаменитых слов своих на поле сражения Эйлау: «Страшное зрелище! Вот что должно бы внушить государям

любовь к миру и омерзение к войне», — заказывает живописцу Гро (Gros) картину этого поля с ним, Наполеоном, стоящим среди убитых и раненых и подымающим к небу глаза, полные слез.[412] Лучше бы не заказывал, не играл «комедии» хоть в этом; но и это еще не значит, что не чувствовал искреннего омерзения к войне.

Перед конвоем австрийских раненых, останавливая свиту и снимая почтительно шляпу, восклицает: «Честь и слава несчастным героям».[413] Этому театральному жесту мог бы позавидовать Тальма, но и это не значит, что в самом жесте не было ничего искреннего.

Бедного русского мальчика, графа Апраксина, попавшего в плен под Аустерлицем и просто, по-детски, плачущего, утешает пустыми словами: «Успокойтесь, молодой человек, и знайте, что нет стыда быть побежденным французами!»[414] Лучше бы не утешал! Но если бы Л. Толстой не в меру возмутился этой «комедией», то, может быть, только потому, что сам иногда участвовал в комедии, более тонкой — так называемой «правдивости».

Зная, что Жозефина бесплодна, и из жалости не желая с ней разводиться, предлагает ей разыграть мнимую беременность, чтобы объявить наследником сына своего от другой женщины. Жозефина соглашается, и дело стало только за тем, что лейб-медик Корвизар отказывает наотрез участвовать в обмане. Тут все удивительно: искренняя жалость к стареющей жене, детская беспомощность обмана, странная в таком реалисте, мечта основать династию на призраке — наследнике-подкидыше и предел «комедиантства», «шарлатанства», которого ничем нельзя оправдать, ни даже объяснить, — разве только этим: если мир — сновидение, «представление» и все в мире обманчиво-призрачно, то что значит лишний обман, к тому же, с доброю целью?

Жозефина жалуется, что «за долгие годы, проведенные ею с Бонапартом, не было у него ни одной минуты искренней».[415] Так ли это? Может быть, он по-своему искренен, но искренность у него иная — иная правда, чем у нее. «Какой он смешной, Бонапарт! Il est drôle Bonaparte!» — восклицала она при первом знакомстве с ним. Надо было быть такой мартиникской канарейкой, как Жозефина, чтобы не почувствовать, что он не «смешной», а страшный. Г-жа Ремюза это чувствует и, как ребенок, плачет от страха.[416]

«Комедиант», «лицедей», но не лицемер; вечно играет роль, но не чужую, а свою же собственную: Наполеон, играющий роль Наполеона. В этом смысле он — сама правда, но правда эта так ни на что не похожа, что никто ей не верит. «Тайные склонности мои, в конце концов, естественные, дают мне бесконечные

возможности обманывать всех». В этих-то именно «естественных склонностях», он — иного творения тварь, человек иного космического цикла — зона — не 1800 года по Р. Х., а 18 000 — до Р. Х., или такого же далекого будущего; человек из «Атлантиды» или из «Апокалипсиса». Чтобы все обманывались в нем, ему надо только быть совершенно правдивым, самим собою.

В сущности, он никого не обманывает, — только скрывает себя от всех, чтобы не слишком испугать людей своим «чудесным-чудовищным»; для того и носит маску, покрывает лицо свое, сходя к народу, из Синайского облака.

Никого не обманывает — сам обманут всеми. Кажется, ни один из государей не был так обманут и предан, как он, — министрами, маршалами, женами, любовницами, братьями, сестрами, врагами, друзьями. Как это ни странно сказать, он простодушен, бесхитростен; даже слишком правдив, обнажен до цинизма, например, в убийстве герцога Энгиенского или в «грязной истории» с испанским королем. Простодушно, бесхитростно отдается сначала «лукавому византийцу», Александру I, потом тестю своему, австрийскому императору, и, наконец, англичанам. Только на Св. Елене опомнился: «Дорого я заплатил за мое романтическое и рыцарское мнение о вас — англичанах».[417]

«Эти люди не хотят со мной разговаривать, — жалуется Коленкуру во время Шатильонского конгресса 1814 года. — Роли наши переменились… Они забыли, как я поступил с ними в Тильзите… Великодушие мое оказалось просто глупостью… Школьник был бы хитрее моего».[418] Может быть, оттого и погиб, что был слишком правдив.

Гибкостью спинного хребта, искусством «изменять маневр, changer de manoeuvre»,[419] которым обладают в таком совершенстве Талейран и Фуше, эти две беспозвоночные гадины, — он не обладает вовсе. «Мужества нельзя подделать: это добродетель без лицемерия».[420] А ведь это и есть его добродетель, по преимуществу, — «Pietra-Santa», «Святой Камень», — хребет несгибаемый.

«Мы можем понять друг друга», — пишет император Павел 1 Бонапарту Консулу.[421] Могут друг друга понять, потому что оба — «романтики», «рыцари» и, как это тоже ни странно сказать, «Дон-Кихоты».

«Наполеону, в высшей степени, свойственно было чувство военной чести, военного братства… Этот хитрый политик был всегда рыцарь без упрека», — говорит Вандаль, один из немногих справедливых судей Наполеона.[422]

Как это непохоже на тэновского «кондотьера» — Il principe

Макиавелли — «помесь льва и лисицы»! Нет, помесь льва и дракона: львиная сила на крылах мечты.

Все для него призрачно, но это не значит, что все — «покров Майи» над абсолютным ничтожеством. Наполеон, так же как, Гете — величайшая противоположность буддийской мудрости — воли к небытию и к безличности. Оба — вечное «да» против вечного «нет».

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss.
Все преходящее
Есть только символ,—

высказывает Гете, что Наполеон чувствует: временное — символ вечного. Спящему снится то, что было с ним наяву, а живущему во времени — то, что было и будет с ним в вечности. «Мир как представление» исчезает; остается «мир как воля». Волю эту отрицают Шопенгауэр и Будда; Наполеон и Гете утверждают.

Облака, сновидения, призраки, а под ними — Св. Елена, Святая Скала, Pietra-Santa — вечный гранит. Явное, дневное имя его — мужество; тайное, ночное — Рок.

РОК

«Всю мою жизнь я жертвовал всем — спокойствием, выгодой, счастьем — моей судьбе».[423] Вот лицо Наполеона без маски — бесконечная правда его, бесконечная искренность. Когда он говорит: «судьба», он дает нам ключ к запертой двери — к тайной; но слишком тяжел для нас этот ключ! Дверь остается запертой. Наполеон — «неизвестным».

Что такое судьба? Случай, управляющий миром, le hasard qui gouverne le monde, как ему самому иногда кажется;[424] случай — слепой дьявол, и Наполеон, владыка мира, — только раб этого дьявола. Или что-то высшее, зрячее, согласное с волей героя. Может быть, он сам никогда об этом не думал; но, кажется, думал всегда около этого; кажется, все его мысли уходили в эту глубину, где загадана людям загадка Судьбы. Прямо в лицо Сфинкса никогда не заглядывал, но чувствовал всегда, что Сфинкс смотрит ему прямо в лицо, и знал, что, если не разгадает загадки, чудовище пожрет его. Лицо Эдипа перед Сфинксом задумчиво, и лицо Наполеона тоже. Кажется, главное в этом лице, что отличает его от всех других человеческих лиц, — эта бесконечная задумчивость. Чем больше вглядываешься в него, тем больше кажется, что он задумался не только о себе, но и о всех нас, обо всем «христианском» человечестве, которое в своем великом отступлении не захотело Кроткого Ига и подпало железному игу Судьбы.

В ночь перед Иенским сражением император вышел один на аванпостную линию, чтобы осмотреть дорогу, прорубаемую в Ландграфенбергских скалах, для подвоза артиллерии. Ночь была темная; в десяти шагах не видно. Когда он подходил к цепи часовых, один из них, услышав шаги, окликнул: «Кто идет?» — и взял на прицел. Наполеон так глубоко задумался о чем-то, что не слышал оклика и продолжал идти. Часовой выстрелил. Пуля просвистела мимо ушей императора. Он упал ничком наземь, и хорошо сделал; множество пуль пронеслось над его головой: вся цепь часовых дала по нему залп. Благополучно выдержав этот первый огонь, он встал, подошел к ближайшему посту и назвал себя.[425]

Падает лицом на землю, как будто поклоняется, владыка мира, какому-то Владыке большему. Кому же именно — темному дьяволу, случаю, или лучезарной «звезде» своей, ночному солнцу — Року? Может быть, за минуту перед тем, так глубоко задумался вовсе не об этом, а все же около этого, к этому близко, на один волосок, как был тогда на волосок от смерти.

За несколько дней до отреченья и попытки самоубийства в Фонтенбло он был погружен в такую задумчивость, что, «когда входили в комнату им же самим вызванные лица, — не замечал их присутствия; смотрел на них и как будто не видел, более получаса проходило иногда, прежде чем он с ними заговаривал; очнувшись с трудом от своего оцепенения, спрашивал их о чем-нибудь и как будто не слышал ответа». Ничто не могло нарушить эту «как бы летаргическую задумчивость, préoccupation pour ainsi dire léthargique».[426]

В 1810 году, тотчас после бракосочетания с Марией-Луизой, на большом вечернем приеме в Компьенском дворце, где присутствуют первые сановники империи, министры, маршалы, иностранные послы, владетельные князья, короли, эрцгерцоги, — Наполеон выходит из игорной залы в гостиную. Вся огромная свита кидается за ним по пятам. «Дойдя до середины комнаты, — вспоминает очевидец, генерал Тьебо, — император остановился, скрестил руки на груди, уставился глазами в пол, шагов на шесть перед собой, и так застыл, не двигаясь. Все тоже остановились, окружив его большим кругом, и замерли в глубоком молчании, не смея даже взглянуть друг на друга; но потом, мало-помалу, начали переглядываться, в недоумении, ожидая, чем это кончится». Так прошло пять, шесть, семь, восемь минут. Недоумение росло; никто не понимал, что это значит. Наконец маршал Массена, стоявший в первом ряду, подошел к нему потихоньку, как бы крадучись, и что-то сказал ему так тихо, что никто не расслышал. Но, только что он это сделал, император, все еще не поднимая глаз и не двигаясь, отчеканил громовым голосом: «А вам какое дело? De quoi vous melez-vous?» И оробелый маршал, патриарх военной славы, победитель Суворова, «возлюбленный сын Победы», вернулся на свое место, почтительно пятясь. А Наполеон продолжал стоять, не двигаясь. «Наконец, „как бы пробуждаясь от сна“, поднял голову, разнял скрещенные руки, обвел всех испытующим взором, повернулся молча и пошел назад в игорную залу. Здесь, проходя мимо императрицы, сказал ей сухо: „Пойдемте!“ — и вошел с ней во внутренние покои».

«Все это я вижу, как сейчас, — но до сих пор не могу понять, что это было», — заключает Тьебо. Сцена эта кажется ему недостойным «шутовством, jonglerie». «Никогда я не чувствовал себя таким оскорбленным; деспот в Наполеоне никогда не являлся мне с большим бесстыдством и наглостью».[427]

Бедный Тьебо так оскорблен, что забыл другое свое впечатление от Наполеона: «Я ни с чем не могу сравнить чувства, испытанного мною, в присутствии колоссального существа». Если

бы вспомнил, то, может быть, понял бы, что и в компьенской сцене Наполеон не был ни «шутом», ни «деспотом». Из-за чего же «оскорбление»? Со стороны Наполеона оно, во всяком случае, невольное; никого не хочет он оскорблять, уже потому, что никого в такие минуты не видит: люди для него перестают существовать, исчезают, как тени. Но этим-то, кажется, они и оскорбляются.

Недоумение Тьебо — наше недоумение: что же, в самом деле, значит эта «летаргическая задумчивость», как бы летаргический сон? Видит, слышит, бодрствует, действует, как никто, — но все это извне, а внутри — спит, вечный сновидец, лунатик своего ночного солнца — Рока; идет по самому краю пропасти, — только проснется, — упадет; но не проснется до последнего шага в пропасть.

Спит, и сердце чуть бьется, как в летаргическом сне. «Мне кажется, что сердце у меня не бьется: я его никогда не чувствовал».[428] — «У меня точно вовсе нет сердца».[429]

Спит наяву — бодрствует во сне. Сон переплетается с явью, сон входит в явь, не только метафизически, внутренне, но и внешне, физически.

24 декабря 1800 года, едучи в карете в Оперу, спит и видит во сне, будто бы тонет в итальянской речке, Тальяменто; просыпается от взрыва адской машины, на волосок от смерти.

Спит и на полях сражений, «во время самого боя, — далеко за чертой огня». Это даже входит у него в привычку: «Я привык спать на поле сражения».[430] Спит, убаюканный громами пушек, как дитя в колыбели. В самые роковые минуты, все решающие, вдруг засыпает, точно уходит куда-то, за чем-то.

Перед самым Аустерлицем так глубоко заснул, что «его с трудом разбудили».[431] В самом пылу сражения под Ваграмом, когда все решается, велит разостлать на голой земле медвежью шкуру, ложится на нее и засыпает глубоко; спит минут двадцать; проснувшись, продолжает отдавать распоряжения, как будто не спал вовсе.[432] Во время страшной эвакуации Лейпцига, когда рушится весь фронт, — спит спокойно в кресле два часа; только взрыв моста на Эльстере, которым отступление отрезано и армия погублена, разбудил спящего.

Это на войне — это и в мире. Любит работать, вставая с постели, между двумя снами. Кажется, гений Наполеона — ясновидение — и есть этот узкий перешеек бодрствования между двумя пучинами снов.

«Что же подумать о Наполеоновом сне, длящемся от Вандемьера до Ватерлоо?» — спрашивает Леон Блуа. «Он проснулся только пред лицом Божьим». — «Величайшие несчастья

и даже падение не могли его разбудить до конца. На Св. Елене он продолжает свой сон».[433] И умирает во сне или просыпается в смерть.

«Он спросил меня, какой род смерти я считаю самым легким, и заметил, что, кажется, смерть от замерзанья лучшая из всех, потому что, замерзая, умираешь во сне, si muore dormendo», — вспоминает доктор О'Меара свою беседу с Наполеоном на Св. Елене.[434] Так во сне умер и он, замерзая от леденящего дыхания Рока.

И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн;
И две беспредельно были во мне,—
И мной своевольно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистели и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен;
Над хаосом звуков носился мой сон.

Сон на море — на «водах многих». — «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, и племена, и языки», — говорит Ангел Апокалипсиса. Многие воды Запада — Атлантика, где погибла «Атлантида», зашло солнце первого человечества и солнце последнего «человека из Атлантиды» — Наполеона.

Над хаосом звуков носился мой сон,
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир,
Земля зеленела, светился эфир…

Светом более ярким, чем наш, светится эфир; земля зеленеет зеленью более свежею — юностью первого мира, допотопного.

Сады, лабиринты, чертоги, столпы…
Древних атлантов титаническое зодчество.
И чудился шорох несметной толпы…
Я много узнал мне неведомых лиц…
Лица иного человечества.
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц…
Иного творенья тварь.
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял…

Сквозь грезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской…

Существо Атлантиды — магия, и существо Наполеона тоже: он сам вызывает видения сна своего. Это сон всего человечества — начало и конец всемирной истории: Атлантида — Апокалипсис. Вот почему, как великий маг, волшебник, создает он свой сон.

И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.[435]

Войны, победы, величье, паденье, легкими клочьями пены, врываются в сон.

Сон его — пророческий. «У него был род магнетического предвидения своих будущих судеб, une sorte de prévision magnétique de ses futures destinées».[436] «У меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает».[437] Люди слепы на будущее, — он зряч: знает — помнит его, как прошлое. «Зрение есть среднепропорциональное между осязанием и предчувствием», — определяет он эти смутные предчувствия, со свойственной уму его математической точностью. — «Рука говорит глазу: как ты можешь видеть за две версты, когда я не могу нащупать за два шага? Глаз говорит предчувствию: как ты можешь видеть в будущем, когда я не могу видеть за две версты?»[438]

В самую счастливую минуту жизни, в 1800 году, после Маренго, он говорит: «Со мной ничего не случалось, чего бы я не предвидел, и я один не удивлялся тому, что я сделал. Я угадываю все и в будущем и достигну моей цели».[439] Если цель его — мировое владычество, то он ее не достиг. Путь ясен — цель темна; знает, что и как сделает, но не знает зачем. «Я чувствую, как что-то толкает меня к цели, которой я и сам не знаю. Je me sens poussé vers un but que je ne connais pas».[440] «Как не поверить в своего рода предназначенье, видя, что часто самые благоприятные последствия происходят для него из событий, которые сначала как будто мешают ему и удаляют от цели. Не похож ли он на человека, которого неодолимая сила ведет, как слепого, за руку?»[441] Слепой — ясновидящий:

Свершитель роковой безвестного веленья.

Перед Ватерлоо, ранним утром, на берегу реки Замбр,

Наполеон, в сопровождении одного только дежурного генерал-адъютанта, подошел к бивуачному костру, на котором варился картофель в котле; велел себе подать его и начал задумчиво есть. Кончил, произнес, не без видимой грусти, несколько отрывистых слов: «Это недурно… с этим можно прожить везде и всегда… может быть, уже близок час… Фемистокл…» «Генерал-адъютант, от которого я это слышал, — вспоминает Лас Каз, — говорил мне, что, если бы император победил под Ватерлоо, эти слова исчезли бы из памяти его, как столько других, не оставив в ней никакого следа; но, после катастрофы и, особенно, после того, как прочел слово „Фемистокл“ в знаменитом письме Наполеона к английскому принцу-регенту, он был поражен воспоминанием о Замбровском бивуаке, и выражение лица, поза, голос императора долго мучили его и все не могли изгладиться из памяти».[442]

«Ваше королевское высочество, я прихожу к вам, чтобы сесть, как Фемистокл, у очага британского народа. Я отдаюсь под защиту его законов, которой прошу у вашего королевского высочества, как самого могущественного, постоянного и великодушного из моих врагов», — писал Наполеон из Рошфора английскому принцу-регенту.[443]

Значит, накануне Ватерлоо знал, что сделает в Рошфоре.

Это, впрочем, не так удивительно, удивительнее то, что знал это за двадцать восемь лет. Около 1787 года семнадцатилетний Бонапарт начинает писать в своих ученических тетрадях повесть в письмах об австрийском авантюристе, бароне Нейгофе, объявившем себя в 1737 году корсиканским королем под именем Феодора I, арестованном англичанами, посаженном в лондонский Тауэр и через много лет освобожденном лордом Вальполем. «Несправедливые люди. Я хотел осчастливить мой народ, и это мне удалось на одно мгновение; но судьба изменила мне, я в тюрьме, и вы меня презираете», — пишет Феодор Вальполю, и тот отвечает ему: «Вы страдаете, вы несчастны: этого довольно, чтобы иметь право на сострадание англичан». — «Дорого я заплатил за мое романтическое и рыцарское мнение о вас, господа англичане!» — как будто кончает Наполеон на Св. Елене неконченную повесть о корсиканском самозванце и английском узнике.[444]

В тех же ученических тетрадях, делая выписки из «Современной Географии», «Géographie Moderne», аббата Лакруа, старинного учебника, об английских владениях в Африке, он пишет своим тогдашним, слитным и тонким, точно женским, почерком четыре слова:

Ste Hélène, petite isle…

Св. Елена, маленький остров…

Дальше пустая страница: начал писать и не кончил, как будто руку его остановил кто-то.[445]

«Вы фаталист?» — «Ну разумеется. Так же, как турки. Я был всегда фаталистом. Если чего-нибудь хочет судьба, надо ее слушаться». — «Судьба неотвратима. Надо слушаться своей звезды».[446] И умирающий, он отказывается принимать лекарства. «Что на небе написано, — написано… Наши дни сочтены», — говорит, глядя на небо.[447]

Вещее знаменье неба на земле повторяется,
Вещее знаменье земли повторяется на небе,
эту древневавилонскую клинопись он понял бы.

Фатализм, религия звездных судеб, нынешний Восток получил от древнего — от Вавилона, а тот — от еще более глубокой, неисследимой для нас, может быть доисторической, древности, которую миф Платона называет «Атлантидой», а книга Бытия — первым допотопным человечеством. Звездною связью связан Наполеон с этой древностью. Можно бы сказать и о нем, последнем герое человечества, то же, что сказано о первом — Гильгамеше:

Весть нам принес о веках допотопных.

«Человек рока, l'homme du destin», — назвал его, после Маренго, австрийский фельдмаршал Мелас. Это одно из тех глубоких общих мест, которые становятся общей мудростью.

На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук,
и это имя: «человек рока».

Рок для него не отвлеченная идея, а живое существо, которое влияет на чужую мысль, чувство, слово, дело его, на каждое биение сердца. Он живет в роке, как мы живем в пространстве и времени.

Тотчас после взрыва адской машины на Никезской улице Первый Консул входит в Оперу и на рукоплескания двухтысячной толпы, еще не знающей о покушении, раскланивается с такой спокойной улыбкой, что никто не догадывается по лицу его, что

за несколько минут он был на волосок от смерти.[448] Это не бесстрашие в нашем человеческом смысле, не победа над страхом, а невозможность испытывать страх. Он знает, что судьба несет его на руках, как мать несет ребенка. «Ангелам Своим заповедает о себе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Это он знает, или что-то похожее на это, но еще не знает, что это может сделаться искушением дьявола: «если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз».

Ангелы судьбы или дьяволы случая несут его до времени: и вся его тогдашняя жизнь — непрерывное чудо полета. «Как я был счастлив тогда, — вспоминает он первую Итальянскую кампанию. — Я уже предчувствовал, чем могу сделаться. Мир подо мной убегал, как будто я летел по воздуху».[449]

Чудо полета продолжается до Русской кампании. «Вы боитесь, что меня убьют на войне? — говорит он накануне ее. — Так же пугали меня Жоржем во время заговоров.[450] Этот негодяй будто бы всюду ходит за мной по пятам и хочет меня застрелить. Но самое большее, что он мог сделать, это убить моего адъютанта. А меня убить было тогда невозможно. Разве я исполнил волю судьбы? Я чувствую, как что-то толкает меня к цели, которой я и сам не знаю. Только что я достигну ее и буду бесполезен, атома будет довольно, чтобы меня уничтожить; но до того все человеческие усилия ничего со мной не сделают, — все равно, в Париже или в армии. Когда же наступит мой час, — лихорадка, падение с лошади, во время охоты, убьет меня не хуже, чем людей снаряд: наши дни на небесах написаны».[451]

В это же время, перед Русской кампанией, когда дядя его, кардинал Феш, горячо спорил с ним о церковных делах, убеждая не восставать на Бога, довольно-де ему и людей, — Наполеон слушал его молча; потом вдруг взял его за руку, подвел к двери, открыл ее и вывел на балкон. Был зимний день, сквозь голые деревья Фонтенблоского парка бледно голубело декабрьское небо. «Посмотрите на небо. Что вы там видите?» — сказал Наполеон. «Ничего не вижу, государь», — ответил Феш. «Хорошенько смотрите. Видите?» — «Нет, не вижу». — «Ну так молчите и слушайтесь меня. Я вижу мою Звезду: она меня ведет!»[452]

Феш так и не понял, что великая звезда Наполеона — солнце.

Если в жизни его была такая минута, когда он вдруг почувствовал, что несущие руки уходят из-под него, — надо искать ее в самом зените его, в высшей точке полета. Накануне Аустерлица, когда он уже знал, что завтрашнее солнце «взойдет, лучезарное», — заговорив о древнегреческой трагедии, он сказал: «В наши дни, когда языческой религии уже не существует, для

трагедии нужна другая движущая сила. Политика, вот ее великая пружина, вот что должно заменить в ней древний рок».[453] Чтобы заменить рок волей человеческой — политикой, надо человеку восстать на рок. Только Наполеон это подумал, как началось его падение: рок возносил его покорного, восставшего — низверг.

Кажется, впервые он ясно почувствовал, что уже не летит, а падает, перед самым началом Русской кампании. «Целыми часами, лежа на софе, он погружен был в глубокую задумчивость; вдруг вскакивал с криком: „Кто меня зовет?“ — и начинал ходить по комнате взад и вперед, бормоча: „Нет, рано еще, не готово… надо отложить года на три…“»[454] Но знал, что не отложит — начнет, увлекаемый Роком.

«Я потерпел неудачу в Русской кампании. Что же меня уничтожило… Люди… Нет, роковые случайности… Я не хотел войны, и Александр тоже; но мы встретились, обстоятельства толкнули нас друг на друга, и рок довершил остальное». Это он говорит на Св. Елене и «после нескольких минут глубокого молчания, как бы просыпаясь», говорит уже о пустяках — об измене Бернадотта — главной будто бы причине его, Наполеоновой, гибели. Зряч во сне — слеп наяву.[455]

От Москвы до Лейпцига все яснее чувствует измену судьбы. «Мука моя была в том, что я предвидел исход; звезда моя бледнела, вожжи ускользали из рук, и я ничего не мог сделать».[456] Как бы в летаргическом сне, все видит, слышит, знает — и не может очнуться.

«Он так был изношен, так устал (под Лейпцигом), что, когда приходили к нему за приказаниями, он часто, откинувшись назад в кресле и положив ноги на стол, только посвистывал».[457] Но, может быть, не «изношен», а занят чем-то другим, о другом задумался, отяжелел иной тяжестью, прислушивался к иным голосам рока: «Кто меня зовет?» Только теперь, через двадцать семь лет, дописывал ту пустую страницу, которую начал словами: «Св. Елена, маленький остров».

«Чудесное в моей судьбе пошло на убыль. Это уже было не прежнее, неизменное счастье, осыпавшее меня своими дарами, а строгая судьба, у которой я вырывал их как бы насильно, и которая мне тотчас же мстила за них. Я прошел Францию (вернувшись с Эльбы); я был внесен в столицу на плечах граждан, при общем восторге, но только что я вступил в нее, как, словно по какому-то волшебству, все от меня отшатнулось, охладело ко мне». Истощилась магия — магнит размагнитился.

«Наконец я побеждаю под Ватерлоо, и в ту же минуту падаю в бездну. И все эти удары, я должен сказать, больше убили меня, чем удивили. Инстинкт подсказывал мне, что исход будет

несчастным, не то чтобы это влияло на мои решения и действия, но у меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает».[458] «Со мной никогда ничего не случалось, чего бы я не предвидел». Все предвидит, потому что он сам этот «волшебник», который вызывает видения сна своего:

Сквозь грозы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской.

«Мне надо было умереть под Ватерлоо, — говорит он на Св. Елене, с совершенною ясностью, как бы даже „веселостью“. — Но горе в том, что, когда ищешь смерти, — ее не находишь. Рядом со мной, впереди, позади, — всюду падали люди, а для меня ни одного ядра».[459]

«Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится». Эта неуязвимость, некогда благословенная, теперь становится проклятою.

Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могучему дан.

«Я полагаю, что обязан моей звезде тем, что попал в руки англичан и Гудсона Лоу».[460] Вот куда вел его «незримый хранитель».

«Страшная палица, которую он один мог поднять, опустилась на его же голову».[461] И он как будто знал — помнил всегда, что так будет, и даже странно сказать, как будто этого сам хотел. О, конечно, хотел не хотя, как человек, глядящий в пропасть, хочет броситься в нее!

«Когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтобы она пронеслась, и горе тому, кто попадет под ее колеса!»[462] Он сам под них попал. Понял ли тогда.

Круговращение великих колес,
Движущих каждое семя к цели его,
По воле сопутственных звезд.[463]

Глядя на звездное небо с южным созвездием Креста, понял ли, куда и в какой колеснице несется?

Жертву венчают и связывают, чтобы вести на закланье? Понял ли он, что Рок увенчал и связал его, как жертву?

«Я никогда не был господином моих собственных движений; я

никогда не был по настоящему самим собою… Мною всегда управляли обстоятельства, и это до такой степени, что, при начале моего возвышения, во времена Консульства, когда ближайшие друзья мои, самые горячие сторонники, спрашивали меня с наилучшими намерениями, для того, чтобы знать, что им делать: чего я хочу, куда иду, — я каждый раз отвечал им, что этого я и сам не знаю. Они удивлялись и, может быть, досадовали, а между тем я говорил им правду… И потом, во времена Империи, я читал на лицах тот же безмолвный вопрос, и мог бы на него ответить то же. Дело в том, что я не был господином моих действий, потому что не был так безрассуден, чтобы гнуть обстоятельства, и это часто давало мне вид непостоянства, непоследовательности, в чем меня и упрекали. Но разве это справедливо?»[464]

«Чего я хочу, куда я иду, — я этого и сам не знаю». Вот странное признание в устах Наполеона, умнейшего из людей. Как будто повторяет он вечное слово Гете о нем: «Наполеон весь жил в идее, но не мог ее уловить своим сознанием». — «Это выше моего разумения, cela me passe!» — как сказал он после покушения Фрид-Штапса. Не похож ли он на человека, которого неодолимая сила ведет, как слепого, за руку?

А вот признание еще более странное: «У меня нет воли. Чем больше человек, тем меньше ему надо иметь воли: он весь зависит от событий и обстоятельств. Plus on est grand, et moins on doit avoir de volenté».[465] Наполеон, человек бесконечной воли — без воли. Величие горя — свое величие — он измеряет отречением от воли. Мнимый владыка мира — настоящий раб. «Я говорю вам: нет больше раба, чем я: моя неумолимая владычица — природа вещей». Просто смиренно он говорит: «природа вещей», «обстоятельства», — чтобы не употреблять всуе святое и страшное слово: Рок.

Отречение, смирение, покорность, жертвенность — все это ему, казалось бы, столь чуждое, на самом деле, родственно. «Не моя, а Твоя да будет воля», — этого он сказать не может, как сын — Отцу, потому что не знает ни Отца, ни Сына; но, кажется, в смирении перед неведомым Божеством с покрытым лицом, упала на него тень Сына.

«Человек, упоенный Богом», — сказал кто-то о Спинозе; о Наполеоне можно бы сказать: «Человек, упоенный Роком».

«Бог мне дал ее; горе тому, кто к ней прикоснется! Dieu me l'a donnée; gare à qui la touche!» — воскликнул он, венчаясь в Милане железной короной ломбардских королей. Бога вспомнил для других, а про себя мог бы сказать: «Мне дал ее Рок!»

Вот отчего на лице его такая грусть, или то, что глубже

всякой человеческой грусти, — нечеловеческая задумчивость: это запечатленность Роком, обреченность Року.

«Когда я в первый раз увидел Бонапарта в мрачных покоях Тюльерийского дворца, — вспоминает Редерер, — я сказал ему: как грустно здесь, генерал!» — «Да, грустно, как величие!» — ответил он.[466] «Есть у него всегда, даже на войне, в воззваниях к войску, что-то меланхолическое».[467] В самом пылу действия не покидает его ничем не утолимая, не заглушаемая грусть или задумчивость.

«В минуты откровенности он признавался, что был грустен, без всякого сравнения со всеми своими товарищами, во всех житейских положениях».[468] — «Я не создан для удовольствия», — говорил он меланхолическим тоном.[469]

— «Люди мне надоели, почести наскучили, сердце иссохло, слава кажется пресной. В двадцать девять лет я все истощил», — пишет он в самое счастливое время своей жизни — время Египетской кампании. Это уже «мировая скорбь». Кажется, он первый приоткрыл эту дверь в кромешную ночь, и стужа междупланетных пространств ворвалась в комнату.

Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя.
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока,
Под знойным солнцем бытия.[470]

Наполеон улыбается или хохочет, но никогда не смеется.[471] «Кто заглянул в пророческую бездну Трофония, уже никогда не будет смеяться», — думали древние.

«Всегда один среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собою и предаваться меланхолии. О чем же я буду мечтать сегодня? О смерти», — пишет в своем дневнике семнадцатилетний артиллерийский подпоручик Бонапарт, в бедной комнатке Оксонских казарм. И на высоте величия император Наполеон носит на груди ладанку с ядом. Мысль о самоубийстве сопровождала его всю жизнь, хотя он и знал — «помнил», что себя не убьет. И не от каких-либо внешних несчастий приходит ему эта мысль, а оттого, что он устает спать «летаргическим сном» жизни и хочет наконец проснуться, хотя бы в смерть.

«Бури ищет всегда твой беспокойный дух, — говорит ему Жозефина. — Сильный в желаниях, слабый в счастье, ты, кажется, только себя одного никогда не победишь».[472]

Зачем ты обрек Гильгамеша покоя не знать,
Дал ему сердце немирное,—

жалуется Богу мать богатыря. И Наполеон, как Гильгамеш, — «друг печали».

От тебя даже жизни ищу я;
Для него прохожу через степи,
Через моря, через реки,
Через горные дебри.
Беды, муки меня изнурили,
Исказили мой образ прекрасный,—

мог бы он повторить древневавилонскую молитву к богине Иштаре. И доныне путь Гильгамеша-Наполеона не кончен: вечно скорбящий, стенающий, как бы гонимый неведомой силой, все идет и идет он, остановиться не может, подобно Агасферу и Каину. Путь его — путь всего человечества.

Он движется не по своей воле: кто-то бросил его, как бросают камень. «Я обломок скалы, брошенной в пространство. Je suis une parcelle du rocher lancée dans l'espace».[473] Только продолжает на земле бесконечную параболу, начатую где-то там, откуда брошен, и нашу земную сферу пролетает как метеор.

8 августа 1769 года, за семь дней до рождения Наполеона, появилась комета, которую астроном Миссиэ наблюдал с Парижской обсерватории. Хвост ее, блестевший чудным блеском, достиг в сентябре 60 градусов длины и постепенно приближался к солнцу, пока наконец не исчез в лучах его, как бы сама комета сделалась солнцем — великой звездой Наполеона.

А в первых числах февраля 1821 года, за три месяца до смерти его, появилась над Св. Еленою другая комета. «Ее видели в Париже 11 января», — пишет астроном Фей (Payе). «В феврале сделалась она видимой простому глазу, и хвост ее достигал 7 градусов. Ее наблюдали по всей Европе, а с 21 апреля по 5 мая и в Вальпарайзо». Значит, в обеих гемисферах небес, по всей Атлантике, последнему пути Наполеона.

«Слуги его уверяют, будто бы видели комету на востоке, — записывает, в дневнике своем, доктор Антоммарки 2 апреля 1821 года. — Я вошел к нему в ту минуту, когда он был встревожен этим известием. „Комета, — воскликнул он в волнении. — Комета возвестила смерть Цезаря… И возвещает мою…“»[474] — «5 мая (день смерти Наполеона), — сообщает тот же астроном Фей, — можно было с острова Св. Елены видеть в телескоп, как эта

комета, постепенно удаляясь от земли, исчезла в пространстве». [475]

«Несчастный! Я его жалею, — писал никому еще не известный артиллерийский подпоручик Бонапарт в 1791 году о гениальном человеке — о самом себе. — Он будет удивлением и завистью себе подобных и самым жалким из них, le plus misérable de tous… Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век».[476]

Сгорать, умирать, быть жертвою — таков удел его, — это он знает уже в начале жизни и еще лучше узнает в конце, на Св. Елене, под созвездием Креста: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на Кресте». Но знание это темно для него, как солнце слепых: свет солнца не видят они, только теплоту его чувствуют, — так и он.

Богу солнца Молоху, приносил он жертву на острове Горгоне, а на Св. Елене приносится в жертву сам — кому — этого он не знает; но думает, — Року.

В солнце померкла звезда его. Что это за солнце, он тоже не знает и тоже думает, — Рок.

Роком называли древние то, что мы называем «законом природы», «необходимостью». Существо обоих — смерть, уничтожение личности, ибо закон природы так же безличен, как рок. Надо было выбрать жизнь или смерть, кроткое иго Сына или железное — Рока. Мы выбрали последнее, и падаем жертвами его, так же как наш герой. Наполеон самый великий из нас и «самый жалкий».

Кажется, вещий сон его подобен сну Иакова. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолеет его, сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Иаков борется с Богом, а Наполеон — с Сыном Божьим. Борется с Ним Наполеон-Человек, так же как все отступившее от Христа человечество.

«Удалось ли христианство?» — нечестивый вопрос. Надо бы спросить: удалось ли наше европейское христианство? Спасется ли оно со Христом или без Него погибнет, как вторая Атлантида? Этот вопрос и задал нам «человек из Атлантиды» — Наполеон.

Он последний герой Запада.
Придя на запад солнца,
увидев свет вечерний,
поем Отца, Сына и Духа, Бога! —

пели христиане первых веков. Мы уже никому не поем, глядя

на вечерний свет Запада, окружающий нашего последнего героя сиянием славы. Свет вечерний — за ним: вот почему лицо его так темно, невидимо, неизвестно для нас, и, по мере того как свет потухает, все темнее, все неизвестнее. Но, может быть, недаром оно обращено к Востоку: первым лучом озарит его восходящее солнце Сына, и мы тогда увидим, узнаем его.

Да, только узнав, что такое Сын Человеческий, люди узнают, что такое Наполеон-Человек.

ТОМ ВТОРОЙ
«ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА»

Жизнь Наполеона
подобна дневному течению солнца.
1769–1795
От рождения до Вандемьера — утренние сумерки.
1795–1799
От Вандемьера до Брюмера — восходящее солнце.
1799–1807
От Брюмера до Тильзита — полдень.
1807–1812
От Тильзита до Москвы — вечер.
1812–1815
От Москвы до Ватерлоо — закат.
1815–1821
От Ватерлоо до смерти — ночь.

УТРЕННИЕ СУМЕРКИ

I. ДЕТСТВО. 1769–1779

«Генеалогические изыскания о роде Бонапартов не что иное, как ребячество. Очень легко ответить на вопрос, откуда этот род начался: от 18 Брюмера. Можно ли иметь так мало чувства приличия и уважения к императору, чтобы придавать какую-либо важность о предках его? Солдат, гражданин, государь, он всем обязан своей шпаге и любви к нему народа». Эта внушенная, вероятно, самим Наполеоном заметка появилась в «Мониторе», Правительственном Вестнике 25 Мессидора, 14 июля 1805 года, полгода спустя после коронования. «Вот как должен говорить великий человек!» — воскликнула, по этому поводу, одна из его умных поклонниц.[477] «Я никогда не заглядывал ни в один из моих родословных пергаментов; они всегда находились в руках брата Иосифа, нашего семейного генеалога», — говаривал сам император, смеясь.[478] — «Я один из тех людей, которые

> Все сами по себе, по предкам же ничто».
> Qui sont tout par eux-mêmes et rien par leurs aïeux.[479]

Буона-Парте (Buona-Parte) — очень старый и благородный тосканский род из Тревизо и Флоренции, чье родословное древо возводят, может быть, слишком усердные генеалоги до начала X века. Один из Буона-Парте участвовал будто бы в первом Крестовом походе. Во второй половине XIII века флорентийский патриций, Гульельмо Буонапарте, принимавший участие в борьбе Гвельфов и Гибеллинов, объявлен был мятежником и навсегда изгнан из Флорентийской республики. Он переселился в Сарцану, захолустный городок Генуэзской республики, где изгнанный род, в течение двух с половиной веков, влачил довольно жалкое существование, занимая должности синдиков, нотариев и членов Совета старейшин. Наконец в 1529 году последний отпрыск сарцанской ветви Буонапарте, Франческо, переселился на Корсику, в Айяччио. Здесь, продолжая сохранять именитое звание флорентийских патрициев, но захудав окончательно, жили потомки этого рода, по дворянскому обычаю, праздно, благородно и скаредно, на скудные доходы с небольших участков земли, оливковых рощ, виноградников да овечьих и козьих стад.

Наполеон, по своей наследственности, — запоздавший кондотьер XV века, вроде Малатесты, Сфорца, Коллеоне, —

«гениальный разбойник»: эта гипотеза Тэна — доныне общее место.[480] Но ни одного кондотьера в роду Буонапарте не было; был зато «блаженный» отец Бонавентура.[481] Стоит вспомнить о нем, чтобы тэновская гипотеза пала: почему, в самом деле, кровь несуществующего «разбойника» в жилах Наполеона оказалась сильнее, чем кровь действительного святого?

Шарль Бонапарт, младший потомок рода, отец Наполеона, был красавец, стройный, очень высокого роста, «настоящий Мюрат», вспоминает впоследствии вдова его;[482] совершенный кавалер, дамский любезник, весельчак, итальянский краснобай-адвокат; вольтерьянец, сочинитель вольнодумных стишков и мадригалов; ловкий ходок по судебным делам, неугомонный и настойчивый проситель, обиватель порогов у сильных мира сего; человек неглупый, но слабый и легкомысленный; «слишком большой друг удовольствий, чтобы думать о детях своих», по отзыву Наполеона;[483] сам полудитя, баловник и заступник их перед строгою матерью.

Изучив правоведение в Пизанском университете, он получил место асессора во французском Королевском суде в Айяччио.

Кажется, Наполеон ничего от отца не унаследовал, кроме фамильного имени, красивого овала лица, голубовато-серого цвета глаз и страшного недуга — рака в желудке. Вот еще один убийственный удар по кондотьеровской гипотезе Тэна: для Наполеона не имеет почти никакого значения Бонапартова наследственность: сын в мать, а не в отца.

В 1764 году Шарль посватался за дочь айяччского главного инспектора путей сообщения Марию-Летицию Рамолино, из рода Пьетра-Санта, тоже захудалого, но очень древнего, происходившего будто бы от владетельных князей Ломбардии. Жениху было восемнадцать лет, а невесте четырнадцать: бедные корсиканские дворяне торопились сбывать дочерей с рук, чтобы избавиться от лишней обузы в доме.

Синьора Летиция славилась красотой даже на Корсике, где красавиц множество. Сохранился ее портрет в молодости.[484] Прелесть этого лица, с таинственно-нежной и строгой улыбкой, напоминает Мону Лизу Джиоконду, или родственных ей, так же, как она, улыбающихся этрусских богинь, чьи изваяния находятся в незапамятно древних могилах Тосканы — Этрурии. Как будто из той же темной древности светит нам и эта улыбка второй Джиоконды, этрусской Сибиллы, — Наполеоновой матери.

> Antiquam exquirite matrem.
> Матери древней ищите.

«Род человеческий обладает двумя великими добродетелями, которые следует уважать бесконечно: мужеством мужчин и целомудрием женщин», — говорит Наполеон, думая, конечно, о своей матери.[485] Знает, что мужественный рождается от целомудренной.

«Сельская Корнелия, Cornelie rustique», — назвал ее корсиканский герой, Паоли. До конца своих дней мать императора, как все даже знатные женщины Корсики, мало чем отличалась от простой поселянки. Грамота, письмо да первые правила арифметики — вот все, что она знала. Даже говорить по-французски не научилась как следует: коверкала слова грубо и смешно, на итальянский лад. На пышных тюльерийских выходах являлась в простом, почти бедном, платье: бережлива была до скупости. «Люди говорят, что я скаредна, vilaine; пусть говорят… Может быть, когда-нибудь дети мои будут мне благодарны, что я для них берегла». Все копила — coumoulait, на черный день, а когда он пришел, готова была для Наполеона продать все до последней рубашки.

«Моя превосходная мать — женщина с умом и сердцем, — говаривал он. — Нрав у нее мужественный, гордый и благородный. Ей обязан я всем моим счастьем, всем, что сделал доброго… Я убежден, что все добро и зло в человеке зависит от матери».[486]

Мать знала, кто ее сын. «Вы чудо, вы феномен, вы то, чего и сказать нельзя!» — говорила ему в глаза простодушно. — «Синьора Летиция, вы мне льстите, как все!» — «Я вам льщу? Нет, сын мой, вы несправедливы к вашей матери. Мать сыну не льстит. Вы знаете, государь: я оказываю вам всяческое уважение на людях, потому что я ваша подданная, но наедине я ваша мать, а вы мой сын. Когда вы говорите: „хочу“, я говорю: „не хочу“, потому что у меня тоже гордый характер».[487]

Умирая, он вспоминал «уроки гордости, которые получил в детстве от матери и сохранил на всю жизнь».[488] Когда во время террора на Корсике, в 1793 году, ей предлагали изменить побежденным друзьям, чтобы спасти свое имущество, а может быть, и жизнь свою и детей своих, она ответила, как настоящая Корнелия, мать Гракхов: «У меня и у моих детей не две веры, а одна: долг и честь!»[489] «Вы ко мне очень привязаны, — говорил Наполеон доктору Антоммарки незадолго до смерти. — Вы себя не жалеете, чтобы облегчить мои страдания. А все же это не ласка матери. Ах, мама Летиция, мама Летиция!..» И он закрывал лицо руками.[490]

За год до рождения Наполеона вспыхнуло на Корсике восстание против французов, которым продали остров генуэзцы,

его вековые угнетатели. Старый корсиканский Батько, Babbo, Пасквале Паоли, сделался вождем повстанцев. Шарль Бонапарт присоединился к нему. Восемнадцатилетняя синьора Летиция, беременная по шестому месяцу вторым сыном Наполеоном, — первым был Иосиф, — сопровождала мужа в этой трудной и опасной войне. «Потери, лишения, усталость — все перенесла она, шла на все. Это была голова мужчины на теле женщины», — вспоминает Наполеон.[491]

В диких горах и дремучих лесах, то верхом, то пешком, карабкаясь на кручи скал, пробираясь сквозь чащи колючих кустов — корсиканских «маки», переходя через реки вброд, слыша над собой свист пуль, неся одного ребенка на руках, а другого под сердцем, она ничего не боялась.

Однажды едва не утонула в реке Лиамоне. Брод был глубокий; лошадь потеряла дно под ногами и поплыла, уносимая быстрым течением. Спутники Летиции перепугались, бросились за нею вплавь и закричали ей, чтобы она тоже кинулась в воду, — спасут. Но бесстрашная всадница укрепилась в седле и так хорошо управилась с лошадью, что благополучно добралась до берега. Вот когда, может быть, уже передавала Наполеону свое чудесное мужество — крепость Святого Камня, Pietra-Santa.

Ничего не боялась за него; носила младенца под сердцем так же спокойно и радостно, как потом на руках: посвятила его Пречистой Деве Марии и знала, что Она его сохранит.

В день последнего поражения корсиканских патриотов под Понте-Ново, синьора Летиция почувствовала, что дитя нетерпеливо шевелится, «играет во чреве ея», «как будто уже хотело воевать, прежде чем родилось».[492]

Война была слишком неравная: французы нагнали на Корсику множество войск. После окончательного разгрома повстанцев и бегства Паоли Шарль Бонапарт понял, что это «война глиняного горшка с чугунным котлом», решил покориться французам и, получив от них охранную грамоту, вернулся с женою в Айяччио.

15 августа 1769 года, в Успеньев день, идучи в церковь, Летиция почувствовала такие сильные боли, что должна была вернуться домой, кое-как добралась до спальни, но не успела лечь в постель, повалилась на неудобное, узенькое, жесткое, с прямою спинкой, канапе и легко разрешилась от бремени сыном, Наполеоном.

Молока у матери не было. Наняли кормилицу, жену айяччского лодочника, Камиллу Илари. Она полюбила Наполеона больше, чем родного сына. Сохранил и он о ней на всю жизнь благодарную память.

На Св. Елене, незадолго до смерти, вспоминал он свои детские годы на Корсике: как отважно карабкался по кручам скал, над пропастями, заходил в глубокие долины, тесные ущелья; как всюду встречаем был с гостеприимством, почетным и радостным, когда посещал своих родных, чьи лютые распри и кровавая месть доходили до седьмого колена. «Там лучше все, чем где бы то ни было в мире… Я бы и с закрытыми глазами узнал родную землю по одному запаху. Больше я нигде его не находил».[493]

Дух Земли вошел в него с этим запахом и вышел только с последним дыханием; то, что мы называем «Наполеоновским гением», и есть этот Дух Земли.

Что такое Корсика? «Мир еще в хаосе, буря гор, разделяющих узкие овраги, где бушуют потоки; ни одной равнины, — только исполинские волны гранита или такие же волны земли, поросшие колючим кустарником и высокими лесами каштанов да сосен. Все девственно, дико, пустынно, хотя кое-где и мелькает селение, подобное куче скал на вершине горы. Никакого земледелия, никакого промысла, никакого искусства. Нигде не увидишь куска резного дерева или изваянного камня; ни одного воспоминания о ребяческом или утонченном вкусе предков к милым и прекрасным вещам. Вот что поражает больше всего в этой великолепной и суровой земле: наследственное равнодушие к тому исканию соблазнительных форм, которое называется искусством».[494]

«Островитяне, — говорит Наполеон, — всегда имеют в себе нечто самобытное, благодаря уединению, предохраняющему их от постоянных вторжений и смешений, которым подвергаются жители материков».

«Остров» значит «уединение», а «уединение» значит «сила». Это лучше, чем кто-либо, знает Наполеон.

Точно сама Пречистая Матерь оградила двойною оградою — высью гор и ширью вод Свой возлюбленный Остров от нашей нечисти — «прогресса», «цивилизации». Все дико, девственно, пустынно, невинно, не тронуто, не осквернено человеком; все так, как вышло из рук Творца. Чувства людей чисты и свежи, как родники, бьющие прямо из гранитных толщ. Незапамятная древность — юность мира. Так же блеют овцы, пчелы жужжат, как в те райские дни, когда бога Младенца коза Амалфея кормила молоком, а пчелы Мелиссы — медами горных цветов. То же солнце, то же море, те же скалы: все, как было в первый день творения и будет — в последний.

Вот главная, вечная, единственная учительница Наполеона — Мать-Земля. Учат гордости горы, учит нежности солнце, учит свежести море. А мама Летиция только повторяет и объясняет

уроки.

«Я был шалун, драчун, бедовый мальчишка».[495] Старшего брата, Иосифа, добродушного увальня, он покорил себе, как раба. Маленький «Разбойник», «Рабульоне», царапал, щипал, кусал брата, и, прежде чем тот успевал опомниться, сам же обидчик жаловался на него матери.[496] «Буйство мое укрощала мама Летиция». — «Строгая в нежности, наказывала она и награждала нас с одинаковой справедливостью; зло и добро, нам все зачиталось».[497]

Однажды он заупрямился, не захотел идти в церковь и, только получив от матери пощечину, понял, что хорошие мальчики должны ходить в церковь. В другой раз, когда он просился с нею в гости, а она его не взяла, — уже довольно далеко от дома идучи по крутой тропинке, под гору, она обернулась и увидела, что он идет за нею; подбежала к нему и ударила его по лицу так, что он упал и покатился вниз; кое-как удержался, встал, плача и вытирая глаза кулаками; а мама Летиция, не обращая на него внимания, пошла дальше.[498] Знала, что делает: с меньшею суровостью нельзя было усмирить Разбойника.

«Я был только упрямый и любопытный ребенок», — вспоминает Наполеон.[499] Любопытный и задумчивый. «С самого раннего детства он был необыкновенно задумчив», — говорит Стендаль о своем герое, Жюльене Сореле, двойнике Наполеона.[500]

Буен, резв, а потом вдруг тих и задумчив. Уже остер не по годам. «Я прочел „Новую Элоизу“, когда мне было девять лет, и она вскружила мне голову».[501] В восемь влюбился в семилетнюю школьную подругу свою, Джьякоминетту. Вспоминал потом всю жизнь эту первую и, может быть, лучшую свою любовь. Джьякоминетта была одной из двух возлюбленных, а другой — Математика. Занимался ею так страстно, что жалко было ему мешать: выстроили позади дома дощатую келийку, где проводил он целые дни, погруженный в свои исчисления, а по вечерам выходил из нее, рассеянный, задумчивый, и шел по улице, не замечая, что чулки — кальцетты — сползли у него до самых пят. Уличные дети дразнили его:

Милый друг Джьякоминетты,
Подыми свои кальцетты!

Большею частью он не обращал на них внимания, но иногда вдруг останавливался, как будто проснувшись от глубокого сна, и грозил им палкою, швырял камнями или кидался на них с

кулаками, не справляясь о числе своих противников.[502]

Вот когда уже начал погружаться в свою «летаргическую задумчивость», в свой «магнетический» сон.[503]

В 1777 году Шарль Бонапарт, благодаря покровительству французского губернатора Корсики, графа Марбёфа, избран был депутатом от корсиканского дворянства в Генеральные Штаты Франции, что помогло ему пристроить на королевские пенсии обоих сыновей: Иосифа — в духовную школу в Отене (Autum), а Наполеона — в военную в Бриенне.

15 декабря 1779 года Бонапарт выехал с сыновьями из Айяччио в Марсель, и, через несколько дней благополучного плавания, десятилетний Наполеон впервые ступил на землю Франции, а 1 января принят был с Иосифом в Отенскую школу, где больше трех месяцев учился французскому языку, на котором тогда еще не говорил ни слова. Отец уехал ко двору в Версаль, и чужие люди отвезли Наполеона, в середине мая, в Бриенн.

II. ШКОЛА. 1779–1785

После солнечно-розовых гор и темно-фиолетовым огнем горящих заливов Корсики плоская, тусклая, меловая Шампань казалась ему краем света, царством Киммерийской ночи.

Школьники обступили новичка.

— Как тебя звать?

— Напойоне, — произнес он имя свое по-корсикански.

— Ка-ак?

— Напойоне.

— Да этакого имени и в святцах нет!

— В ваших нет, а в наших есть.

— В турецких, что ли?

— Napollionè, la paille-au-nez! — скаламбурил кто-то, и все подхватили, захохотали, запели хором:

— La-paille-au-nez! La-paille-au-nez! Соломинка-в-носу!

Так это прозвище и осталось за ним.

Если чересчур дразнили, ему хотелось кинуться с кулаками одному на всех, как, бывало, на айяччских мальчишек, но он этого не делал из презренья; отходил молча, стиснув зубы, и, забившись в угол, выглядывал оттуда горящими глазами, как затравленный волчонок. В оливково-смуглом лице его, в тонких, крепко сжатых губах, в огромных печальных глазах было что-то, внушавшее даже самым дерзким шалунам невольный страх: слишком дразнить его, пожалуй, опасно; волчонок бешеный.

Он презирал и ненавидел всех французов — палачей, поработителей Корсики. Может быть, еще хорошенько не

понимал, что это значит, но уже смутно чувствовал. «Корсика дала мне жизнь и, вместе с жизнью, пламенную любовь к отечеству и к вольности», — скажет впоследствии его безумный герой, обитатель островка Горгоны, близ Корсики, свершитель кровавой мести, вендетты, целому народу, Франции, приносящий Богу человеческие жертвы — тела убитых французов.

— Трусы — твои корсиканцы: отдали нам Корсику! — дразнили Наполеона школьники. Он, большею частью, молчал, копил в сердце сокровище ненависти. Но однажды протянув правую руку вперед, красивым и величавым движением древнего оратора, возразил со спокойным достоинством:

— Если бы вас было четверо на одного, не видать бы вам Корсики, как ушей своих; но вас было на одного десятеро!

И все замолчали, поняли, что он говорит правду.[504]

— Ну и напакощу же я когда-нибудь твоим французам, как только смогу! — говорил он Буррьенну, единственному товарищу, с которым немного сблизился. А когда тот начинал его успокаивать, прибавлял: — Ты, впрочем, надо мной никогда не смеешься; ты меня любишь…[505]

Не сказал: «я тебя люблю», был уже точен и скуп на слова.

Однажды воскликнул с пророческим видом:

— Паоли вернется, вернется Паоли, и, если один не разобьет наших цепей, я помогу ему, и, может быть, вдвоем мы освободим Корсику![506]

Школою управляли минимы, монахи францисканского ордена. «Воспитанный среди монахов, я имел случай наблюдать их пороки и распутство» — скажет Наполеон. Слишком доверять ему в этом не следует: обличение монашеских нравов — общее место тогдашних вольнодумцев. Кажется, бриеннские отцы не были так плохи, как их хотели представить, и детям у них жилось недурно. Их хорошо одевали, кормили, обходились с ними ласково. Но учили плохо, а воспитывали еще хуже. Здесь, так же как в других военных школах Франции, укоренился грубый недетский разврат, покрывавшийся благовидным именем «нескромностей», «immodesties». Почему хорошенькие мальчики назывались «нимфами», знали все. К Наполеону, впрочем, это зло не пристало: его охраняла необщительность. Он вышел из школы таким же чистым ребенком, как вошел в нее, и, кажется, сохранил чистоту до позднего, по тому времени, восемнадцатилетнего возраста.

Но от другого зла не спасся. Дух неверия проникал из мира сквозь стены школы. От него не спасли внешние обряды благочестия, уроки катехизиса, молитвы, посты, хождение в церковь, ежемесячные исповеди и причащения. «Я потерял веру в

тринадцать лет», — вспоминает Наполеон.[507] Но и потеряв ее, продолжал слушать в сумерки, в липовых аллеях Бриеннского парка, вечерний колокол, Ave Maria, и полюбил его на всю жизнь; может быть, этот звук напоминал ему потерянное счастье детской веры.

«Я жил отдельно от моих товарищей. Выбрал себе уголок в ограде школы и уходил в него мечтать на воле: мечтать я всегда любил. Когда же товарищи хотели им завладеть, я защищал его изо всех сил. У меня уже был инстинкт, что воля моя должна подчинять себе волю других людей и что мне должно принадлежать то, что мне нравится. В школе меня не любили: нужно время, чтобы заставить себя любить, а у меня, даже когда я ничего не делал, было смутное чувство, что мне нельзя терять времени».[508]

Ничего еще не делал, но уже готовился к чему-то, торопился куда-то, чего-то ждал, на что-то надеялся и мечтал, мечтал до исступления. В серой куколке трепетала волшебная бабочка. «Я был счастлив тогда!» — вспоминает он. Вопреки всем своим, уже недетским, страданиям — тоске по родине, одиночеству, унижениям, оскорблениям — был счастлив, как будто уже предчувствовал свою неимоверную судьбу.

Ректор школы отвел детям под садовые работы довольно большую площадь земли, разделив ее на участки. Наполеон соединил три участка, свой и два уступленных ему соседями, окружил их высоким частоколом и насадил на них деревца; ухаживал за ними в течение двух лет, пока они не разрослись так, что начали давать тень и образовали зеленую келийку, «пустыньку» — «эрмитаж», по-тогдашнему. Это и был его «уголок». Сюда уходил он, так же как некогда в свою дощатую келийку, позади айяччского дома, — мечтать и считать, заниматься математикой, потому что он уже строил свою безумную химеру с математической точностью; уже ледяные кристаллы геометрии преломляли огонь воображения в чудесную радугу.

«Горе тем из нас, кто из любопытства или желания подразнить его осмеливался нарушать его покой! — вспоминает один из его товарищей. — Он яростно выскакивал из своего убежища и выталкивал непрошеных гостей, сколько бы их ни было».[509]

В этом убежище он возвращался к «естественному состоянию», «état nature!», по завету Руссо; уходил от людей к природе: «человек природы счастлив на лоне чувств и естественного разума», — скажет впоследствии.[510] Здесь испытывал он то же, что в будущей повести его пловец,

заброшенный бурею на необитаемый островок Горгону: «Я был царем моего острова; я мог бы здесь быть если не счастлив, то мудр и спокоен».[511] Или то же, что двойник Наполеона, Жюльен Сорель, — в своей пещере: «Спрятанный, как хищная птица в скалах, он мог видеть издали всякого человека, который подходил бы к нему… „Здесь люди не могут мне сделать зла, — проговорил он, с глазами, заблестевшими от радости. — Я свободен!“ И, при звуке этого великого слова, душа его загорелась восторгом».[512]

Этот первый завоеванный клочок земли — уже начало Наполеоновой империи — всемирного владычества. Здесь он так же один, как потом на высоте величия и на Св. Елене.

Учился кое-как; страстно увлекался по-прежнему одной математикой. «Этот ребенок будет способен только к геометрии», — говорили о нем.[513] Изумлял учителя своими успехами: самое трудное в математике усваивал с такою легкостью, как будто уже знал все врожденным «знанием-воспоминанием» — anamnesis Платона, и не узнавал ничего нового, а только вспоминал забытое.

Мало учился, много читал; пожирал книги с ненасытною жадностью. Зачитывался всемирною историей Полибия, Аррианової жизнью Александра, «жизнями» Плутарха. Бредил Леонидами, Катонами и Брутами, «изумившими человеческий род».[514] Не расставался и с Жан-Жаком, вечным другом своим.

Ненависть к нему товарищей разгоралась все больше, и наконец решили они проучить корсиканского волчонка, как следует.

Ректор, желая ввести военный порядок в школе, составил из учеников батальон в несколько рот и в каждую назначил командира. В их число попал и Наполеон. Но собрался военный совет и вынес приговор: Бонапарта, за нелюбовь и неуважение к товарищам, исключить из ротных командиров. Тут же прочли ему приговор, сорвали с него эполеты и разжаловали в нижние чины. Он всему покорился, но вынес обиду с таким гордым достоинством, что дети сначала удивились, потом задумались и, наконец, раскаялись, как будто вдруг поняли, с кем имеют дело. Произошел внезапный поворот общественного мнения в пользу Наполеона: жалкая «Соломинка-в-носу» оказалась великодушным «Спартанцем». Все, наперерыв, старались выказать ему сочувствие, загладить перед ним свою вину, утешить его. Он сразу дал понять, что в утешениях не нуждается, но, хотя виду не показывал, был тронут и с этого дня начал понемногу сближаться с товарищами, выходить в люди и покорять сердца, не допуская, однако, никого слишком близко и продолжая, на всякий случай,

охранять свой «уголок».

В снежную зиму 1783-го, когда школьный двор завалило сугробами, дети затеяли на нем веселые игры — войны в снежки. Работая под начальством Наполеона, выстроили из снега великолепную, по всем правилам военного искусства, крепость с четырьмя бастионами. Два войска защищали и осаждали ее. Наполеон, неистощимый в стратегических замыслах, предводительствуя обоими войсками по очереди, увлекал и вдохновлял всех. Только теперь поняли дети, какой он веселый, чудесный товарищ и как могли бы они полюбить его, если бы он позволил. Но он не позволял и не мешал, как будто не нуждался в них; а этого люди, даже дети, никому никогда не прощают.

Первым был также во всех бунтах против начальства, маленьких школьных революциях. Очень любил произносить перед революционной толпой зажигательные речи, как настоящий народный трибун, говоря, по Жан-Жаку, о свободе и равенстве, о Правах Человека. Дело, однако, кончалось, большею частью, тем, что струсившие в последнюю минуту школьники отступали перед начальством, изменяя своему вождю, и он один отвечал за всех; шел в карцер или под розгу, молча, гордо, без жалоб, без слез; никого не выдавал; а когда возвращался к товарищам, не упрекал их, но, по лицу его, видно было, что он презирает их, смотрит на них, как на дрожащую тварь. «Я всегда один среди людей, — скажет он скоро. — Как они подлы, низки, презренны! Жизнь мне в тягость, потому что люди, с которыми я живу и, вероятно, всегда буду жить, так не похожи на меня, как лунный свет на солнечный».[515]

Раз, когда учитель выговаривал ему за что-то, он отвечал ему рассудительно, вежливо, но так самоуверенно, что тот посмотрел на него с удивлением и сказал:

— Кто вы такой, сударь, чтоб так отвечать?

— Человек, — ответил Наполеон.

Жан-Жак мог быть доволен своим учеником. В этом ответе тринадцатилетнего Бонапарта — уже начало Революции. «Вечными письменами начертал Создатель в сердце человека Права Человека», — скажет он около 1789 года.[516]

Пять лет прожил Наполеон в Бриеннской школе, как в тюрьме, без одного отпуска и без свиданий с родными. Раз только заехал к нему отец с маленькой дочкой Марианной — вез ее в Сен-Сирский монастырь-институт — и с третьим сыном, Люсьеном, которого оставил тут же, в школе, в приготовительном классе.

Шарль Бонапарт только переночевал в Бриенне и на следующий день уехал. Это было последнее свидание сына с

отцом.

Дня через два Наполеон, видимо, по просьбе отца, написал одному из своих дядей, — кажется, будущему кардиналу Фешу, — любопытное письмо: мальчик в нем весь как живой.

Дело идет о брате Иосифе, задумавшем тогда переменить духовную карьеру на военную. Очень подробно, по пунктам, он доказывает, что Иосиф делает глупость, вредную не только для него самого, но и для всего «семейства».

«Пункт первый. Папенька верно говорит, что братец не обладает в достаточной степени храбростью, чтобы встречать, как следует, опасности на поле сражения. Слишком слабое здоровье не позволит ему переносить усталость походов, и, вообще, на военную службу он смотрит только с гарнизонной точки зрения. Да, братец будет отличным офицером мирного времени: он хорош собой; ум у него легкий, пригодный для светских любезностей, и, при его талантах, он всегда выйдет с честью из всякого общества; но из сражения? Папенька в этом сомневается».

Что пользы воину быть баловнем судеб?
Лицом ты Адонис, а красноречьем — Феб;
Но, если у тебя нет истинной отваги,
То будешь на войне ты, как солдат без шпаги!

«Пункт второй. Братец воспитан для духовного звания. От него отказываться поздно. Монсиньор епископ Отонский дал бы ему богатый приход и, наверное, сделал бы его тоже епископом. Какое для семейства счастье! Монсиньор делает все возможное, чтобы убедить его остаться в духовном звании, обещая ему, что он в этом не раскается. Но братец упорствует. Я его хвалю, если только упорство его зависит от решительной склонности к военному делу, прекраснейшему в мире, и если сам Великий Двигатель человеческих дел, образуя его, внушил ему это призвание, как мне».

В пункте третьем перечисляются все военные службы — морская, инженерная, артиллерийская, пехотная и доказывается, что Иосиф не годится ни в одну. «Братец думает, конечно, поступить в пехоту. Я его понимаю: он хочет весь день ничего не делать, только гранить мостовую. Да и что такое маленький пехотный офицер? Большей частью, шалопай, а этого вовсе не желают папенька, маменька, и вы, дорогой дядя, и дядя архидиакон, потому что братец уже показал в кое-каких проделках свое легкомыслие и расточительность. Итак, будет сделано последнее усилие, чтобы убедить его остаться в духовном звании, а в противном случае папенька отвезет его на Корсику,

чтобы иметь над ним глаз, и постарается пристроить его по судейской части».[517]

Трудно поверить, что это письмо написано четырнадцатилетним мальчиком: так оно сухо, ясно, холодно. Но не бессердечно: скрытая теплота в каждом слове — любовь к семейству, роду, к тому святому союзу крови, которым связывает детей своих Мать-Земля.

«Я хвалю братца, если только сам Великий Двигатель внушил ему призвание к военному делу, как мне» — в этих словах точно грозовое небо освещается зарницею. Что это за «Первый Двигатель»? Деистический Бог Робеспьера, бледный мертвец, или восходящее солнце — Рок Наполеона? Рок или Бог, — мальчик верит, что Он-то и внушил ему призвание к войне. Тут уже вся судьба его, как могучий дуб в желуде.

«Господин де-Бонапарте Наполеон: роста 4 фута 10 дюймов; крепкое сложение, отличное здоровье; послушный характер; кроток, честен, благороден; поведения безупречного; постоянно отличался прилежанием к математике; знает недурно историю и географию; очень слаб в изящной словесности. Будет превосходным моряком; заслуживает перейти в Парижскую школу». Такой отзыв дал главный субинспектор королевских военных школ Франции, генерал Кералио, в 1784 году.[518]

Моряком Наполеону не суждено было сделаться: редки были места во флоте и получались только по сильной протекции. Да и синьору Летицию пугала морская служба для сына двойной опасностью — от огня и воды. Мальчик, скрепя сердце, решил поступить в артиллерию. Жалко ему было расставаться с мечтой о море, как будто он уже тогда предчувствовал, что всю жизнь будет воевать на суше из-за моря. «О, если бы я владел морями!» — скажет на Св. Елене.[519]

«30 октября 1784 года отправился в Парижскую школу», — сказано в лаконических заметках молодого Бонапарта «Эпохи моей жизни».[520]

Братья-минимы отвезли его, вместе с другими учениками Бриеннской школы, в почтовом дилижансе в Париж, где юный корсиканец «похож был на одного из тех провинциальных зевак, у которых уличные воришки вытаскивают кошельки из карманов».[521]

Королевская военная школа для дворян-кадет — великолепное, построенное при Людовике XV, здание на Марсовом поле, с коринфскими колоннами и золоченою решеткою, настоящий дворец.

«Нас кормили и содержали превосходно, как самых богатых офицеров, — куда богаче большинства наших семей и многих из

нас самих в будущем», — вспоминает Наполеон.[522]

Жизнь его в Париже мало отличалась от бриеннской: тот же военный порядок и внешний обряд благочестия; то же плохое учение и ненасытное пожирание книг; та же ненависть к французам и грызущая тоска по родине.

Новым было только одно — обостренное чувство неравенства: юные потомки древних родов, князья Роганы-Геменей, герцоги Лавали-Монморанси, поглядывали с высоты величия на этого захудалого корсиканского дворянчика. Но он себя в обиду не давал; только что задирали, отвечал кулаками. «Роздал-таки я тогда немало затрещин!» — вспоминает, через много лет, не без удовольствия.

Свой «уголок» старался отвоевать и здесь. Раз, когда заболел и лег в лазарет сожитель его по комнате Наполеон тоже сказался больным, получил позволение не выходить, запасся провизией, запер дверь на ключ, закрыл ставни, занавесил окна и прожил так два-три дня, в совершенном уединении, в темноте и безмолвии, читая, мечтая днем при огне. Эта парижская темная комната — то же что айяччская дощатая келийка и бриеннская «пустынька» — метафизический затвор, «пещера», «остров» — святая ограда личности. «Он всегда один, с одной стороны, а с другой — весь мир», — скажет впоследствии о великом человеке — о себе самом.[523]

Кто-то из товарищей нарисовал на него карикатуру; детский рисунок плох, но любопытен: Наполеон — великан с чудовищным лицом в длиннополом кадетском мундире, в маленькой треуголке и косичке с лентою; карлик-учитель схватил его за косу, стараясь удержать; но великан выступает вперед, с дубиной в руках, решительной поступью, такою тяжкою, что кажется, земля под ним дрожит. А внизу подпись: «Бонапарт бежит, летит на помощь к Паоли, чтобы освободить его от врагов».[524]

Сохранился портрет Наполеона в юности.[525] Вопреки отзыву Коралио, лицо болезненно: ввалившиеся щеки, впалые, огромные глаза, с неподвижным взором лунатика; лицо человека, пожираемого внутренним огнем. Длинные, до плеч, прямо и плоско лежащие волосы, большой орлиный нос; тонкие строго сжатые губы не улыбаются, но если улыбнулись, то, кажется, прелестной улыбкой синьоры Летиции — улыбкой Джиоконды или этрусской Сибиллы. Главное же в этом лице — обнаженная воля: «Я всегда делаю то, что говорю, или умираю».[526]

24 февраля 1785 года Шарль Бонапарт скончался в Монпеллье, от рака в желудке!

«Утешьтесь, маменька, этого требуют обстоятельства, — пишет Наполеон Летиции. — Мы удвоим наши заботы о вас, нашу

благодарность, и будем счастливы, если наше послушание вознаградит вас хоть немного за незаменимую потерю возлюбленного супруга».

Пишет и дяде, архидьякону Люсьену, опекуну: «Мы потеряли отца. Бог один знает какого… Все, увы, предсказывало в нем опору нашей юности. Но Верховное Существо судило иначе. Воля Его неизменна».[527]

Тот же холод и здесь, как в том письме о братце Иосифе, ледяная кора, а под нею — кипящий родник — любовь к «своим». «Я живу только для своих», — скажет в одну из самых горьких минут своей жизни.[528] Когда он говорит матери: «Мы удвоим наши заботы о вас», — это не пустые слова. С первою вестью о смерти отца чувствует себя главой семьи. Мужественно подставляет детские плечи под бремя недетское: помнит святой урок Земли-Матери — носить бремена. «Я держал мир на плечах», — скажет впоследствии.[529] Тяжесть мира начал подымать уже тогда, пятнадцатилетним мальчиком.

28 октября 1785 года Наполеон выпущен был из Парижской военной школы в артиллерийские подпоручики Ла-Ферского полка.

III. АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОРУЧИК. 1785–1792

Полк стоял гарнизоном в захолустном городке Валенсе, в Дофинэ, близ Савойи.

Трудные дни начались для Наполеона, труднее, чем в школе. Надо было всему учиться с азов: дворяне-кадеты выпускались из военной школы без всяких практических знаний; не то что пушки, и ружья зарядить не умели, как следует.

Артиллерийское учение, по военному уставу, начинаясь с низших чинов — простым рядовым канониром, унтер-офицером, капралом, сержантом, продолжалось столько времени, сколько полковой командир считал нужным, сообразно с умом и прилежанием ученика.

Бонапарт, в течение трех месяцев, прошел всю эту школу. Целые дни учился на Валенском полигоне маневрам, устройству батарей, фейерверочному делу и стрельбе из гаубиц, мортир, фальконетов; в теоретических классах слушал курсы высшей математики, тригонометрии, интегрального и дифференциального исчисления, прикладной физики, химии, фортификации, тактики. Наскоро закусывал в плохонькой гостинице «Трех Голубей» или просто в пекарне съедал два пирожка, запивал их стаканом воды, молча кидал два су на прилавок и шел опять на учение. Работал по шестнадцать часов в

сутки.

Квартировал у мадемуазель Бу, старой девицы, хозяйки клубного кафе, в нижнем этаже, в маленькой комнатке, рядом с биллиардною, откуда доносился непрерывный стук шаров и крики маркеров.

«Знаете, как я жил тогда? — вспоминает он. — Носу не показывал в кафе и в общество; ел сухой хлеб, сам чистил платье, чтобы носилось подольше. Не желая отличаться от своих товарищей бедностью, я жил как медведь, всегда один в своей маленькой комнатке, с единственными друзьями — книгами. Да и те чего мне стоили! Сколько надо было урезывать себя в самом необходимом, чтобы купить эту радость. Когда же, ценою долгих лишений, я накапливал наконец франков десять, то бежал в книжную лавку. Но часто, пересматривая книги на полках, я впадал в грех зависти и долго томился желанием, прежде чем мой кошелек позволял мне купить книгу. Таковы были порочные наслаждения моих юных годов!»[530]

«Здесь у меня никаких развлечений, кроме работы, — пишет он матери. — Новый мундир надеваю раз в неделю; сплю невероятно мало: в десять ложусь, встаю в четыре, ем только раз в сутки: это полезно для моего здоровья».[531]

«Я знаю, что такое бедность, — скажет император с гордостью. — Когда я имел честь быть подпоручиком, я ел сухой хлеб и запирал дверь на ключ, чтобы не видели моей бедности».[532]

Беден, робок и дик. «Унижен и оскорблен… Начальники и товарищи не любят его… говорят, что у него характер невозможный в обществе».[533] Живет как монах или «спартанец». Женскую любовь презирает: «Я считаю любовь вредною для общества или для личного счастья людей. Если бы боги освободили мир от любви, это было бы благодеянием». — «Что бы вы могли сделать для защиты отечества? — говорит он в диалоге о любви влюбленному юноше. — На что вы годны? Государство, граждане, общество — какое вам до всего этого дело?.. Взор, пожатие руки, поцелуй, — и что вам страдания отечества?»[534]

Но семнадцать лет брали свое. В доме госпожи Коломбье, валенской львицы, он увидел шестнадцатилетнюю дочку ее, Каролину, и простодушно влюбился. «Ничего невиннее, чем были оба мы тогда, нельзя себе и представить. Мы устраивали тайные свидания. Помню одно из них, среди лета, на утренней заре. Трудно этому поверить, но все наше блаженство свелось к тому, чтобы вместе есть вишни».[535]

Детская любовь промелькнула, как тень от летнего облака, и он опять один. Уходить в свой «угол» теперь ему уже не надо: он

и так один в мире, как на необитаемом острове. «Всегда один среди людей, — пишет он в дневнике своем, ночью. — Я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собой и предаваться меланхолии. О чем же я буду мечтать сегодня? О смерти. На заре моих дней я мог бы надеяться еще долго прожить… и быть счастливым. Какое же безумие заставляет меня желать конца?.. Правда, что мне делать в этом мире?.. Как люди далеки от природы! Как подлы, низки, презренны! Что я увижу, вернувшись на родину? Людей, отягченных цепями и дрожащих, и целующих руки своих угнетателей… Если нет больше отечества, патриот должен умереть…»[536]

Но это только минутная слабость, «чувствительность», — может быть, уже первое веяние романтической весны. Пять раз он перечтет «Страдания молодого Вертера», и книга эта оставит в душе его неизгладимый след. Но пока что древний «Спартанец» побеждает юного Вертера; первая нега весны рассеивается свежим ветром налетающей грозы — Революции. Ученик Паоли и Плутарха вспоминает, что надо делать, когда умерло отечество.

«Божеские законы запрещают народам восставать на царей? Что за нелепость!.. Нет закона, которого народ не мог бы отменить… По самой природе общественного договора, корсиканцы имели право свергнуть иго генуэзцев и так же точно имеют право свергнуть иго французов. Аминь!»[537] «Общественный договор», «Contrat Social», — вот для него «Сезам, отворись» — заклятие, сокрушающее врата адовы. На полигоне, при свете солнца, он учится войне у своих командиров, а в бедной комнатке, при свете сальной свечи, у Жан-Жака, — революции; оба учения пойдут ему впрок.

Осенью 1786 года он получает первый отпуск на родину, затянувшийся почти на два года, вопреки всем правилам военного устава, по особому снисхождению начальства, и, продолжая считать себя, после смерти отца, главой семьи, выбивается из сил, чтобы привести в порядок запутанные дела синьоры Летиции.

С Корсики вернулся уже не в Валенс, а в такой же захолустный городок южной Франции, Оксонн (Auxonne), куда переведен был Ла-Ферский полк.

Понял ли Бонапарт, какой для него наступил великий день, когда 16 августа 1789 года произошел в Оксонне военный бунт? Солдаты вышли из казарм, с революционными песнями, окружили дом полкового командира, потребовали выдачи полковой казны; перепившись, лезли к офицерам целоваться и принуждали их пить за свободу, плясать фарандолу.

Бонапарт смотрел на бунт с тем отвращением, которое всегда

внушала ему революционная чернь. «Если бы мне приказали стрелять в них из пушек, то привычка, предрассудок, воспитание, уважение к имени короля заставили бы меня повиноваться без колебания».[538]

Но это только одно из двух чувств его к революции, а вот и другое: «Революция мне пришлась по душе, и равенство, которое должно было меня возвысить, соблазняло меня».[539] Скоро он поймет, что может сделать революция и для его отечества.

«Все изменилось мгновенно, — пишет он с Корсики. — Электрическая искра блеснула из недр того народа, которым управляли наши тираны. Освободившись, он хочет, чтобы и мы были свободны».[540]

«Да здравствует Франция! Да здравствует король!» — кричала толпа на улицах Айяччио, под звон колоколов и треск фейерверков, когда получен был декрет Национального Собрания о принятии Корсики в братский союз французского народа, как независимой и полноправной области.

«Великодушная нация, колыбель свободы, Франция! — плакал от радости старый Батько, Паоли. — Некогда мы проклинали французов, как наших угнетателей, а теперь благословляем их, как братьев и освободителей. Мы уже никогда не отделимся от этого благополучнейшего ныне правления, questo ora fortunatissimo governo!»[541]

«Счастливая Революция!» — умилялись одинаково все, умные и глупые. Ангельским казалось детское личико новорожденного чудовища. Один Наполеон себя не обманывал. «Я ничему этому не верю. Je ne crois rien de tout cecі», — пишет он на полях Дижонской речи Жан-Жака «О причинах социального неравенства». Но сердце шепчет одно, а уста другое. «Человек! Человек! Как ты презрен в рабстве, как велик в свободе… Возрожденный, ты воистину царь Природы!» — бредит он, пьяный или только притворяясь пьяным от вина Революции.

«Царь природы», однако, живет по-прежнему, в бедной комнатке Оксонских казарм, как будто никакой революции не было. Комнатка в одно окно, со скудной мебелью: узкая кровать без занавесок, заваленный книгами и бумагами стол, на полу дорожный сундук, тоже с книгами, одно старое просиженное кресло и шесть соломенных стульев. Рядом, в еще более бедной комнатке, с тюфяком на полу вместо постели, живет двенадцатилетний брат его, Людовик, взятый им на воспитание, чтобы облегчить обузу мамы Летиции. Старший брат любит младшего с отеческой нежностью; тратит на него последние гроши: оба живут на три франка пять сантимов в день. Наполеон сам варит суп, а иногда оба сыты одним молоком с хлебом. Учит

брата истории, географии, французскому языку и катехизису; каждый день водит в церковь к обедне и готовит к конфирмации, хотя сам уже не верит ни во что: «Теология есть клоака всех предрассудков и всех заблуждений».[542]

Гордится его успехами: «Он будет лучшим в семье, потому что никто из нас не получил такого прекрасного воспитания… Мальчик прелестный, и, главное, с сердцем», — пишет он брату Иосифу.[543]

Лежа целыми неделями больной, в перемежающейся лихорадке Оксонских болот, по-прежнему читает, мечтает до изнеможения. Та же исполнительная химера, как в детстве, пожирает сердце его мучительно-сладостно. Уже не о себе ли самом думает, когда в исторических заметках пишет: «Фараон Сезострис, в 1491 году до Р.Х., покорил всю Азию и дошел до Индии, посуху и по морю».[544]

Или рядом с логарифмами для исчисления траектории пушечного ядра: «Драгоценные каменья, блестевшие на военном уборе одного из персидских царей, стоили 26 000 000 франков».[545] В тусклом свете сальной свечи сказочно мерцают эти каменья, — Шехеразада с логарифмами.

Не думает ли тоже о себе, когда пишет о Кромвеле: «Мужественный, ловкий, хитрый, лживый, пожираемый ненасытным огнем честолюбия, он изменяет первым республиканским чувствам своим и, вкусив от сладости власти, желает властвовать один»?[546]

И уж конечно, о себе думает, когда говорит о великом человеке: «Несчастный! Я его жалею: он будет удивлением и завистью себе подобных и самым жалким из них… Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век».[547]

И, может быть, «род магнетического предвидения», по слову Буррьенна,[548] останавливает руку его, когда, перечисляя английские владения в Африке, он пишет эти четыре слова:

> «Св. Елена, маленький остров…»
> «Sainte Hélène, petite ile…»

А дальше — пустая, немая страница — Судьба.

В то время, 1791–1793, происходит на Корсике то же, что во всей Франции: старый порядок рушится, нового нет, и воцаряется анархия. «Счастливая Революция» кончилась; ангельское личико новорожденной становится дьявольским лицом Террора. Вся земля в огне и крови.

Наполеон снова в отпуске на Корсике. Очертя голову кидается в революционные клубы, комитеты, заговоры и уже не из книг, а на деле учится войне и революции.

Избранный в полковники айяччского батальона волонтеров национальной гвардии, на Пасхальной неделе 1792 года, он раздувает искру в пожар — уличную стычку солдат с горожанами, из-за пустяков — опрокинутых кеглей, — в гражданскую войну. Запершись в своих казармах, волонтеры, по приказу будто бы двух своих полковников, Кверца и Бонапарта, стреляют из окон в прохожих, убивают женщин и детей, делают вылазки, грабят дома, овладевают целым кварталом, возмущают окрестных поселян и пастухов, которые осаждают город и прекращают подвоз съестных припасов. Цель Бонапарта — захватить Айяччскую крепость. Цели этой он не достиг, но в течение трех дней подвергает город всем ужасам неприятельского нашествия — голоду, грабежу, убийству, террору. Долго помнили граждане и никогда не прощали ему кровавой Пасхи 1792 года. «Наполеон Буонапарте — причина всего, — говорит депутат Поццо ди Борго. — Существуют обвинения, достаточные, чтобы осудить его тридцать раз; должно отомстить за поруганный закон и человечество, обуздать кровожадного тигра!»[549] «Видите ли этого маленького человека? В нем два Мария и один Сулла!», т. е. два разбойника и один узурпатор, говорит Паоли.

Когда все успокоилось с прибытием двух комиссаров областной директории, Бонапарт представил им оправдательную записку, в которой доказывал, что вынужден был защищать свободу от контрреволюции.

«В том ужасном положении, в каком мы тогда находились, нужна была сила духа и отвага; нужен был человек, который, исполнив свое назначение, мог бы ответить, как Цицерон и Мирабо, на требование клятвы, что он не преступил закона: „Клянусь, что я спас Республику!“ Этот человек, конечно, сам Бонапарт. Но „души людей здесь слишком узки, чтобы возвыситься до уровня великих дел“, — заключает он свое оправдание».[550]

Какие же это «великие дела»? Может быть, ясного отчета он сам себе еще не отдает, но уже смутно надеется, захватив Айяччскую крепость, овладеть всею Корсикой, восстановить на ней порядок и с этого начать главное дело жизни своей — обуздание революционного хаоса. Скользкую шею Пифона уже сдавили руки Зевса-младенца в колыбели, но не задушили гада: он выскользнул из детских рук.

«Кажется, лучше тебе поскорей вернуться во Францию», — писал ему брат Иосиф,[551] и Наполеон послушался его: в начале мая он уже в Париже.

В военное министерство был сделан донос на Бонапарта за айяччскую Пасху. Ему грозил военный суд. Но дело перенесено в

министерство юстиции, где и заглохло. Исключенный из списков полка за просроченный отпуск, он должен был хлопотать, чтобы его приняли обратно на службу. Благодаря протекции земляков, корсиканских депутатов, хлопоты его увенчались успехом: он не только зачислен снова в полк, но и произведен в капитаны артиллерии, с полным зачетом жалованья за все прогулянные месяцы.

Но все эти удачи не утешают его от айяччского опыта. Разочарованно смотрит он на революцию. «Здесь, во главе дел, жалкие люди, — пишет брату Иосифу. — Помнишь, что произошло в Айяччио? Точно то же происходит и в Париже; может быть, даже люди здесь еще злее, ничтожнее, большие клеветники и гасители духа. Каждый ищет своей выгоды и достигает ее посредством всяких мерзостей… Все это убивает честолюбие… Жить спокойно, наслаждаясь семейными радостями и самим собою, вот лучшее, что можно сделать, имея четыре-пять тысяч франков годового дохода». — «Право же, народы не стоят, чтобы столько хлопотать об их любви».[552]

20 июня 1792 года, с набережной террасы Тюльерийского дворца, он слышит зловещие звуки набата, видит семь-восемь тысяч человек, с топорами, пиками, саблями, ружьями, вертелами, острыми палками, идущих на дворец приступом, — судя по речам и лицам, «самую низкую и смрадную чернь»,[553] и, когда толпа вломилась во дворец, видит в амбразуре одного из окон короля Людовика XVI, наряженного в красный колпак и окруженного чернью.

«Che coglione! — шепчет Бонапарт, бледнея. — Как могли их пустить? Надо бы смести картечью сотни три-четыре, а остальные разбежались бы!»[554]

10 августа, идучи на Карусельную площадь, он встречается с кучкой людей «гнусного вида», которые несли отрубленную голову на острие пики. Заключив, по одежде, его, что он — «господин», они подходят к нему и требуют, чтобы он кричал: «Да здравствует народ!» — «Дворец осажден был самою подлою чернью. La plus vile canaille!» Когда он был взят и король отведен в Собрание, Бонапарт заглянул в дворцовый сад, заваленный трупами швейцарцев королевской гвардии. «От тесноты ли места или от того, что я видел это в первый раз, — никогда никакое поле сражения за всю мою жизнь не поражало меня таким множеством трупов. Я заметил, как прилично одетые женщины с последним бесстыдством ругались над ними». Он обходит все кафе по соседству с Собранием. «Ярость кипела во всех сердцах и изображалась на всех лицах».[555] Слишком спокойное лицо его возбуждало подозрение; на него поглядывали косо.

«Ход событий ускоряется, — пишет он одному из своих дядей, на Корсику. — Ваши племянники сумеют пробить себе дорогу». [556] Это значит: «Революция мне пришлась по душе, и равенство, которое должно было меня возвысить, соблазняло меня». — «Человек, ты был рабом, и ты мог жить?.. Пробудись же или теперь, или никогда! Петух пропел, знак подан; выкуй из цепей своих кинжал возмездия», — бредит он с пьяными, трезвый. «Я ничему этому не верю», — мог бы прибавить, как на полях дижонской речи Жан-Жака.

В Революцию не верит, ненавидит ее, а все-таки жадно ищет новый Ромул, волчьих сосцов; сам — бешеный волчонок, будет кусать их до крови, но насосется молоком Волчицы досыта.

Дело свое на Корсике не считает проигранным. Осенью 1792 года вернулся туда. Две главные партии борются на острове: одна за отделение от Франции, другая — за соединение. В первой Паоли, пока еще тайно, под маской; во второй — Наполеон с братьями, Люсьеном и Иосифом.

После казни Людовика XVI, 21 января 1793 года, Бонапарт говорит комиссару Конвента на Корсике: «Я хорошо обдумал наше положение. Мы здесь готовы наделать глупостей. Конвент совершил, конечно, великое преступление, и я сожалею об этом больше, чем кто-либо; но Корсика, что бы ни случилось, должна быть соединена с Францией». Это значит: «соединена с Революцией». [557]

Так Бонапарт и Паоли столкнулись на узкой тропе и уже не разойдутся: один должен пасть.

Восемнадцатилетний мальчик, Люсьен Бонапарт, играя с огнем, взрывает пороховой погреб: без ведома братьев, посылает в Конвент, через Республиканское Общество в Тулоне, донос на Паоли, с обвинением его в контрреволюции, в тайных сношениях с Англией, в желании, отделившись от Франции, сделаться диктатором Корсики. «На гильотину!» — завопил Марат, и Конвент постановил арестовать Паоли.

Маленький шалун торжествует. «Я нанес смертельный удар нашим врагам. Вы этого не ожидали?» — пишет он братьям. [558] Письмо перехвачено и показано Паоли. «Ах, гаденыш, briconcello!» — воскликнул он с презрением. [559] Не сомневался, что все это — дело рук Наполеоновых.

Но тот и сам был застигнут врасплох: не ожидал такой внезапной развязки и не успел приготовиться к ней. Сочинил для клуба айяччских патриотов адрес в Конвент с оправданием Паоли от «клеветы». Может быть, хотел его задобрить. Но тот, узнав об этом, воскликнул с таким же презрением к нему, как к Люсьену, «гаденышу»: «Мало я забочусь об его дружбе! Poco mi preme di sua

amicizia!»[560] Львенок уже выпустил когти, а Паоли все еще думает, что играет с комнатной собачкой.

Не пощадил и Наполеон своего бывшего идола: послал на него донос в Париж, повторяя «клеветы» Люсьена и прибавляя от себя: «Что за роковое честолюбие помутило рассудок этого шестидесятилетнего старика! Благость у него на лице, а в душе злоба; елей в глазах, а в сердце желчь».[561]

Арестовать Паоли на Корсике было не так-то легко: вся она встала, как один человек, за своего старого Батьку.

Маски были сброшены. Паоли провозгласил себя «генералиссимусом», диктатором Корсики, и созвал великое народное собрание, Кунсульту, в городе Корте. Здесь объявили братьев Бонапартов «изменниками», «врагами отечества» и предали их «вечному проклятию и позору».

Наполеон понял, что ему нечего больше делать на Корсике, и бежал из Айяччио в Бастию, к комиссарам Конвента, предупредив мать: «Готовьтесь к отъезду: эта страна не для нас. Preparatevi; questo paese non è per noi».[562]

Синьора Летиция, с младшими детьми, так же бежала в горы, как двадцать четыре года назад, когда носила Наполеона под сердцем. Беглецы вышли из города ночью и утром были на первых высотах, откуда он еще виден. Кто-то, обернувшись, заметил клубы дыма над ним и указал на них синьоре Летиции: «Вон горит ваш дом!» — «Пусть горит, лучше построим!» — ответила будто бы «мать Гракхов». В самом деле, построили лучше.[563]

11 июня 1793 года Наполеон с семьей сел на французский военный корабль и через два дня был в Тулоне.

Отныне он — человек без отечества: им перестала быть для него Корсика и не сделается Франция. Он родился из отечества в мир.

Мама Летиция с детьми поселилась сначала в тулонском пригороде, Ла-Валетт, а потом в Марселе, где жила в глубокой бедности. Сестры Наполеона, будущая герцогиня Тосканская и королева Неаполитанская, стирали будто бы белье с марсельскими прачками.

Наполеон отправился к своему полку в Ниццу, служил сперва на береговых батареях, а потом послан в Авиньон с пороховым обозом, но по дороге попал в самый разгар военных действий между войсками Конвента и бунтовщиками-марсельцами, которыми занят был Авиньон. Бонапарт помог генералу Карго отнять у них город и отправился, через Марсель, обратно к своему полку. Но и туда не попал; в Марселе ждала его Судьба — Звезда утренних сумерек.

По пути в Марсель он пишет политическую брошюру, напечатанную первым изданием на его счет, а вторым на счет нации, — «Ужин в Бокере», — диалог нескольких случайно в гостинице, за ужином, сошедшихся лиц, четырех штатских и одного военного, самого Бонапарта. Он доказывает, что восставшие на Конвент и предавшиеся Англии марсельцы изменили революции; увещевает их вернуться в ее материнское лоно; уверяет, что монтаньяры не «кровожадные изверги», а «непорочные и неизменные друзья народа и что они поступили с ними, марсельцами, как с заблудшими детьми».[564]

«Я ничему этому не верю», — мог бы он прибавить и к этому. Но с волками жить — по волчьи выть, или, как он тогда говаривал, «лучше съесть, чем быть съеденным».[565]

Воет Волчица, но кормит Волчонка, и у него растут зубы, чтобы съесть, может быть, ее же, свою кормилицу.

26 сентября 1793 года корсиканский депутат Конвента Салицети, друг Бонапарта, пишет из-под Тулона в Париж, в Комитет Общественного Спасения: «Капитан Доммартен ранен, и мы остались без начальника артиллерии. Но случай нам чудесно помог: мы остановили гражданина Буонапарте, очень сведущего капитана, ехавшего в Итальянскую армию, и приказали ему заместить Доммартена».[566]

Так Бонапарт оказался под стенами осажденного Тулона.

«Там возьмет его История, чтобы уже не оставлять, — говорит Лас Каз в „Мемориале“. — Там начинается его бессмертие».[567]

IV. ТУЛОН. 1793–1794

«Странное искусство война: я дал шестьдесят больших сражений и ничему не научился, чего бы не знал заранее», — говорил Наполеон на Св. Елене.[568]

Это чудесное знание, врожденное, прежде всякого опыта, «знание-воспоминание», anamnesis Платона, он обнаруживает в первом же военном деле своем, осаде Тулона. «Кто его научил? Откуда он все это знает?» — так же удивлялись опытные военные люди в Тулонском лагере, как некогда учитель математики в Бриеннской школе; так же казалось им, что он не узнает ничего нового, а только вспоминает старое.

Когда этот двадцатичетырехлетний артиллерийский капитан, худенький, тоненький, длинноволосый, похожий на шестнадцатилетнюю девочку, но с важной осанкой и спокойно-повелительным взором, появился в лагере, все вдруг почувствовали, что власть принадлежит ему.

Чтобы оценить как следует, что сделал Бонапарт при осаде

Тулона, надо понять, какие трудности пришлось ему побеждать.

Укрепленный лагерь Тулона, со своими могущественными фортами и двумя великолепными рейдами, считался тогда одной из неприступнейших позиций в мире. Мощный англо-испанский флот и английская артиллерия еще усиливали лагерь.

Тулон, так же как Марсель, доведенный до отчаяния террором, восстал на Конвент и предался англичанам, предался бы и дьяволу, чтобы спастись из волчьей пасти Марата. Город защищался героически; осада затянулась: орешек был не по зубам Конвенту. Войско его состояло на четверть из нищего, пьяного и буйного сброда, заражавшего остальные три четверти. Дух армии пал, дисциплина рушилась. «Все было беспорядком и безначалием», — вспоминает Наполеон. Двести «народных представителей», слетевшихся в лагерь из соседних якобинских клубов, — двести болтунов и невежд, всюду лезших со своими военными планами и подозревавших контрреволюцию, растлевали армию окончательно.

Но, может быть, хуже всего был начальник ее, генерал Карто, человек безграничного невежества в военном деле и той особенной глупости, которая нападает на людей в революциях, когда прибавляется к их личной дури — общая. Этот генерал-санкюлот, молодецкой наружности, «весь с головы до ног раззолоченный», надутый революционною спесью, расхаживал в толпе депутатов, как петух в курятнике.

«Чем могу вам служить, гражданин?» — встретил он Бонапарта с важностью.

Тот подал ему рапорт со своим назначением.

«Опоздали, — проговорил Карто, поглаживая усики. — Нам больше никого не нужно. А впрочем, милости просим: завтра мы сожжем Тулон, и вы разделите нашу славу, не трудясь».[569]

С вещим ясновидением, которое составляло существо его военного гения. Наполеон сразу понял, что единственный ключ к Тулону — форт Эгийетт, на Керском мысе, при выходе из Малого рейда в Большой. «Надо взять Эгийетт, и восьми дней не пройдет, как мы будем в Тулоне», — повторял он всем, кто хотел его слушать, в течение трех месяцев. Но втолковать это генералу Карто было не так-то легко.

«Вот где Тулон!» — воскликнул однажды Бонапарт, указывая на форт Эгийетт на карте.

«Малый, кажется, не силен в географии», — шепнул генерал соседу, подтолкнув его локтем.[570]

И потому, когда, по настоянию депутатов Конвента, решена была атака на Эгийетт, Карто, подозревая измену, все повторял с беспокойством, что Тулон вовсе не там. К счастью, жена его была

умнее мужа.

«Дай этому молодому человеку делать, что он хочет, — говорила она простодушно. — Он больше твоего смыслит, ничего у тебя не просит и дает тебе отчет во всем. В случае успеха слава будет твоя, а за неуспех ответит он сам».[571]

Бонапарт очаровал обоих войсковых депутатов Конвента, Гаспарена и земляка своего, корсиканца Салицети, как умел очаровывать всех, кого хотел. Опираясь на них, он потихоньку оттеснил Карто и захватил в свои руки власть над армией. Действительным главнокомандующим при осаде был один Бонапарт.

Когда Комитет Общественного Спасения решил соединить все силы Юга против Тулона и назначил вместо Карто старого, опытного генерала Дюгоммье, Бонапарт вздохнул свободнее. Дюгоммье был им очарован так же, как оба депутата, и принял план его, вопреки Комитету Спасения.

Маленький командир артиллерии делал в армии такие чудеса, что люди глазам своим не верили: упорядочивал хаос, буйные силы революции превращал в стройные силы войны, наглых санкюлотов-головорезов — в храбрых и честных солдат; покорял их тихим взглядом, умным словом, шуткой, лаской или строгостью.

Верным чутьем угадывали в нем солдаты Вождя и Человека, l'Homme, как просто и чудно назвали его потом. Если неожиданная вылазка неприятеля застигала их врасплох, все командиры постов в один голос кричали: «бегите к Бонапарту, он знает, что делать!»[572] И он знал. Знал все и всех, видел насквозь; каждого человека оценивал с первого взгляда и ставил на свое место, лучших отличал и приближал к себе: так приблизил капитана Мьюрона, будущего аркольского героя, и сержанта Жюно, будущего герцога Абрантесского, и Мармона, и Дюрока, будущих маршалов. Главный штаб Великой Армии уже родился.

Всех зажигал своим огнем, заражал своей отвагой и всепожирающей деятельностью; был всем для всех: то пехотинец, то всадник, то сапер, то канонир. Не жалел себя: скомандовав как генерал, шел в огонь как рядовой; делил все лишения с солдатами; ел черный хлеб, спал на соломе, под пушками, не на словах, а на деле осуществлял революционное братство и равенство.

Никогда не был бестрепетнее, чем при осаде Тулона. Три лошади были убиты под ним. Невозмутимый под летящими ядрами, не двигаясь с места, не изменяясь в лице, он только покрикивал: «берегись, — бомба!», как будто играл в снежки на бриеннском школьном дворе. Бомба однажды пролетела так

близко от него, что ветром сшибла его с ног и контузила, но он остался в огне.

В другой раз на батарее санкюлотов рядом с ним был убит канонир. Он стал на его место у пушки, схватил прибойник и начал заряжать. Убитый был болен злокачественной чесоткой, и Бонапарт заразился ею от прибойника. Поглощенный другими заботами, он лечился кое-как; болезнь вошла внутрь и едва не стоила ему жизни. Крайняя худоба его, изможденность, вид человека смертельно больного в течение нескольких лет, до самого консульства, происходили от этой болезни.[573] Но слабость тела побеждал он силою духа. «С телом моим я всегда делал все, что хотел».[574]

На батарее у Малого Гибралтара был такой убийственный огонь, что люди отказывались стоять под ним. Бонапарт велел прибить на видном месте дощечку с надписью: «Батарея бесстрашных людей», и люди начали добиваться, как особой чести, стоять на ней. Но и здесь не слово, а дело решило все: командир был впереди всех под огнем.

Солдаты любили — «жалели» этого худенького мальчика, похожего на девочку, больного их же, санкюлотской, болезнью — чесоткой. Видя тоненькую фигурку его, черневшую на самом верху парапета, в белом дыму и красном огне взрывавшихся бомб, не могли этого вынести, кидались за ним в огонь, с одною мыслью: «Лучше самим умереть, чем видеть, как больной мальчик умрет!»

И декабря генерал Дюгоммье на военном совете предложил и отстоял план Бонапарта взять форт Эгийетт, обстрелять с Керских высот английскую эскадру и принудить ее к эвакуации обоих рейдов, чтобы гарнизоны, потеряв надежду на флот, покинули форты и город был сдан.

После трехдневной артиллерийской подготовки сделался возможным штурм Английского редута, ключа к форту Эгийетт. 17 декабря, в час пополуночи, в грозу, под проливным дождем, республиканское войско двинулось в атаку тремя колоннами. В темноте, как это часто бывает, диспозиции спутались. Две атакующие колонны пошли прямо на редут, но только небольшая часть их дошла до него, остальная — рассеялась. Вдруг из темноты послышались крики: «Спасайся кто может! Измена!» — и началось бегство. Но лучшие люди, сплотившись, локоть о локоть, не думая, много их или мало, веря каждый в себя и ободряя друг друга, дошли до подножия мыса, вскарабкались на кручу, оттеснили первый аванпост англичан, второй — испанцев и, под градом пуль и ядер, под громовые раскаты, сливавшиеся с пушечными залпами, как будто небо хотело вмешаться в земную

войну, шли все вперед и вперед, дошли до самых стен редута, повалили рогатки, перелезли через засеку и ров, вскарабкались на парапет, перебили на нем канониров и ворвались в редут. Уже кричали: «Победа! В штыки!» Но вторая засека из множества траверзов остановила их, и, под убийственным огнем, они отступили, выбежали из форта в те же амбразуры, в которые только что вошли. Но тотчас вернулись в атаку, снова ворвались в редут и снова, встреченные залпом, отступили. Генерал Дюгоммье кинулся к резервной колонне Бонапарта. Капитан Мьюрон уже вел ее в атаку и, пользуясь всеми извилинами хорошо ему известной тропы, взошел на высоту почти без потерь.

В три часа ночи республиканцы третьим и последним натиском заняли редут окончательно. Первым вошел в амбразуру Мьюрон, за ним — Дюгоммье и Бонапарт.

Сержант Пэту, раненный в плечо и ногу, упал в ров, но тотчас встал, вылез и, кидаясь снова в бой, закричал своим канонирам: «Смело, братцы, смело, мы ведь с Батареи Бесстрашных!» Вот когда пригодилось это имя: может быть, сержанту Пэту казалось, что молнии пишут его на черном небе огненными буквами и повторяют голоса громов.

А в редуте огонь уже затих и люди дрались молча, врукопашную, грудь с грудью, штык со штыком. Английские канониры у своих орудий давали изрубить себя на куски. Но ярость нападающих одолела наконец их упорство. Карманьолы овладели Адским редутом, как они называли его, и из их тяжело дышавших грудей вырвался крик торжества: «Редут наш!»[575]

Бонапарт выказал в тот же день величайшую доблесть. Лошадь была убита под ним, и он получил штыковую рану в бедро, такую тяжелую, что боялись, как бы не пришлось ампутировать ногу. Трудно поверить, что в тот же день он распоряжался установкой батареи на Малом Гибралтаре.

В пять часов утра карманьолы весело пошли в атаку на форт Эгийетт. Долго отстаивать его после падения редута было невозможно; англичане скоро покинули форт.

«Завтра, или, самое позднее, послезавтра, мы будем ужинать в Тулоне», — сказал Бонапарт после сдачи Эгийетт.[576] В войске этому еще не верили, но когда предсказание исполнилось, люди не могли прийти в себя от удивления; им казалось, что Бонапарт — колдун.

Поутру 18-го республиканцы увидели, что гарнизоны покидают почти все форты Тулонского лагеря. В тот же день, к вечеру, послышался из города шум, возвещавший беспорядочное бегство. В девять часов два оглушительных взрыва потрясли город до основания; верст на семь от него был слышен подземный

толчок, подобный землетрясению: то взорвались на рейде два испанских фрегата, груженных порохом.

В то же время коммодор Сидней Смит, обстрелянный бомбами и раскаленными ядрами с Керских высот, уходил с обоих рейдов. В городе со всех сторон пылали пожары — арсенала, главного военного склада, складов мачтовых и бочарных, а также двенадцати кораблей французского флота.

Карманьолы, подходившие к стенам Тулона с веселыми криками и революционными песнями, вдруг замолчали, остолбенели, как пораженные громом. Пылавшие корабельные остовы походили на потешные огни: арсенал в клубах дыма и пламени напоминал извержение вулкана. В небе пылало огромное зарево, так что ночью было светло, как днем.

И девиче тонкая фигурка больного Мальчика четко чернела на этом зареве — заре нового века: в мир входил Наполеон.

V. ВАНДЕМЬЕР. 1794–1795

Он входил в мир, но мир его не знал; может быть, он сам себя не знал как следует.

Успеху своему радовался, но не «удивлялся».[577] Темным знанием-воспоминанием знал, помнил, что этот успех только первый шаг на таком длинном и трудном пути, какого еще никогда никто из людей не проходил.

Что Тулон взят Бонапартом, знала вся армия, но этого не знал или не хотел знать Париж. «Нужно его наградить и отличить; а если будут к нему неблагодарны, он сам найдет себе дорогу», — писал Дюгоммье в военное министерство.[578]

6 февраля 1794 года Конвент подтвердил производство Бонапарта в чин бригадного генерала от артиллерии. Вместе с генеральским чином он получил хлопотливое, ответственное и ничтожное назначение по инспекции береговых отрядов Итальянской армии, получил и кое-что похуже.

Войсковой депутат Конвента Робеспьер Младший, очарованный Бонапартом, как все в Тулонском лагере, звал его в Париж, обещая ему, через брата, главнокомандование внутренней армией. Соблазн был велик. Но Бонапарт знал — помнил, что час его еще не пришел — «груша не созрела». Огненный юноша поступил, как охлажденный опытом старик. «Что мне делать на этой проклятой каторге?», т. е. в Терроре, ответил он Робеспьеру и отказался решительно. В этом отказе — весь Наполеон, с тем, что он потом называл «квадратом гения» и что можно бы назвать, по Гераклиту, «сочетанием противоположностей» — ледяного расчета и огненной страсти, Аполлона и Диониса. Он строит свою

безумную химеру с геометрической точностью.

Наступило 9 Термидора. Максимилиан Робеспьер был казнен и младший брат его вместе с ним. «Я был немного огорчен его несчастьем, потому что любил его и считал непорочным, pur, — писал Бонапарт о своем недавнем друге все так же холодно-расчетливо. — Но если бы даже отец мой пожелал быть тираном, я заколол бы его кинжалом».[579] Скоро эта записка ему пригодилась.

Пало правительство, которому служил Бонапарт. Вспыхнул новый террор. Якобинцы доносили друг на друга, чтобы спасти свои головы. Салицети, тоже недавний друг Бонапарта, сделал на него донос в Конвент, будто бы он вступил в заговор с обоими братьями Робеспьерами, составлял для них военные планы, чтобы предать Республику ее врагам, генуэзцам, и хотел восстановить разрушенные укрепления Марселя, гнезда контрреволюции.

Конвент постановил предать Бонапарта суду. 12 августа он был арестован и посажен в антибскую крепость. Знал, что один шаг из тюрьмы на плаху, мог бы легко бежать, но помнил, что этого делать не надо.

«От начала Революции не был ли я всегда ей предан? — писал он в своем оправдании Конвенту. — Я всем пожертвовал, все потерял для Республики… Я заслужил имя патриота… Выслушайте же меня, снимите с меня тяжесть клеветы… Если же злодеи хотят моей жизни, я так мало дорожу ею, так часто презирал ее. Да одна только мысль, что жизнь моя может быть полезной отечеству, заставляет меня нести бремя ее с мужеством!»[580]

Через две недели он был освобожден, но не восстановлен в прежней должности, а назначен командиром пехотной бригады в Западную армию, в глухую и кровавую Вандею, — в ссылку, и за отказ ехать туда выключен из списка боевых генералов. Такова была награда за Тулон.

Нить жизни его оборвалась; надо было все начинать сызнова.

В конце мая 1796 года он приехал в Париж. В армии уже был Наполеон, а в Париже — никто, или хуже — темная личность, опальный генерал Конвента. Обнищал, последние деньги, привезенные из армии, истратил на неудачные спекуляции. Праздный, шлялся по улицам. Иногда находили на него минуты отчаяния: «Я почти готов уступить животному инстинкту, влекущему меня к самоубийству». — «Я очень мало привязан к жизни… У меня всегда такое состояние духа, как накануне сражения; я убежден, что ежели смерть вот-вот окончит все, то серьезно беспокоиться о чем бы то ни было просто глупо; ну, словом, все заставляет меня бросить вызов судьбе, и, если это так

долго продолжится, я когда-нибудь не отскочу от наезжающей кареты».[581]

«Это было самое тощее, самое странное существо, какое я когда-либо видела, — вспоминает одна умная женщина Бонапарта тех дней. — Он носил по тогдашней моде собачьи уши, непомерно длинные, до плеч, волосы… Мрачный взгляд его внушал мысль о человеке, которого нехорошо встретить под вечер, на опушке леса… Платье тоже не внушало доверия: потертый мундир имел такой жалкий вид, что мне сначала трудно было поверить, что это генерал; но я скоро увидела, что он человек умный, или, по крайней мере, необыкновенный. Если бы он не был так худ, что казался больным и что жалко было смотреть на него, можно было бы заметить, что черты его лица удивительно тонки; особенно рот был прелестен… Иногда он много говорил и оживлялся, рассказывая об осаде Тулона, а иногда угрюмо молчал… Мне теперь кажется, что в очерке рта его, таком тонком, нежном и твердом, можно было прочесть, что он презирает опасности и побеждает врага без гнева».[582]

В это время он получил место маленького чиновника в топографическом бюро военной канцелярии при Комитете Общественного Спасения, львиной пасти Террора, и представил главнокомандующему внутренней армии, генералу Шерреру, план Итальянской кампании, тот самый, который исполнил через год, величайший стратегический замысел после Александра и Цезаря. Шеррер объявил его «безумной химерой, вышедшей из больного мозга».[583] Тогда Бонапарт решил ехать в Константинополь, к султану, артиллерийским инструктором: к черту на рога, только бы вон из Парижа!

После 9 Термидора положение Конвента сделалось безвыходным. Роялисты и якобинцы соединились: эти, чтобы задушить революцию; те, чтобы возобновить террор.

12 Вандемьера, 4 октября, тридцать из сорока восьми военных секций Парижа, с батальоном национальной гвардии в каждой, подняли восстание и осадили Конвент. Тридцать тысяч штыков угрожали ему. Главнокомандующий армией Конвента, генрал Мэну, не смея стрелять в «царя-народ», вступил в переговоры с бунтовщиками, за что был объявлен изменником и арестован. На место его назначен депутат Баррас. Будучи плохим генералом, он нуждался в помощнике. Вспомнили тогда о тулонском герое, Бонапарте.

В час ночи Баррас вызвал его к себе и предложил ему командование армией, вторым после себя.

— Дайте подумать, — сказал Бонапарт.

— Думайте, но не больше трех минут, — ответил Баррас и,

стоя перед ним, ждал.

В эти три минуты решалась судьба Наполеона. «Сделаться ли козлом отпущения за столько чужих преступлений? Прибавить ли имя свое к стольким страшным именам?»[584]

Спасти Конвент — спасти Террор. Только что Волчица-Революция едва не пожрала его; припадет ли он снова к ее железным сосцам? Может быть, он тогда не думал об этом; только прислушивался к тихому голосу своей Судьбы, к темному «знанию-воспоминанию».

— Я согласен, — ответил он через три минуты. «Бонапарт, это еще что за черт?» — недоумевали в армии Конвента. «Мне надо было увидеть этого маленького человека с монументальным лицом, чтобы узнать того, кто некогда в аллее Фейанов явился мне „как жертва“, — вспоминает генерал Тьебо, может быть, сам не понимая как следует всю глубину этих двух таинственных слов: „как жертва“. — Беспорядок в одежде, длинные, висящие волосы и ветхость всего жалкого убора по-прежнему обличали его нищету… Но он изумил всех своею деятельностью: был вездесущ; только что исчезал в одном месте, как появлялся в другом; изумил еще больше краткостью, ясностью и быстротой своих распоряжений, в высшей степени повелительных; наконец, верность его диспозиции сначала поразила, а потом восхитила всех».[585]

В течение пяти ночных часов он все приводит в порядок, «распутывает хаос».

Против тридцати тысяч штыков национальной гвардии у Конвента было только тысяч семь-восемь довольно сомнительного войска. Чтобы увеличить его, открыты были тюрьмы и выпущены самые опасные террористы. Пока болтуны болтали в Конвенте, солдаты братались с бунтовщиками на улицах. Бонапарт положил этому конец: вооружил самих депутатов, 800 человек, и болтуны умолкли, оробели, как будто вдруг поняли, что царству их наступает конец.

Секционеры отправили батальон в Саблонский лагерь, за артиллерией. Но Бонапарт уже раньше подумал об этом и послал за нею своего адъютанта, Мюрата; он предупредил секционеров и доставил артиллерию на площадь Людовика XVI. Этим все решилось. «Еще минута, и было бы поздно».[586]

Поутру батальоны Конвента заняли всю улицу Сэнт-Онорэ и расположились по ступеням церкви Сэн-Рок. На случай неудачи обеспечено было отступление на Медон, настоящей военной диспозицией, как на поле сражения.

Первая стычка произошла в тупике Дофина и около церкви. Бонапарт велел открыть картечный огонь из двух орудий,

помещенных на южном конце тупика. Ядра, летевшие вдоль улицы Нев-Сэн-Рок, очистили ее от бунтовщиков. Но у самой церкви начался яростный штыковой бой. Бонапарт установил батарею из шести орудий, трех справа, трех слева от входа в тупик, и картечным огнем обратил секционеров в бегство к Палэ-Роялю, на Вандомскую площадь, и дальше, на Карусельную, где тоже рассеял их картечью. Так исполнилось то, о чем он мечтал 20 июня 1792 года на той же площади: «Какая сволочь! Смести бы картечью сотни три-четыре, а остальные разбежались бы!»

Двух часов оказалось достаточно, чтобы шестью тысячами штыков разогнать тридцать тысяч. К шести часам вечера все было кончено.[587]

Бонапарт в этот день выказал такую же доблесть, как при осаде Тулона. Лошадь под ним была убита. «Слава Богу, все кончено, — писал он брату Иосифу 14 Вандемьера. — Мы перебили много народу и обезоружили секции… Теперь все спокойно. Я, по обыкновению, цел. Счастье за меня».[588]

Он поспешил отправить 60 000 франков в Марсель, маме Летиции, у которой тогда оставалась в кармане последняя пятифранковая- ассигнация.

В тот же день он произведен в главнокомандующие армией. Теперь уже никто не спросит: «Бонапарт, это еще что за черт?» Над Парижем, над Францией вставал во весь рост «маленький человек с монументальным лицом».

«Эти люди думают, что я нуждаюсь в их покровительстве, — говорил он без всякой гордости, — но когда-нибудь они будут слишком счастливы моим собственным покровительством. Шпага моя при мне, я с нею далеко пойду!»[589]

Вдруг весь изменился, преобразился. Адмирал Декрэ вспоминает о встрече своей после Вандемьера с Бонапартом, которого он считал своим другом: «Я кидаюсь, чтобы обнять его; но взгляд его, звук голоса останавливают меня. Ничего обидного не было в них, но я сразу понял все, и с той поры уже не пытался переступить за черту, которая была мне указана».[590]

Эта черта отделяет его только от равных, но не от низших: он так же прост с простыми людьми.

После Вандемьера в Париже был голод. Выдача хлеба прекратилась; народ толпился у булочных. Наблюдая за спокойствием в городе, Бонапарт, с частью своего главного штаба, проезжал верхом по улицам. Голодная толпа окружила его, стеснила, требуя хлеба с громкими криками, и все росла, становилась грознее. Одна непомерно толстая баба наступала яростнее всех, потрясая кулаками и крича: «Все эти золотопогонники смеются над нами: только бы им самим жрать

да жиреть, а что бедный народ подыхает с голоду, им наплевать!» — «Эй, тетка, посмотри на меня, кто из нас толще?» — ответил ей Бонапарт, и толпа рассмеялась, ярость потухла. Так от одной улыбки бога Солнца издыхает Пифон.

Наступали веселые дни Директории. В воздухе пахло весною; лед Террора таял на солнце Реакции.

В эти дни сошелся Бонапарт с виконтессой Жозефиной Богарнэ, урожденной девицей Ташэр, креолкой с острова Мартиники. Муж ее, президент Конституанты, главнокомандующий Рейнской армией, покинул ее в бедности, с двумя детьми на руках; кое-как перебивалась она, делая долги, занимаясь не слишком удачными спекуляциями и не отличаясь строгими нравами. Во время Террора виконт Богарнэ был казнен. Арестовали и гражданку Ташэр, хотя она выдавала себя за «добрую санкюлотку» и была подругой Шарлотты Робеспьер. Только чудом спаслась она от гильотины и прямо из кровавых застенков Консьержери попала в блестящие салоны бывших аристократов и новых спекулянтов, где и встретил ее Бонапарт.

Она была уже не первой молодости и скрывала свои годы — тридцать два. Смугла, как настоящая креолка, но искусно белилась; улыбалась осторожно, чтобы не показывать скверных зубов. У нее были прелестные, томные глаза и тихий голос, такой певучий, что слуги останавливались у дверей, чтобы послушать его. Главная же прелесть ее была в движеньях, плавных, влачащихся, как движения водорослей под набегающей волной. «Жозефина была совершенная грация, la grazia in persona», — вспоминал Наполеон на Св. Елене.[591]

В дни бедности у нее было шестнадцать платьев и только шесть юбок: чаще меняла платья, чем белье.

Нравом была как «десятилетняя девочка»: так же легко плакала и утешалась,[592] или как веселая птица мартиникских лесов. Можно ли было сказать об уме ее, что говорит Мольер о честности одного из своих героев: «Ее у него ровно столько, чтобы не быть повешенным»? У нее было очень много здравого смысла и тонкой женской хитрости. Наполеона, умнейшего из людей, — она не то что обманывала, но оборонялась от него с легкостью. «О чем бы я ни спросил ее, первым словом ее было: „нет“, и это, собственно, не было ложью, а только осторожностью, самозащитой».[593]

Кажется, первый шаг к Бонапарту сделала сама Жозефина. Все мечтала выйти замуж за финансиста, но финансист не подвернулся, и она удовольствовалась генералом. Через немного дней после первой встречи уже назначила ему любовное свидание в своем уютном особнячке на улице Шантерен, только что

купленном ею на деньги ее любовника, Барраса. И еще через несколько дней они — жених и невеста.

«Люблю ли я его? — пишет она подруге. — Нет, не люблю… У меня к нему только теплое чувство, которое мне самой не нравится и которое благочестивые люди считают в религии хуже всего».[594]

Он пламенеет. Жозефина — первая женщина, которую он любит, или воображает, что любит. Любить нельзя без страсти, но можно быть страстным без любви. Кажется, такова страсть Бонапарта.

«День, когда ты скажешь: „Я меньше люблю“, будет моим последним днем. Если бы сердце мое было так низко, чтобы любить без взаимности, я растерзал бы его своими собственными зубами».[595] Это, конечно, плохая риторика — воспоминание о «Новой Элоизе» и «Страданиях молодого Вертера». Жозефина это хорошо понимает. «Ах, какой он смешной, Бонапарт!» — смеется она, когда он грозит ей «кинжалом Отелло».[596] Но непрерывная восторженность его наконец утомляет ее, и на горизонте появляется господин Шарль, адъютант генерала Леклерка, маленький, курчавый крепыш с лицом коммивояжера, табельдотный Дон-Жуан. С ним Жозефине веселее, чем с Бонапартом. Она, впрочем, к нему снисходительна. «Я очень люблю Бонапарта, несмотря на его маленькие недостатки», — пишет она своему любовнику, Баррасу.[597]

Может быть, и Бонапарт себя не обманывает. Хорошо знает, что берет ее, еще непростывшую, с Баррасова ложа. Но ему некогда много думать об этом: любит, как ест, спеша, давясь, глотая куски. И потом, всю жизнь, будет некогда.

«Я никогда не любил по-настоящему; разве только Жозефину немного, да и то потому, что мне было тогда двадцать семь лет».[598] — «Я не люблю ни женщин, ни карт; я ничего не люблю; я существо совершенно политическое».[599]

19 Вентоза, 9 марта, 1796 года подписан был в мэрии брачный контракт. Может быть, оба, по взаимному безмолвному согласию, предпочли церковному браку, слишком крепкому, более слабый, гражданский.

— Что вы делаете! — пугал Жозефину за несколько дней до свадьбы ее нотариус мэтр Рагидо. — У этого генерала ничего за душой, — только плащ да шпага![600]

Но Жозефина не испугалась: помнила слова Бонапарта: «Шпага моя при мне, я с нею далеко пойду!»

Баррас был одним из брачных свидетелей. От него получила Жозефина великолепное приданое — производство Бонапарта в главнокомандующие Итальянской армией. Через два дня после

свадьбы он уже был на пути в армию.

Солнце еще не всходило, но уже порозовели утренние сумерки, и ему казалось, что он подымается от земли, как на могучих крыльях, — летит навстречу солнцу.

ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ

I. ИТАЛИЯ. 1796–1797

«Как я был счастлив тогда! Какой восторг, какие клики: „Виват освободитель Италии!“ И это в двадцать пять лет! Я уже предчувствовал, чем могу сделаться. Мир подо мною убегал, как будто я летел по воздуху».[601]

Чудо полета, чудо быстроты и легкости — таково и наше впечатление от Итальянской кампании. Но действительна в ней только быстрота, а легкость обманчива: стоит взглянуть на нее, чтобы понять, какой за нею труд, какая тяжесть.

«В Итальянской кампании он проявил наибольшее величие, — говорит генерал Лассаль в 1809 году, уже в вечерние дни Наполеона. — Тогда он был героем; теперь он только император. В Италии у него было мало людей, да и те без оружия, без хлеба, без сапог, без денег, без администрации; наружность его была незначительна; репутация математика и мечтателя; никакого дела еще не было за ним, и ни одного друга; он слыл медведем, потому что был всегда один и погружен в свои мысли. Он должен был создать все, и создал. Вот где он был всего изумительнее!»[602]

Может быть, при осаде Тулона трудности были не меньшие; но там — на клочке земли, а здесь — в целой стране и пред лицом всей Европы.

Бонапарт получил от Директории на завоевание Италии две тысячи луидоров, да и то в сомнительных чеках. Каждому из своих генералов он роздал по четыре луидора, и это было очень много, потому что давно уже в армии не видели ничего, кроме ассигнаций.[603] В штабе генерала Массена не было писчей бумаги для приказов. Двое поручиков, по воспоминанию Стендаля, носили, по очереди, одну пару штанов, а другой, идучи в гости к миланской маркизе, подвязывал к ногам веревочками сапоги без подошв.[604] Солдаты ходили в лохмотьях, голодные, пьяные, буйные, занимаясь только грабежом да мародерством. «Нищая рвань со всего Лангедока и Прованса под предводительством босяка-генерала», — говорит Альфьери об этой санкюлотской армии.[605]

«Когда солдат без хлеба, он делает такие дела, что стыдишься быть человеком, — пишет Бонапарт Директории. — Я покажу ужасные примеры и восстановлю порядок или перестану командовать этой разбойничьей шайкой».[606]

Армия — нищая, а генерал — больной: вошедшая внутрь тулонская чесотка, болезнь мочевого пузыря и гнилая лихорадка мантуанских болот изнуряют его так, что он похож на собственный призрак. Думают, отравлен. «Желтый такой, что сердце радуется!» — говорят роялисты и пьют за его близкую смерть.[607]

Только глаза на этом изможденном лице горят страшным огнем, «нестерпимым блеском расплавленного металла». Этими глазами он и укрощает зверя.

«Этот маленький генерал, сукин сын, навел на меня страх; я и сам не могу объяснить чувства, каким сразу, при первом взгляде на него, я был раздавлен», — признается генерал Ожеро, санкюлот-головорез.[608]

«Что они, смеются над нами, что ли? Мальчишку прислали командовать!» — ворчали старые усачи-гренадеры, но скоро поняли, каков «мальчишка». Сначала испугались, а потом полюбили его. «Даже болезненный вид Бонапарта нравился им до чрезвычайности».[609] За него еще больше любили — «жалели» его. В самом страшном огне сражений он уже не приказывал, а только одним взглядом, одной улыбкой позволял им идти на смерть, как женщина позволяет влюбленному безумствовать.

Вот чудо Бонапарта: в две недели «нищая рвань», «разбойничьи шайки» санкюлотов преображаются в македонские фаланги Александра, в римские легионы Цезаря — войска небывалые за две тысячи лет.

10 апреля начата кампания, а 26-го он говорит в воззвании к армии: «Солдаты! В пятнадцать дней вы одержали шесть побед, взяли двадцать одно знамя, пятьдесят пять орудий и несколько крепостей; вы завоевали богатейшую часть Пьемонта… Лишенные всего, вы все наверстали: выигрывали сражения без пушек, переходили через реки без мостов, делали форсированные марши без сапог, стояли на бивуаках без водки и часто без хлеба. Только республиканские фаланги, солдаты свободы, способны были терпеть, что вы терпели. Благодарю вас, солдаты!.. Но вы еще ничего не сделали по сравнению с тем, что вам остается сделать».[610]

Когда с высот Монте-Земоло он показывает им внизу, в блеске утра и весны, необозримо цветущие равнины Ломбардии, обетованную землю, — все они кричат, бьют в ладоши от радости: «Италия! Италия!» Точно вся армия летит вместе с вождем: «Мир подо мной убегал, как будто я летел по воздуху!»

Месяц цветов, апрель-Флореаль, — во всем; все утренне-молодо, весенне-весело. «Ничто не может сравниться с их храбростью, кроме веселости», — доносит Бонапарт Директории.

[611] «Только беззаветная храбрость и веселость армии равнялась бедности ее, — вспоминает Стендаль, участник похода. — Люди смеялись и пели весь день».[612] Может быть, завтра умрут, а сегодня поют и смеются, как некогда, под тем же небом Италии, темно-синим небом Умбрии, смеялся и пел святой «санклют», Франциск Ассизский.

Вся эта веселая война, как гроза в начале мая:

> Ты скажешь: ветреная Геба,
> Кормя Зевесова орла,
> Громокипящий кубок с неба,
> Смеясь, на землю пролила.

Кубок пьянейшего вина — свободы. «Народы Италии! Французская армия идет разбить ваши цепи; французский народ — друг всех народов. Выходите же к нему навстречу… Верьте, мы желаем зла только вашим тиранам».[613] — «Мы ваши друзья, потомки Брутов, Сципионов и всех великих мужей древности. Восстановить Капитолий, снова воздвигнуть на нем изваяния героев… пробудить римский народ, усыпленный веками рабства, — таков будет плод наших побед».[614]

Первое возрождение классической древности произошло здесь же, в Италии, — в созерцании, в образах искусств, а это второе — происходит в живых людях, в действии. Все эти молодые герои — Ланны, Мьюроны, Дезэ, и сколько еще других, неведомых, — чистые, твердые, ясные, прямые, как шпаги, — точно древние герои, снова пришедшие в мир. И среди них Бонапарт доблестнее всех. «В наши дни никто ни о чем великом не думает; я покажу пример».[615] — «Я тогда презирал все, что не слава».[616] Но кажется иногда, что он презирает и славу; едва наклоняется, чтобы пожинать лавры ее, едва снисходит к ней с высоты большей, чем слава, — с какой, этого он, может быть, и сам еще не знает.

Великодушно защищает побежденного врага, семидесятилетнего доблестного австрийского фельдмаршала Вурмсера. Пишет эрц-герцогу Карлу, предлагая мир: «Не довольно ли мы перебили людей и причинили им зла? Что до меня, жизнь одного человека мне дороже всех побед».[617] «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей», — скажет впоследствии.[618] «Лицедей, commediante», — заклеймит его папа. Но люди вообще не дураки: только «лицедейством» их не обманешь, — на войне особенно, где человеческие души обнажаются, как шпаги, и где нужна храбрость, а «храбрости, — по чудному слову Бонапарта, — не подделаешь: эта добродетель избегает лицемерия».[619]

Нет, стоит только вглядеться в лицо его, чтобы понять, что есть у него какая-то правда. Почему такая грусть, почти неземная, в этом лице? Или пророчески прав генерал Тьебо: «Некогда, в аллее Фейанов, я увидел его как жертву». И в первых лучах славы — восходящего солнца он уже знает — помнит звездную ночь — «Св. Елену, маленький остров»?

Все описания сражений даже у самого Наполеона для невоенных людей скучны. Сражение — молния: как изобразить, остановить молнию? Можно только отметить геометрические точки ее полета, чтобы дать понять силу грозы.

Монтенотте — 12 апреля, Миллезимо — 14-го, Дего — 15-го, Мондови — 22-го, Кераско — 25-го, Лоди — 10 мая: победа за победой — молния за молнией. В две недели взят Пьемонт, взломаны врата Италии. И дальше почти с той же быстротой молнийной: Лоди, Лонато, Кастильоне, Ровередо, Бассано, Арколь, Риволи, Фаворита, Тальяменто. В девятнадцать месяцев завоевана Италия с Тиролем, и Бонапарт у ворот Вены.

В этом венце побед — три алмаза: Лоди, Арколь, Риволи.

Детскою игрою кажется Лоди, как будто Бонапарт угадал, что солдатам хочется играть, а может быть, и самому захотелось испытать судьбу — «поставить на карту все за все».[620] Всякая игра бесполезна, но ведь и слава, и красота — все игры богов бесполезны и, чем бесполезнее, тем божественнее.

Бонапарт шел на Милан. Чтобы попасть туда, незачем было переходить через Адду, по Лодийскому мосту, и, уж во всяком случае, этого, казалось, нельзя было сделать играючи: мост охраняли десять тысяч австрийских штыков с тридцатью пушками. Но Бонапарт знал, что́ делает. Он построил своих гренадеров в две колонны: спрятал одну в засаду, а другую пустил на мост. Добежав до середины его, под страшным картечным огнем, голова ее остановилась, хотела было повернуть назад. Остановилось и сердце Бонапарта, замерло, как у игрока, который поставил на карту слишком много. Но это был только миг между двумя биениями сердца: снова забилось оно, уже от радости. Голова колонны страшно поредела, но не вернулась назад. Люди сползли по мостовым быкам в реку, нащупали брод, вышли на берег и рассеялись по полю цепью застрельщиков, делая вид, что обходят австрийскую линию в тыл, и отвлекая на себя огонь батареи. В ту же минуту вторая колонна, выпущенная из засады на мост, побежала стремительно, и не успели австрийцы опомниться, как французы ударили в штыки, захватили и батарею, и мост был перейден.

Так просто все, что ребенок поймет; и люди поняли. Множество лубочных картинок «Переход Лодийского моста»

появилось не только во Франции, но и в Германии, в Англии. Имя Бонапарта еще не умели произнести как следует, а слава уже подхватила его, и понесла, и протрубила в тысячи труб. Лег спать французским героем, а встал европейским. «Ни Вандемьер, ни даже Монтенотте, — говаривал впоследствии, — не внушили мне мысли, что я человек высшего порядка; только после Лоди пришла мне эта мысль; тогда зажглась во мне первая искра честолюбья высокого».[621]

Подвиг прост, но только Бонапарт был способен к такой простоте. Чтобы Лоди удалось, ему нужно было знать, что сделает на мосту голова первой колонны, с такою же точностью, с какою человек знает, что сделает сам; нужно было вождю чувствовать душу и тело всей армии, как свое собственное тело и душу. Этого никто не умел, от Александра и Цезаря до Бонапарта.

«Маленьким Капралом» назвали его солдаты после Лоди и влюбились в него окончательно: поняли, что он простым людям «свой брат» — «Человек», «l'Homme».

Лучше всех военных реляций объясняет Лоди литография тогдашнего художника Раффэ. Бонапарт греется у бивуачного огня, повернувшись к нему спиною, немного расставив ноги и заложив руки за спину, так же точно, как будет греться у каминов Тюльерийского дворца императором. Гренадеры окружают его: одни стоят на часах; другие тут же, у ног его, спят вповалку или курят трубки, пьют водку с революционным равенством; но все, кроме спящих, смотрят, точно молятся, на своего Человека-бога.

Арколь уже не игра. Тут Бонапарт, со всею армией, на волосок от гибели. Чтобы спастись, он решается на отчаянный план: по Адиджским болотам, почти непроходимым, зайти в тыл австрийскому фельдмаршалу Альвинци. Для этого нужно взять Аркольский мост, защищенный двумя орудиями так, что под картечным огнем, почти в упор, не только человеку, — мыши нельзя пробежать. После нескольких тщетных атак, заваливших мост трупами, люди отказываются идти на верную смерть. Тогда Бонапарт хватает знамя и кидается вперед, сначала один, а потом все — за ним. Генерал Ланн, дважды накануне раненный, защищает его телом своим от огня и от третьей раны падает к ногам его без чувств; защищает полковник Мьюрон, и убит на его груди, так что кровь брызнула ему в лицо. Еще минута, и Бонапарт был бы тоже убит, но падает с моста в болото, откуда только чудом спасают его гренадеры.

Мост не был взят. Значит, подвиг Бонапарта бесполезен? Нет, полезен в высшей степени: он поднял дух солдат на высоту небывалую; вождь перелил свою отвагу в них, как переливают воду из сосуда в сосуд; зажег их сердца о свое, как зажигают свечу

о свечу. «Кажется, я самый храбрый на войне человек, какой когда-либо существовал», — сказал он однажды просто, только потому, что к слову пришлось.[622] После Арколя можно было сказать: «Французская армия — самая храбрая, какая существовала когда-либо». И австрийский фельдмаршал Альвинци это почувствовал: сдал неприступные высоты Кальдеро, сдал Мантую, сдал всю Италию. Первая половина кампании кончена.[623]

Риволи — последний великий и самый тяжкий из боев Итальянской кампании. Он решался в уме Бонапарта, как задача математики, где никакою храбростью ничего не поделаешь. Задача решалась, но не могла решиться, потому что была уравнением со многими неизвестными, — по крайней мере, пятью: пять австрийских колонн выходили, одна за другой, из альпийских ущелий на плоскогорье, так что нельзя было угадать, когда и откуда выйдет каждая и куда пойдет. Австрийцы были свежи и дрались как никогда, а французы измучены непрерывными боями и форсированными маршами.

Бой начался в четыре утра, а к одиннадцати дела французов были уже отчаянно плохи: левый фланг обойден и почти разбит; центр, где стоял Бонапарт, еще держался, но казалось, вот-вот будет прорван. В эту минуту вышла как из-под земли пятая австрийская колонна, самая сильная; вскарабкалась по круче скал, из узкого ущелья — пропасти Инканале, и кинулась в бой, на правом фланге, опрокидывая все.

Тогда Бонапарт понял, что окружен и гибель его почти неизбежна. Сорок пять тысяч австрийцев охватили с обоих флангов и стиснули, как железными клещами, семнадцатитысячную французскую армию. Если бы в эту минуту что-нибудь изменилось в лице его, дрогнуло, — дрогнуло бы все и на поле сражения, побежало бы; но лицо его было спокойно, как у человека, решающего задачу математики. Зная, что ее нельзя решить, он все-таки решал; верил в нелепое, как в разумное; в чудо верил там, где чудес не бывает, — в математике. И, глядя на лицо его, солдаты тоже поверили в чудо, — и оно совершилось: пятая австрийская колонна опрокинута назад, в пропасть Инканале, и к вечеру все кончено, неприятель разбит. Но Бонапарт не мог бы сказать и вспомнить бы не мог, чего ему это стоило и как не сошел он с ума в этот страшный день.

Вдруг, перед самым концом боя, пришла еще более страшная весть: австрийский генерал Провера идет на Мантую; Мантуя снова будет взята, Мантуя — ключ ко всей Италии; и тщетен Арколь, и святая кровь Мьюрона — псу под хвост, и чудо Риволи не чудо, а просто нелепость: постояла-таки за себя математика!

Что же Бонапарт? Все еще не изменился в лице? Нет, изменился; закричал, как сумасшедший: «В Мантую, солдаты, в Мантую!» Или, может быть, только притворился сумасшедшим, и все еще безумно спокойно решал чудовищное уравнение, теперь уже не с пятью, а с неизвестным числом неизвестных.

«В Мантую!» — кричал он той самой 32-й полубригаде, которая только что, ночью, пришла из Вероны форсированным маршем, не переводя духа кинулась в бой и дралась так, что весь день все держалось на ней, как на волоске; той самой полубригаде, из которой давеча крикнул ему гренадер: «Славы хочешь, генерал? Ну, так мы тебе ее…! Nous t'en f… de la gloire!»[624]

«В Мантую! В Мантую!» — ответила 32-я, тоже как сумасшедшая.

От Риволи до Мантуи — тридцать миль. Чтобы поспеть вовремя, надо было идти, бежать всю ночь, весь день и опять, не переводя духа, кинуться в бой, и драться шести тысячам против шестнадцати, и победить. И пришли, и дрались, и победили под Фаворитою.

«Римские легионы, — писал Бонапарт Директории, — делали, говорят, по двадцать четыре мили в день, а наши полубригады делают по тридцати и в промежутках дерутся».[625]

Что значит Фаворита? Значит: двадцать две тысячи пленных; вся артиллерия, весь обоз — добыча победителя; Мантуя покинута австрийцами, и весь Тироль, и вся Италия; семидесятилетний фельдмаршал Вурмсер, воплощенная доблесть, душа Австрийской империи, у ног Бонапарта; Итальянская кампания кончена, и Фаворита — звезда Наполеонова счастья на небе — вечный алмаз.

Что нам Фаворита? Но вот нельзя вспомнить о ней без слез восторга, — перед чем? Может быть, лучше не говорить об этом; но хорошо для нас всех, что это было.

Кончена Итальянская кампания, но этот конец — только начало. «Солдаты! Вы еще ничего не сделали по сравнению с тем, что вам остается сделать!» — «Много еще форсированных маршей, непройденных, врагов непобежденных, лавров непожатых, обид неотомщенных. Солдаты, вперед!»[626]

Где же и когда он остановится? Никогда, нигде. Поведет их до края земли, до конца мира и дальше в бесконечность. Все они вознесутся с ним, как Оссиановы тени, — гонимые ветром мимо луны, облака-призраки; все полягут костьми в жгучих песках пирамид или в снежных сугробах Березины; все будут жертвами, как он. «Несчастный! Я тебя жалею: ты будешь завистью себе подобных и самым жалким из них… Гении суть метеоры, которые

должны сгорать, чтоб освещать свой век».

«Кончились героические дни Наполеона», — заключает Стендаль свой рассказ об Итальянской кампании.[627] Нет, не кончились; в жизни Наполеона героическое кончится только с самою жизнью, но оно уже будет иным. Этого непрерывного чуда полета, этой утренней свежести, юности, громокипящего кубка весенних гроз, и Оссиановой грусти, почти неземной, и чистоты жертвенной — уже не будет; будет выше полет, лучезарнее полдень, грознее гроза, царственнее пурпур заката, святее звездные тайны ночей и жертва жертвенней, — но этого уже не будет никогда.

17 октября 1797 года подписан мир в Кампо-Формио, и 5 декабря Бонапарт вернулся в Париж. Явным восторгом, тайною завистью встретила его Директория: малых умалял великий. «Они его отравят!» — заговорили в Париже, вспоминая скоропостижную смерть генерала Гоша.[628]

Бонапарт на обедах в Люксембургском дворце, у Директоров, прежде чем отведать вина или кушанья, ждет, чтобы отведали хозяева, а те улыбаются: ядер не боялся — испугался яда? И легкая улыбка порхает уже над всем Парижем, оскверняя славу героя.

«Думаете ли вы, что я здесь побеждаю, чтобы возвеличить адвокатов Директории или основать Республику? — писал он еще из Италии. — Нет, Франции нужен Вождь, а не болтуны-идеологи… Но час еще не наступил, груша еще не созрела».[629]

А пока что тесно и душно ему в Париже. «Париж давит меня, как свинцовый плащ!» — «Вольный полет в пространстве, вот что нужно таким крыльям. Здесь он умрет; ему надо уехать отсюда».[630] Куда, — он знает — помнит.

Чуть ли не с первых дней революции начался поединок Англии с Францией, старого порядка с новым, из-за мирового владычества. «Дух свободы, поставивший Республику от ее рождения во главе Европы, хочет, чтоб Франция была владычицей морей и самых далеких земель», — скажет Бонапарт в воззвании к Восточной армии.[631]

План военного десанта в Англии обсуждался, кажется, еще в Комитете Общественного Спасения; от него получила этот план в наследство и Директория. «Сосредоточим всю нашу деятельность на флоте, сокрушим Англию, и вся Европа будет у наших ног», — писал Бонапарт в самый день Кампо-Формийского мира.[632] Но когда был назначен главнокомандующим десантной армией, он думал уже о другом.

«Я только загляну на Север, и, если там, как я предвижу, ничего нельзя сейчас предпринять, — наша Английская армия

сделается Восточной». — «Нора для кротов ваша Европа! Великие империи основываются и великие революции совершаются только на Востоке, где живут шестьсот миллионов людей».[633]

Через Египет на Индию, чтобы там нанести смертельный удар мировому владычеству Англии, — таков исполинский план Бонапарта, «безумная химера, вышедшая из больного мозга». Но чем безумнее, тем лучше для Директории: «Пусть едет на Восток; там он себе шею сломит!»

19 мая 1798 года Бонапарт вышел из Тулона на стодвадцатипушечном фрегате «Ориент» во главе флота из сорока восьми военных и двухсот восьмидесяти транспортных судов, с тридцативосьмитысячной армией, направляясь через Мальту в Египет.

Знал — помнил, что ему надо взойти, как солнцу, с Востока.

II. ЕГИПЕТ. 1798–1799

Все вероятности были против нас, а за нас ни одной. С легким сердцем мы шли почти на верную гибель. Надо признаться, игра была безумная и даже самый успех не мог ее оправдать, вспоминает участник Египетской кампании генерал Мармон.[634]

Английская эскадра адмирала Нельсона сторожила Тулон. Флот не булавка: если бы даже удалось ему, чудом, выйти из гавани, мог ли не заметить Нельсон в открытом море, на полуторамесячном пути из Тулона в Александрию, этот растянувшийся на семь километров плавучий город? А ему достаточно было заметить его, чтобы истребить.

И вот тысячи людей, вверяясь счастливой звезде Бонапарта, ставят на карту в этой «безумной игре» судьбу свою, жизнь, честь — все, что имеют; и это не только люди отвлеченного мышления, члены Института — химик Бертолэ, физик Монж, археолог Денон, — может быть, уже отчасти знакомые с новою теорией вероятностей своего коллеги, Лапласа; но и люди трезвого житейского опыта, которым вообще не свойственно «безумствовать».

«Видишь ли ты этого человека? — говорил во время плавания банкир Колло генералу Жюно, указывая на Бонапарта. — Если бы ему понадобилось, он всякого из нас велел бы выбросить за борт; да, пожалуй, мы и сами, чтоб ему угодить, бросились бы в воду!»[635]

Сразу при выходе из гавани начинается «безумная игра»: ставка на ставку, выигрыш на выигрыш в геометрической прогрессии чудесностей. Если бы это не была история, этому

никто не поверил бы, как волшебной сказке.

В нужный день, час, минуту северо-восточный мистраль — настоящая буря — отгоняет английскую эскадру далеко от берега, рассеивает в море и повреждает корабли так, что их приходится чинить больше недели. Когда же она возвращается к Тулону, прошло уже двенадцать дней, как Бонапарт вышел оттуда. Верно угадав его направление на о. Мальту, Нельсон гонится за ним, нагоняет его и проходит мимо, не заметив: точно Нереиды, Наполеоновой Звезды сообщницы, замутили телескопные стекла англичан морскими туманами.

Мальта сдается французам в девять дней, почти без сопротивления. А тем временем Нельсон, опять верно угадав путь Бонапарта, идет на Александрию; но, не найдя его и там, продолжает идти дальше, на Сирию; если бы только еще день остался в Александрии, захватил бы французский флот наверняка: с мачты авангардного фрегата, посланного Бонапартом для разведки, видна была английская эскадра, уходившая в море. И потом, в течение целого месяца, Нельсон гоняется по всему Средиземному морю за исчезающим флотом-призраком, и за этот месяц происходит французская оккупация Египта.

2 июля, в час пополуночи, Бонапарт первый ступил на землю Египта. В тот же день, голыми почти руками, взята Александрия, некогда столица Востока, а ныне жалкий городишко, в шесть тысяч душ, и, через пять дней, французская армия выступила в поход на Каир, не по берегу Нила, где могла ее сторожить неприятельская флотилия, а наперерез, через пустыню Домангур.

Надо знать, что такое Египетская пустыня, далеко от Нила, в июле месяце, чтобы представить себе, что испытала армия за этот шестидневный марш. Людям казалось, что они попали в адово пекло; умирали, сходили с ума не столько от зноя, жажды и голода, сколько от ужаса. Началось дезертирство, ропот, почти открытый бунт. Но стоило появиться Бонапарту среди бунтующих, чтобы все затихало и люди снова шли за ним покорно, как тени за душеводителем Гермесом, в пылающий ад.

12 июля увидели Нил в половодье, широкий, как море; бросились в него, выкупались и забыли все свои муки, как забывают их тени в водах Леты. Продолжали путь уже по Нилу еще девять дней, как вдруг, на заре 21 июля, вырос перед ними, точно марево или волшебное видение из «Тысячи и одной ночи», Каир, с четырьмястами минаретов и с огромной мечетью Джемиль-Азара, возлюбленный город Пророка, наследник Мемфиса и Гелиополя. А рядом в желтой пустыне Гизеха, на серо-сиреневой дали Мокатамских гор, в солнечно-розовой мгле, —

млеющая бледность исполинских призраков. «Что это?» — спрашивали солдаты и, когда им отвечали: «Пирамиды, могилы древних царей», не верили, что эти горы — создание человеческих рук.

Под стенами Каира, в Эмбабехском лагере, ожидала их десятитысячная, славная по всему Востоку, мамелюкская конница, вся сверкавшая сталью, золотом и драгоценными камнями, — тоже видение Шахерезады. Впереди гарцевал на белом стройном, как лебедь, коне старый паша Мурад-Бей, в зеленом тюрбане с алмазным пером, повелитель Египта.

— Будем резать им головы, как арбузы на бахче! — воскликнул он, узнав, что у французов нет конницы.[636]

Храбрые сыны пустыни, мамелюки, дисциплины не знали, в пушки не верили, каждый верил только в себя, в свой дамасский клинок, бедуинского коня, да в Пророка.

— Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты пирамид! — сказал Бонапарт и построил пять дивизий каре, с четырьмя по углам, орудиями, — пять живых крепостей, ощетиненных стальною щетиной штыков.

Первым неистовым натиском мамелюкская конница едва не смяла крайнего, на правом фланге, каре генерала Дезэ, но он тотчас снова построился. И беспощадно медленно начали врезаться каре стальными клиньями в живое тело конницы. Всадники кружились вокруг них и жалко о них разбивались, как волны о скалы; налетали и отскакивали, как пес от взъерошившего иглы дикобраза.

Скоро бой превратился в бойню. Мамелюки, когда поняли, что участь их решена, точно взбесились: сделав последний выстрел из пистолета, нанеся последний удар ятаганом, кидали оружие в лицо победителей и сами кидались на штыки, хватали их голыми руками, грызли зубами и, падая и умирая у ног солдат, все еще старались укусить их за ноги. Так издыхала дикая вольность Азии у ног просвещенной Европы.

Весь Эмбабехский лагерь сделался добычей французов. Тут же солдаты устроили толкучий рынок, где продавали и покупали с аукциона драгоценные доспехи, только что сорванные с еще не остывших трупов; коней, седла, попоны, шали, ковры, меха, серебро, фарфор, восточные вина и лакомства, пили, плясали и пели революционные песни. А другие, поодаль, сидя на берегу Нила, выуживали на согнутые крюками и привязанные к длинным веревкам штыки золотую рыбку — тела мамелюков, залитые золотом.

И на это все «смотрели сорок веков с высоты пирамид».

24 июля французская армия вступила в Каир. Здесь Бонапарт

в течение тринадцати дней мог думать, что половина дела сделана: путь в Индию открыт. Но 7 августа пришла страшная весть: Нельсон наконец настиг свою добычу, французский флот, в Абукирской гавани, близ Александрии, пал на него, как ястреб на курочку, и уничтожил. Французский адмирал Брюэс был убит в бою.

Участь Египетской кампании была решена: Бонапарт, отрезанный от Франции, попался в свою же победу, как мышь в мышеловку.

— У нас больше нет флота; нам остается только погибнуть или выйти отсюда великими, как древние! — говорил он на людях, а наедине повторял, хватаясь за голову:

— Брюэс, Брюэс, несчастный, что ты со мной сделал![637]

Знал — помнил, что значит Абукир: море победило сушу; путь в Индию закрыт, — открыт куда? Этого он еще не знал — уже забыл; но помнила немая Судьба — пустая страница ученической тетради его с четырьмя словами: «Св. Елена, маленький остров». Абукир — отец Трафальгара, дед Ватерлоо.

Вот когда, может быть в первый раз, понял Бонапарт, что «от великого до смешного только шаг». Исполинская химера лопнула, как мыльный пузырь; гора мышь родила.

Снова начался ропот в армии. «Солдаты возмущались, и генералы тоже, — вспоминает Наполеон на Св. Елене. — Страшно сказать, но, кажется, хорошо, что флот был уничтожен в Абукире: иначе вся армия самовольно погрузилась бы на корабли».[638]

В штабе был заговор; схватить Бонапарта, силой отвезти его в Александрию и здесь принудить к переговорам с Англией, чтобы, отдав ей обратно Египет, получить пропуск на родину. Заговор не удался только потому, что открыт был вовремя.

Лопнула одна химера — возникла другая, еще более огромная: с тридцатитысячной армией, отрезанной от операционной базы, пробиться сквозь Сирию и Месопотамию в Индию по следам Александра Великого, поднять всю Азию и, во главе ее, с несметною армией, через Константинополь, зайти в тыл Европе, чтобы основать мировое владычество над Востоком и Западом.

Целыми днями, лежа на полу, на разостланных картах, Бонапарт измерял циркулем путь в Индию. Вспомнил ли тогда, как мечтал артиллерийским подпоручиком, в бедной комнатке Оксонских казарм, при тусклом свете сальной свечи: «Фараон Сезострис в 1491 году до Р. Х. покорил всю Азию и дошел до Индии по морю и посуху?»

«В Египте я чувствовал себя освобожденным от пут стеснительной цивилизации, — вспоминал он уже на высоте

величия, императором. — Я видел себя на пути в Азию, на спине слона, с тюрбаном на голове и с новым, моего сочинения, Алкораном в руках. Это было лучшее время моей жизни, потому что самое идеальное».[639]

Так ли безумны мечты его, как это кажется? Генерал Мармон, хорошо знакомый с тогдашним положением дел на Востоке и менее всего поклонник Бонапарта, уверяет, что, благодаря отсутствию военной техники в Азии, перевес качества над количеством мог бы дать очень небольшой европейской армии преимущества почти безграничные: в тело древнего материка врезалась бы она, как острое железо в мягкий воск. «Я мечтал и знал, что могу исполнить все мои мечты», — уверяет сам Бонапарт.[640]

Мечтал о несметном наборе феллахов и чернокожих туземцев Африки. Уже отправлял посольство в Мекку и письмо к одному из пограничных с Индией султанов.

Трудности духовные были еще больше материальных: чтобы в самом деле освободиться от пут европейской, христианской цивилизации, надо было освободиться от самого христианства. Был ли он готов и на это или только делал вид, что готов? Во всяком случае, неосторожно повторял легкую шутку легкого короля: «Париж стоит обедни!»[641] Это значит: мировое владычество стоит христианства.

«По вечерам я занимался теологией с беями, говорил им, что есть только Бог Магомета и что нелепо верить, будто бы Три — одно. У меня всегда было семь кофейников на огне, и ни один турок не заходил ко мне без того, чтобы не выпить кофе».[642]

Может быть, сыны Пророка кое-что поняли в нем, когда назвали его «Султаном Огненным»; но едва ли поверили, что он «посланник Божий», «второе воплощение Пророка», даже когда прочли его воззвание к мусульманским шейхам и улемам: «От начала мира на небесах было написано, что, уничтожив всех врагов Ислама, низвергнув кресты, я приду с Запада, чтобы исполнить свое назначение». — «Так-то я потешался над ними», — прибавляет он, вспоминая об этом.[643] — «Это было, конечно, шарлатанство, но высшего порядка».[644] И уверяет: «Вся армия вместе со мной переменила бы веру шутя».

Но если бы даже, действительно, армия санкюлотов-безбожников оказалась способной на такую «шутку», то, может быть, самому Бонапарту от нее не поздоровилось бы, как «вольтерьянцу», генералу Мэну, когда он, перейдя в мусульманство, сделался общим посмешищем.

10 февраля 1799 года Бонапарт выступил в Сирийскую кампанию. Вопреки всем своим исполинским химерам, он ясно

видел, что армия следует за ним только потому, что надеется вырваться из египетского плена.

Страшную Синайскую пустыню, где Израиль блуждал сорок лет, французы прошли в две недели; 25 февраля были в Газе, первом палестинском городе; 6 марта взяли Яффу, где пришлось расстрелять две тысячи пленных арнаутов. «Никогда еще война не казалась мне такою мерзостью!» — писал Бонапарт Директории. [645] Обогнув подножье Кармила, подошли 17 марта к стенам Сэн-Жан-д'Акра, древней Птолемаиды. В месяц с небольшим сделали почти семьсот километров от Каира, до Акра, с боями и крепостными осадами.

Жалкая крепостишка, «избушка на курьих ножках», «une bicoque», как Бонапарт называл Акр, казалась ему легкою добычею. Но судьба судила иначе. Два месяца длилась траншейная осада; половина армии была уложена, но Акр не сдался. Когда же английский коммодор Сидней Смит перехватил в море артиллерийский транспорт Бонапарта, а свою собственную артиллерию перекинул в крепость и усилил ее гарнизон двадцатью тысячами штыков, Бонапарт понял, что Акр — конец Сирийской кампании, так же как Абукир — Египетской: снова море победило сушу.

«Песчинка остановила мою судьбу, — скажет Наполеон на Св. Елене. — Если бы Акр был взят, французская армия кинулась бы на Дамаск и Алеппо и в одно мгновенье была бы на Ефрате. Шестьсот тысяч друзов-христиан присоединилось бы к нам, и как знать, что бы из этого вышло? Я дошел бы до Константинополя, до Индии… я изменил бы лицо мира!»[646]

Хуже всего было то, что он как будто вдруг ослеп — забыл, куда его зовет Судьба.

Дольше оставаться под Акром было невозможно. 20 мая Бонапарт снял осаду и начал обратный поход в Египет — те же семьсот километров, но теперь уже с разбитой армией. Люди шли вперед с надеждой, а назад — с отчаяньем: точно заживо погребенный хотел встать из гроба и не мог, повалился назад.

В том году лето было особенно жаркое: тридцать шесть градусов по Реомюру в тени. Ноги угрузали в зыбучем песке, а на темя капало расплавленное олово солнца. Так же как год назад, в Домангурской пустыне, люди издыхали от зноя, жажды, голода, усталости, сходили с ума, убивали себя.

Бонапарт шел пешком, в обозе больных и раненых: отдал под них всех лошадей. Были в обозе и чумные. Он дважды посетил их, еще в Яффском лазарете; подолгу беседовал с ними, утешал и даже одного будто бы помог перенести с койки на койку, чтобы доказать солдатам и врачам, что чума не так страшна, как

думают.

Шел в обозе, отражая нападения бедуинских разбойничьих шаек, круживших около войска, как овода и шершни — около избитого до крови вьючного скота. Мучился со всеми, всех утешал и ободрял. Вынес один, на руках своих, все войско из этого ада, как мать выносит дитя из пожара.

Нет, «героические дни» Наполеона не кончились: Лоди, Арколь, Риволи — вся Итальянская кампания — детская игра по сравнению с этим страшным походом. Жертвенное в лице его здесь проступает так ясно, как еще никогда. Огненная пустыня Сирии — мать ледяной пустыни Березины. Может быть, в поражениях своих он больше герой, чем в победах.

15 июня французская армия вернулась в Каир. Обе кампании, Египетская и Сирийская, были проиграны. Этого исправить не могла блестящая победа под Абукиром, 25 июля, когда семнадцатитысячный турецкий десант был сброшен в море.

В течение полугода не было вестей из Франции; ходили только темные слухи о какой-то несчастной войне. Вдруг, из случайно попавших ему в руки газет, Бонапарт узнал, что Франция — на краю гибели: внутри мятеж, извне война; Рейнская армия разбита, Итальянская тоже; потеряна Италия — его Италия.

Точно внезапный свет озарил Бонапарта, и он прозрел: вдруг понял — вспомнил, куда его зовет Судьба.

19 августа, тайком ото всех, выехал из Каира в Александрию. Здесь велел контр-адмиралу Гантому изготовить, тоже тайком, два уцелевших от Абукирского разгрома военных фрегата — «Мьюрон» и «Каррер».

23 августа появилось воззвание: «Солдаты! Вести из Европы принуждают меня покинуть Египет. Я оставляю командование армией генералу Клеберу. Армия скоро будет иметь вести обо мне; я больше ничего не могу сказать. Тяжело мне покидать солдат, к которым я больше всего привязан, но мое отсутствие продлится недолго».

Что такое генерал, покидающий армию, бегущий с поля сражения? Дезертир. Но надо было сделать выбор: изменить армии или Франции. Он шел, куда звала его Судьба.

В ночь на 24 августа Бонапарт погрузился на фрегат «Мьюрон» и на следующее утро потерял из виду берега Египта.

Снова начинается «безумная игра»: ставка на ставку, выигрыш на выигрыш, в геометрической прогрессии чудесностей.

Сидней Смит, так же как некогда Нельсон, гонится за кораблем-призраком, и те же Нереиды замутняют телескопные стекла его морскими туманами.

Первое веяние ветра, зюйд-оста, отнесло корабли Бонапарта километров на четыреста к западу от Александрии, к пустынным берегам Великой Киренаики; потом, изменившись на постоянный норд-вест, ветер медленно несет их вдоль африканского берега, совершенной пустыни, где искать Бонапарта англичанам не может прийти в голову.

Двадцать дней длится это безнадежно медленное плавание против ветра и морских течений. Каждое утро пловцы, измеряя пройденный путь, находят, что стоят на месте или даже отодвинулись назад. Наконец 19 сентября добрались до Сыртского залива, где наступил вдруг мертвый штиль; потом поднялся довольно крепкий зюйд-зюйд-вест и погнал корабли в пролив между мысом Боном и Сицилией. Здесь сторожил их английский крейсер. Но французы вошли в пролив как раз в нужный час сумерек; если бы чуть-чуть раньше, — неприятель увидел бы их; чуть-чуть позже, — сами не видели бы в темноте достаточно ясно, чтобы пройти мимо опасного берега. Ночью заметили огни на английском крейсере, а на рассвете уже потеряли его из виду.

То же попутное веяние ветра, зюйд-веста, — понесло их на Корсику; только бы одно дыхание лишнее, и очутились бы в самой середине английского флота; но вдруг изменившись на норд-ост, по-видимому противный пловцам, ветер сразу упал, как будто сделал свое дело — принес Бонапарта в его колыбель, Айяччио.

7 октября поднялся опять попутный ветер, и «Мьюрон» пошел прямо к берегам Прованса, на Тулон. Только сорок километров отделяло пловцов от берега, когда в виду Гиерских островов появилось двадцать два паруса — весь английский флот. С него заметили французские фрегаты и погнались за ними.

«Солнце заходило, и враг был против солнца, — вспоминает генерал Мармон, плывший на „Мьюроне“. — Мы видели ясно врага, а сами, в вечернем тумане, были ему почти невидимы; он не мог судить о положении наших парусов: только это нас и спасло. Минута была роковая. Гантом предложил Бонапарту вернуться на Корсику. Но тот, после минутного раздумья, решил предаться судьбе, только изменив направление — на Сэн-Рафаэль-Фрежюс. Англичане, думая, что два наших фрегата вышли из Тулона, погнались за нами в открытом море, в то время как мы шли прямо к берегу».[647]

На следующее утро, 9 октября, Бонапарт высадился во Фрежюсе и в тот же вечер выехал в Париж.

«Я не буду пытаться изобразить восторг, охвативший всю Францию, — вспоминает Мармон. — Искра, вспыхнувшая во

Фрежюсе, пробежала мгновенно по всей стране».[648] Искра восходящего солнца.

III. 18 БРЮМЕРА. 1799

«Желать убить революцию мог бы только сумасшедший или негодяй», — скажет Бонапарт после 18 Брюмера.[649] И на Св. Елене: «Рассуждают метафизически и долго еще будут рассуждать о 18 Брюмера, не нарушены ли нами законы, не совершено ли преступление. Но, в лучшем случае, это отвлеченности, годные только для книг, для трибун и исчезающие пред лицом повелительной необходимости; это все равно, что обвинять моряка, срубившего мачты, чтобы спастись от кораблекрушения. Деятели этого великого переворота могли бы ответить своим обвинителям, как тот древний римлянин: „Оправдание наше в том, что мы спасли отечество; возблагодарим же богов!“»[650]

Так, до конца жизни, Бонапарт верит, или хочет верить, что, убив злую половину революции, Террор, он спас ее половину добрую; а якобинцы убеждены, что он убил ее всю. Кто же кого обманывает или кто сам обманут?

«Возвращение Бонапарта было восходящим солнцем: все взоры устремились на него», — вспоминает генерал Мармон.[651] На него устремились все взоры, потому что видели в нем восходящее солнце мира после семилетней ночи войны.

«Виват Бонапарт! Мир, мир!» — кричали толпы, бежавшие за ним по всей Франции, от Фрежюса до Парижа.[652]

«Мы завоевали мир, вот что надо повторять во всех театрах, во всех газетах, в прозе, и в стихах, и в песнях», — скажет он вечером 18 Брюмера, по крайней мере, наполовину искренне. Что такое война, этот великий завоеватель знает, как никто; помнит и будет помнить всю жизнь, что чувствовал в Яффе: «Никогда еще война не казалась мне такою мерзостью!» Да, как это ни странно, воля к миру в нем так же сильна, как воля к войне: цель всех войн его — мировое владычество, соединение народов в братский союз — мир всего мира.

Он никого не обманывает, но все обманываются в нем. Бонапарт — бог не войны, а мира, — вот одно из тех огромных qui pro quo, которые любит иногда Судьба-насмешница.

Никого не обманывает, а если это и делает, то нечаянно. Может быть, даже слишком правдив для политики. «Довольно партий! Я их больше не хочу, не потерплю; я не принадлежу ни к одной из них; моя великая партия — французский народ», — говорит накануне 18 Брюмера, в самом пылу партийной свалки, на гребне той волны, которая должна поднять его к власти.[653]

Конец «партий» — это и значит: конец гражданской войны — внутренний мир.

Бывший член Конвента, нынешний депутат Совета Старейшин, Бодэн Арденнский, пламенный патриот и республиканец, умер будто бы от внезапной радости, что Бонапарт вернулся — солнце мира взошло: спасена Республика — Революция. Можно сказать, бедняга умер по недоразумению. Тем же недоразумением другие живут.

Этому ветру ложных чувств Бонапарт «позволяет нести себя к власти»,[654] подставляет ему свои паруса, как попутному ветру на фрегате «Мьюрон»; самообману всей Франции дает себя окутывать, как морскому туману, который окутывал корабль его, убегавший от Сиднея Смита.

Истину, впрочем, кое-кто уже смутно предчувствует. «Бог-покровитель, которого я призываю для моего отечества, есть деспот, только бы он был гением», — пишет пророчески памфлетист Суло в 1792 году, когда Бонапарта никто еще не знает.[655] И около того же года восемнадцатилетний Люсьен Бонапарт говорит о Наполеоне так же пророчески: «Кажется, он склонен быть тираном и будет им, если только достигнет власти; тогда имя его сделается для потомства ужасом».[656]

«Вот увидишь, мой милый: вернувшись, он похитит корону», — предсказывает генерал Мармон генералу Жюно при отъезде в Египет.[657] А клубный оратор во Фрежюсе приветствует Бонапарта, только что сошедшего на берег: «Ступайте, генерал, ступайте, разбейте неприятеля, а потом, если желаете, мы сделаем вас королем!»[658]

Свет восходящего солнца бежит по всей Франции, но, добежав до Парижа, меркнет в ноябрьских туманах.

Здесь «никто его не ждал… Особенного восторга при его возвращении вовсе не было… оно казалось бегством… Египетская кампания представлялась тогда безумным предприятием; бюллетени Восточной армии — хвастовством, а сам Бонапарт — авантюристом».[659]

В военных кругах обвиняли его в дезертирстве: с чисто военной точки зрения поступок его был, в самом деле, неизвинителен, и Директор Сийэс был прав, когда, жалуясь на открытое неуважение к нему Бонапарта, говорил: «Этого дерзкого мальчишку надо бы расстрелять!»[660]

Генерал Бернадотт предлагает Директории предать Бонапарта военно-полевому суду. «Мы для этого недостаточно сильны», — ответил ему Баррас.[661]

«Бонапарту надо было выбирать между троном и эшафотом», — уверяет генерал Тьебо.[662] Это — преувеличение,

но, может быть, многие этого хотели и надеялись, что так и будет.

А вообще в парижских салонах говорят о Бонапарте как о любопытной диковинке или новой моде — прическе à la grecque вместо à la Titus. Самым видом своим «Африканский герой» возбуждает любопытство: большею частью ходит в довольно странном штатском платье, — не то Робинзоном, не то героем из Шахерезады: высокая фетровая шляпа-цилиндр, зеленый длиннополый редингот, широкий пояс из восточной пестрой шали, кривой турецкий ятаган, осыпанный алмазами. Вид у него такой изможденный, что, «кажется, недели не проживет»:[663] впалая грудь, впалые щеки, смугло-оливковый цвет лица; только огромные глаза блестят невыносимым блеском.

Любопытные бегают за ним; но видеть его нелегко: нигде не показывается, кроме Института. Здесь принимает атеистическое помазание от бывших и будущих врагов своих, «идеологов», старых энциклопедистов, Вольнеев и Кабанисов.

Видеть его можно только в особняке Жозефины на тихой улице, бывшей Шантрейн, нынешней Виктуар, названной так в честь Бонапарта.

Ходит по саду; опавшие листья шуршат под ногами, как не похоже на шуршание сирийских песков; и на золотистой ржавчине листьев, на призрачной бледности античных ваз, как непохоже это лунное солнце Брюмера на то лютое солнце пустыни; и там, за окнами дома, в полукруглом салоне с помпейскою росписью, эти сквозящие сквозь воздушные ткани аттических пеплумов, точно голые, тела прелестных женщин, как непохожи на те страшные тела яффских чумных; и бронзовые сфинксы кресельных ручек — на того настоящего Сфинкса — первое, изваянное в камне лицо человеческое, смотревшее на последнее, может быть, лицо Человека — l'Homme.

Очень легко помирившись с мужем после мелодраматической ссоры из-за господина Шарля и других любовников, Жозефина усердно старается: злейших врагов Бонапарта опутывает хитрыми сетями, как Цирцея, и превращает в домашних животных. Так укрощен Директор Сийэс: с «дерзким мальчишкой», которого только что хотел расстрелять, он соединяет судьбу свою окончательно.

Здесь же, на улице Виктуар, задуман план переворота. Он очень прост: Конституцию убить Конституцией; под предлогом мнимого террористического заговора перенести заседание обеих палат, «верхней» — Совета Старейшин, и «нижней» — Совета Пятисот, из Парижа в подгородное местечко Сэн-Клу, назначив, для исполнения этой меры, генерала Бонапарта главнокомандующим войсками Парижского округа и всего

«конституционного района».

Все произойдет по-корсикански, по-семейному: главною рабочею осью переворота будет Люсьен Бонапарт, двадцатичетырехлетний председатель Пятисот, тот самый «гаденыш: briconcello», который некогда так ловко взорвал пороховой погреб под старым Батькой, Паоли: теперь он взорвет его под всею Францией. Тут же генерал Леклерк, муж Каролины Бонапарт, и генерал Мюрат, жених Полетты; командуя кавалерийскими частями в Сэн-Клу, Мюрат окружит самое здание дворца, где будут заседать обе Палаты. Остальные заговорщики — тоже все люди домашние, птенцы гнезда Бонапартова: генерал Бертье — начальник главного штаба, Ланн — пехоты, Мармон — артиллерии, Себастьяни, корсиканец, — командир драгунских эскадронов, он еще в Париже, в первый день переворота, окружит Палату Пятисот в Бурбонском дворце.

Директории бояться нечего, там только «гнилые», «les pourris», как тогда называли правительственную партию. Самый «гнилой» — Баррас, обладающий «всеми пороками древних и новых времен».[664] Баррас — воплощенное распутство, а Сийэс, аббат-расстрига и цареубийца, — воплощенная «идеология», т. е. бессилие; Гомункул в склянке, отец бесчисленных мертворожденных конституций. С такими ли Бонапарту не справиться?

День переворота назначен на 16 Брюмера; потом отложен на 17-е, пятницу; но Бонапарт суеверен, боится тяжелых дней, и, по его настоянию, еще раз отложили на 18-е — 9 ноября. Это казалось безумием: можно ли требовать тайны, в течение сорока восьми часов, от ста пятидесяти заговорщиков? Но оказалось, можно; тайны не выдал никто: «так велика была жажда переворота»,[665] так «груша созрела».

18 Брюмера, между семью и восемью часами темного ноябрьского утра, совет Старейшин, le Conseil des Anciens, собрался по внезапной ночной повестке в обычном месте своих заседаний — мрачной зале Тюльерийского дворца. Выслушав стоя составленное наспех донесение особой комиссии о мнимом заговоре террористов против свободы и отечества, и тут же, почти без прений, постановил декрет о перенесении на завтрашний день, к полудню, заседания обеих Палат в Сэн-Клу, поручив исполнение декрета генералу Бонапарту в качестве главнокомандующего Парижским военным округом. Только первая часть декрета была законна, вторая — нарушала конституцию: Совет Старейшин не имел права назначать главнокомандующих. Этим уже начинался переворот: ось его повернулась почти невидимо.

К десяти часам во дворец прибыл Бонапарт с драгунским эскадроном генерала Себастьяни и вошел в залу Совета с блестящею свитою своих штабных генералов.

Первый раз в жизни Бонапарту нужно было произнести речь перед парламентским собранием. Молниеносный вития в своих воззваниях к армии, а также с глазу на глаз, он не умел говорить с толпою, и странно было видеть, как этот человек, невозмутимый под ядрами, смущается, робеет под взорами «болтунов-адвокатов». «Когда он произносил речи, все замечали недостатки его произношения, — вспоминает одна современница. — Ему сочиняли речи заранее, переписывали крупными буквами и учили его произносить слова; но, начиная говорить, он забывал урок и, глухим голосом, едва открывая рот, читал по бумаге, с выговором еще более странным, чем иностранным, что производило тягостное впечатление: ухо и мысль неприятно поражались этим непреложным свидетельством его национальной чуждости».[666] Не француз, ни даже корсиканец, а неизвестно кто — человек без отечества.

«Республика погибла, — говорил Бонапарт. — Вы это поняли и издали декрет, который ее спасет… Ничто во всемирной истории не похоже на конец XVIII века; ничто в XVIII веке не похоже на эту минуту… С помощью всех друзей свободы, всех, кто основал и охранял Конституцию, я стану на страже ее. Мы желаем Республики, основанной на свободе и равенстве, на священных началах народного представительства, и мы ее будем иметь. Клянусь!»[667]

«Клянемся!» — ответили ему в один голос все генералы свиты, и гром рукоплесканий грянул с трибуны.[668]

«Так присягнул он той самой Конституции, которую хотел уничтожить», — замечает генерал Мармон.[669]

Из зала Совета Бонапарт сошел во дворцовый сад, чтобы показаться войскам. За ними стояла небольшая толпа. Лица были спокойны, как бы даже безучастны.

Выходя из дворца, Бонапарт заметил Баррасова посланца, секретаря его, Ботто, маленького тщедушного человечка, который старался протиснуться к нему сквозь толпу, и тотчас избрал его козлом отпущения за грехи Директории. Подойдя к Ботто и с минуту прислушавшись к его невнятному лепету, он взял его за руку, слегка отстранил и, обращаясь к войскам и толпе, воскликнул громким голосом:

«Армия соединилась со мной; я соединился с Законодательной Палатой!»

Трепет пробежал в войсках и даже в спокойной толпе.

«Что вы сделали с Францией? — продолжал Бонапарт, глядя

на Ботто испепеляющим взором; говорил уже не „по бумажке“, а от всего сердца, как бы с глазу на глаз. — Что вы сделали с Францией?.. Я оставил вам мир, и нахожу войну; я оставил вам победы, и нахожу поражения; я оставил вам миллионы Италии, и нахожу грабительские законы и нищету. Что вы сделали с сотней тысяч французов, сподвижников славы моей? Все они погибли… Это не может так продолжаться; раньше трех лет это привело бы нас к деспотизму… Кучка бунтовщиков уверяет, что мы — враги Республики, — мы, ее утвердившие своими трудами и своею доблестью. Нет, мы не хотим патриотов больших, чем храбрые воины, лившие кровь свою за отечество!»

«Виват Бонапарт! Виват Республика!» — закричали солдаты восторженно, и толпа им ответила.[670]

Все шло как по маслу. В течение дня из пяти Директоров один, Баррас, подал в отставку; двое, Сийэс и Дюко, соединились с Бонапартом; Гойэ сидел под домашним арестом в Люксембургском дворце, а генерал Мулэн, оставшись без войска, ничего не мог сделать.

В то же время Совет Пятисот заседал в Бурбонском дворце. Слыша о каком-то несуществующем террористическом, т. е. своем же собственном, заговоре, чуя близость переворота, якобинцы — большая часть Пятисот — бесновались жалко и бессильно. Кавалерийский эскадрон генерала Себастьяни окружал дворец: глядя на медные римские каски и обнаженные сабли драгун, «болтуны-адвокаты» вспомнили 13 Вандемьера; что грозило тогда, — теперь исполнилось: царству их пришел конец. Самые отчаянные хотели возмутить предместья Парижа. Но времена уже были не те: совершался — почти совершился переворот; и никто ничего не заметил; всюду тишина невозмутимая; ветер не дунул, лист не шелохнулся: революция тишайшая.

Длинная, узкая, с двенадцатью высокими, во всю стену, окнами, выходящими в сад, галерея Сен-Клудского дворца, так называемая Оранжерея, где 19 Брюмера должен был заседать Совет Пятисот, — несмотря на коринфские колонны и лепные украшения в величавом стиле Людовика XIV, напоминала пустой сарай. С раннего утра здесь лазили по лестницам и стучали молотками обойщики: чтобы хоть немного скрасить голые стены, кое-где обивали их тканями, завешивали коврами.

Было сыро и холодно, так что пар шел изо рта. В углу топилась чугунная печка; около нее грелись депутаты. В залу вошел Бонапарт, осматривал ее, скоро ли будет готова, и торопил обойщиков. Молотки постукивали, печка пофыркивала. Вдруг из кучки депутатов послышалось так внятно, что Бонапарт не мог не слышать:

«А, разбойник! А, негодяй!»[671]

На дворцовом дворе и в саду, мокром от вчерашнего дождя, под холодным ветром ясного, осеннего утра, тоже собирались кучки депутатов; совещались, сговаривались члены Совета Пятисот — с членами Совета Старейшин. Промедление становилось опасным. Видя дворец, окруженный войсками, и вспоминая вчерашние диктаторские замашки Бонапарта, многие не только из крайних, но и умеренных были встревожены: как бы самим в свою же западню не попасться.

«Он хочет быть Цезарем, Кромвелем! С этим надо покончить!» — говорили самые решительные.[672]

Пробило двенадцать, половина первого, час. Наконец-то зала Пятисот была готова.

В длинных, огненно-красного цвета, римских тогах, в высоких сапожках-котурнах, в странных четырехугольных шапках с трехцветными петушьими перьями, законодатели входили в пустой, холодный сарай — Оранжерею.

Президент, Люсьен Бонапарт, объявил заседание открытым, и почти тотчас же начались крики:

«Долой диктаторов! Мы здесь свободны! Нас не запугают штыками!»

Кто-то предложил для исследования «заговора» избрать комиссию — усыпительное лекарство парламентов. Но якобинцы об этом и слышать не хотели, бесновались. Люсьен звонил. Ему свистели, грозили, шикали. Толпа депутатов осаждала трибуну с воплями:

«Конституция или смерть!»

Наконец решили поголовную присягу конституции. Люсьен был доволен: враги Бонапарта потеряют драгоценное время, а друзья выиграют.

Чин присяги был сложен и медлен. В первые пять минут успели присягнуть только трое: если бы так дальше шло, — дня не хватило бы на пятьсот человек. Чин ускорили, и часам к четырем присяга была кончена.

С большим достоинством вел себя Совет Старейшин, заседавший в одной из соседних зал. Но и он был так же беспомощен. Депутаты просили членов особой комиссии, избранной вчера еще для исследования «заговора», объяснить точнее, в чем он состоит и какою именно опасностью грозит свободе и отечеству. Но комиссия ничего толком не могла объяснить, потому что сама не знала, и отвечала общими фразами. Начались бесконечные прения. В эту роковую минуту, когда судьба Революции, их собственная судьба решалась и меч Цезаря уже повис над их головой, «болтуны-идеологи»

продолжали болтать, исходили в словах, ничего не могли решить и, наконец, решили все отложить, прервать заседание, чтобы выждать событий.

В это время, в одной из нижних зал дворца, вследствие неровности почвы залы находились на разных уровнях, — в будущем кабинете императора, огромном, великолепно раззолоченном, но совершенно пустом, только с двумя креслами, сидел на одном из них, у камина, Сийэс, с позеленевшим от холода лицом, больше чем когда-либо похожий на Гомункула. Камин плохо топился; за неимением щипцов Сийэс мешал угли поленом. Но казалось, никогда никакое пламя камина, ни даже солнце не согреет бескровное тело Гомункула.

Бонапарт ходил по комнате взад и вперед, «с довольно-взволнованным видом». Каждые десять минут прибегал адъютант Лавалетт с вестями из Совета Пятисот. Вести были нехорошие: кое-кто из якобинских депутатов уже отправился в Париж бунтовать предместья; это, впрочем, было не так опасно, хотя как знать в такую минуту, что может произойти в следующую? Опаснее было то, что якобинские генералы, Журдан и Ожеро, злейшие враги Бонапарта, прибыли в Сэн-Клу; ждали и Бернадотта, который только о том и мечтал, как бы при первой возможности предать Бонапарта суду, теперь уже не только как «дезертира», но и «государственного преступника».

Бонапарт чувствует, что надо действовать, нельзя терять ни минуты. Через анфиладу пустых покоев он идет, один, без свиты, только с двумя адъютантами, в Совет Старейшин. Нарушая конституционный закон, запрещающий входить посторонним в зал Совета без приглашения, входит в него стремительно, почти вбегает; останавливается посредине зала, у председательской эстрады, и начинает говорить.

Говорит плохо, робеет, как всегда, перед собранием; забывает, что хотел сказать, путается, увязает в напыщенных фразах; слова то застревают в горле, то выскакивают, бессвязные.

— Вы на вулкане, граждане… Позвольте же мне, как солдату, говорить откровенно… На меня клевещут, говорят о Цезаре и Кромвеле, о каком-то военном правительстве… Но, если бы я его хотел, разве бы я поспешил сюда, чтобы поддержать народных представителей?.. Время не терпит… У республики больше нет правительства… Остался только Совет Старейшин… Пусть же он примет меры, — скажет: я сделаю. Спасемте свободу, спасемте равенство!

— А конституция? — прервал его чей-то голос.

— Конституцию вы сами нарушили, — продолжал Бонапарт после минутного, неловкого молчания. — Конституцию уже никто

не уважает. Я скажу все…

«Наконец-то откроет заговор!» — искренно обрадовались друзья Бонапарта, но, увы, ненадолго: он ничего не открыл и отделался такими же общими фразами, как давеча комиссия.

— Нет, граждане, я не интриган, — заключил неожиданно. — Я, кажется, достаточно доказал свою любовь к отечеству… Если же я враг его, то вы все будьте Брутами!

Чувствовал, что проваливается, и оробел окончательно, как новичок-актер на сцене или школьник на экзамене.

В зале подымается шум, крики:

— Имена, назовите имена!

Но он никого не называет и продолжает говорить темно и вяло, не попадая в цель, хватая через край. Вдруг начинает запугивать. Вспомнил фразу, сказанную некогда перед каирскими шейхами:

— Помните, граждане, что меня сопровождает бог войны, бог победы!

Фраза эта повергла к ногам его длиннобородых шейхов и учителей ислама, но на французских законодателей не действует. Слышится неодобрительный ропот.

— А вы, мои боевые товарищи, мои сподвижники, храбрые мои гренадеры, — кричит Бонапарт стоящим у дверей часовым, — если здесь какой-нибудь оратор, подкупленный иностранцами, осмелится произнести против вашего генерала слова: вне закона, да падет на голову его ваш боевой перун!

Председатель останавливает его, успокаивает, возвращает к главному вопросу о заговоре, но напрасно: он остается в общих местах, как будто вдруг сам становится «болтуном-адвокатом».

— Если погибнет свобода, вы дадите ответ перед миром, перед потомством, перед отечеством! — кричит, точно летит в пропасть, и выбегает из залы, как освистанный актер или провалившийся на экзамене школьник.

— Ожеро, помнишь Арколь? — спрашивает, проходя мимо якобинского генерала.

Тот улыбается молча, насмешливо; по этой улыбке Бонапарт чувствует, что в самом деле наступил Арколь, и так же, как тогда, один, со знаменем в руках, кинулся на мост, под картечный огонь, — кидается теперь в якобинское пекло — в Совет Пятисот.

В узком, ведущем из дворца в Оранжерею проходе такая давка, что Бонапарт с приставшей к нему на пути свитою едва может пробраться. Свита остается у дверей. Бонапарт входит в залу один. Здесь все еще бушует парламентская буря. Он с трудом пробирается среди депутатов и подходит к трибуне. Сначала его не замечают. Вдруг подымается неистовый шум, крик, вопль:

— Долой диктатора! Долой тирана! Вне закона! Вне закона!

Якобинцы окружают Бонапарта, теснят его, кидаются на него с кулаками, хватают за шиворот. Под тяжестью их навалившихся тел, под воспаленным дыханьем их ртов, изрыгающих брань, он бледнеет, шатается, — вот-вот упадет без чувств. «Над его головой блеснули кинжалы», — будут утверждать впоследствии друзья Бонапарта, а враги — отрицать. Но были кинжалы или нет, — во всяком случае, могли быть.

Гренадеры, стоящие на часах у дверей, видя своего генерала в опасности, кидаются к нему на помощь и расталкивают кулаками толпу депутатов; командиры тоже. На местах для публики перепуганные мужчины и женщины теснятся и загромождают проход; другие, стоящие в амбразурах окон, открывают их и выскакивают в сад. Свалка, крики, вопли, визги женщин.

— Виват Бонапарт! — визжит одна, как под ножом, и ей отвечают голоса из толпы.

Солдаты и командиры дерутся с депутатами. Один из них, запутавшись ногами в ковре, растянулся на полу во весь рост. У одного гренадера рукав разорван сверху донизу.

Бонапарт становится добычею якобинца Дестрэма, человека исполинского роста и геркулесовской силы.

— Так вот ты для чего побеждал! — кричит ему в лицо Дестрэм, и кулак его тяжело опускается на плечо Бонапарта, а «кулак у Дестрэма не хуже, чем у всякого другого».

Гренадеры наконец протеснились к Бонапарту, вырвали его из рук бесноватых и защищают своими телами. Великан Дестрэм продолжает бить солдат кулаками, предназначая удары генералу. Двое гренадеров уводят, почти уносят на руках Бонапарта. Лицо его мертвенно-бледно; черты искажены; глаза полузакрыты; свесившись на плечо, голова качается, как у деревянной куклы. Это ли «бог войны, бог победы»?

— Вне закона! Вне закона! — продолжают вопить бесноватые в зале.

Некогда, в дни Террора, этот крик убивал: тотчас за ним следовал стук гильотины; он теперь уже ослабел, но все еще страшен.

Депутаты лезут на трибуну, стучат по ней так, что кажется, разобьют ее в щепки; требуют, чтобы сию же минуту голосовали «вне закона».

Но председатель Люсьен оказывается на высоте положения: он один спокоен, непоколебим на трибуне, как скала среди бушующих волн. Он делает чудо, укрощает бурю и в наступившем затишье произносит несколько успокоительных слов в защиту брата.

Но тотчас опять подымаются крики:

— Сегодня Бонапарт омрачил свою славу, тьфу!

— Бонапарт вел себя королем!

— Ну-ка живей, председатель, голосуй! — переходят якобинцы с «вы» на «ты» по старому, доброму обычаю Террора.

Кто-то за что-то голосует, но в таком шуме, что нельзя понять, кто и за что. Как накануне, в Бурбонском дворце, собрание бессильно топчется на месте, нелепо и жалко беснуется.

Бонапарт сошел в нижнюю залу. В первые минуты он так растерян, что бормочет бессвязные слова и никого не узнает.

— Генерал, — обращается к Сийэсу, — они хотят объявить меня вне закона!

Сийэс все еще сидит у камина, зябнет и не может согреться. Он поднимает на Бонапарта спокойные глаза, как будто не удивляясь, что произведен в генералы; без всякого движения в бескровном лице — лице Гомункула — произносит с конституционной важностью пророческие слова:

— Сами они будут вне закона!

И, немного подумав, прибавляет с твердостью:

— Наступила минута рубить саблями! Но, чтобы начать рубить, надо зацепиться хоть за лохмотье законности.

— Вне закона! Генерал Бонапарт объявлен вне закона! — кричат, вбегая в залу, два Талейранова посланца.

Бонапарт выхватил шпагу из ножен, подбегает к окну, открывает его и кричит, как на поле сражения, стоящим на дворе войскам:

— К оружию! К оружию!

Крик повторяется из батальона в батальон. Долго не суждено ему умолкнуть: многоголосое эхо Истории будет повторять его все дальше и дальше, до самого края земли.

Бонапарт со свитою выбегает во двор, садится на лошадь и скачет по фронту стоящих у дворца гренадеров правительственной гвардии.

— Солдаты! — кричит, — могу ли я на вас положиться?

Гренадеры молчат, может быть, думают: «Пусть господа дерутся, нам ни тепло ни холодно!» Сийэсу, глядящему из окна, чудится даже подозрительное движение в их рядах, как будто они хотят кинуться на Бонапарта.

Но он уже скачет к своим верным драгунам и линейным полкам. Там встречают его бурей восторженных криков. По знаку его наступает тишина, он говорит командирам; жалуется на Совет Пятисот, «подлых изменников, предателей отечества, наймитов Англии»:

— Я им говорил, как спасти республику, а они меня хотели

убить!

Вид у него зловещий; кровь на лице: давеча, в первые минуты отчаяния и бешенства, расчесал, расцарапал ногтями на лбу сыпь от тулонской чесотки. Видя эту кровь, солдаты верят, что якобинцы хотели его убить.

— Солдаты! Могу ли я на вас положиться?

— Можешь! Можешь! Виват Бонапарт! Виват Республика!

Но гренадеры у дворца по-прежнему молчат. А время проходит; скоро пять часов; наступают ранние сумерки; тени сгущаются под голыми деревьями парка, а внутри дворца уже почти совсем темно. Еще немного, и роковой день канет в еще более, может быть, роковую ночь. «Если бы тотчас объявили Бонапарта вне закона, Бог знает что случилось бы», — вспоминает очевидец.[673]

Генерал Фреживаль, выскочив из Оранжереи, подбегает к Бонапарту и шепчет ему на ухо слова председателя Люсьена:

— Если раньше десяти минут заседание не будет прервано, я ни за что не отвечаю!

Вдруг лицо Бонапарта преображается; молния сверкнула в глазах его; он снова «бог войны, бог победы». Понял — вспомнил, что надо делать: вывести, вывести Люсьена из якобинского пекла.

Сказано — сделано. Десяти минут не прошло, как отряд верных Бонапарту гренадеров 79-го линейного полка выносит председателя на руках, точно «мощи», из Оранжереи во двор. Он садится на лошадь и скачет к Бонапарту. Брат соединился с братом, председатель Палаты — с главнокомандующим армией, законодательная власть соединилась с исполнительной: наконец-таки штык зацепился за лохмотье закона: армия спасает Республику.

— Генералы, солдаты, граждане! — кричит Люсьен уже охрипшим голосом. — Террористы в Совете Пятисот, наглые разбойники, подкупленные Англией, возмутились против Совета Старейшин и предлагают объявить вне закона главнокомандующего армией… Объявляю вам, что истинные законодатели Франции — только те, кто выйдет ко мне из собрания; остальные же да будут разогнаны силою… Эти убийцы — уже не представители народа, а представители кинжала!

Он указывает на окровавленное лицо Бонапарта; потом берет обнаженную шпагу и наставляет ее острием на грудь брата, в трагической позе, достойной актера Тальма:

— Клянусь, я своею собственною рукою убью брата моего, если он покусится на свободу Франции!

Не вспомнил в эту минуту Гаденыш своего пророчества: «Если Наполеон достигнет власти, он будет тираном, и самое имя

его сделается для потомства ужасом!»

Наконец-то общий восторг увлекает и гренадеров правительственной гвардии. Бешеные драгуны и роты 79-го линейного напирают на них сзади. Они уже сдвинулись и готовы идти, куда велит Бонапарт. Наконец-то может он отдать приказ.

Командиры подняли шпаги; барабаны бьют в атаку. Мюрат строит колонну и ведет ее на дворец. Под тяжелый топот марширующих ног сыплется, сыплется в густеющих сумерках глухими раскатами барабанная дробь.

Толпа расступается в ужасе и с восторгом приветствует Цезаря Освободителя:

— Ура! Долой якобинцев! Долой 93-й год! Это Рубикон!

Глухо сквозь толстые стены дворца доносится издали барабанная дробь; ближе, все ближе, по коридорам и лестницам, — и вот уже у самых дверей.

Двери распахнулись настежь, и блеснули штыки.

Собрание все еще беснуется с ревом издыхающего зверя. Но колонна медленно входит; узкая сначала, постепенно расширяется и занимает всю переднюю часть галереи. Красные тоги, одни уже бегут, другие, в глубине залы, стесняются, сплачиваются в красное тело.

— Воины! Вы омрачаете ваши лавры, — вопит кто-то с трибуны; но барабанный бой заглушает вопль.

— Вы распущены, граждане! — кричит Мюрат. В залу входит вторая колонна, под командой генерала Леклерка.

— Гренадеры, вперед!

Но Мюрат лучше скомандовал:

— Ну-ка их всех… матери! F…moi tout se monde làdehors!

Солдаты, скрестив штыки, наступают, и, перед их стальною щетиною, красное тело тает, как воск от огня.

В пять минут зала очищена. Только последние упрямцы, усевшись в кресла, застыли, не двигаясь, как последние римские сенаторы — перед варварскою шайкою Атиллы. Но гренадеры спокойно берут их в охапку, как непослушных детей, и выносят на Двор.

Ночь, темнота, пустота. И непрерывно сыплется глухими раскатами барабанная дробь.

Кое-кто бежал постыдно, выскочил в окно; большая же часть депутатов отступила перед грубою силою с достоинством, как подобает законодателям. Но на дворе вдруг все изменилось. Солдаты встречают «господ-адвокатов», «убийц» своего генерала, «подлых наймитов Англии» бранью, смехом, свистом, гиком, улюлюканьем. Красные люди не знают, куда им деваться, путаясь ногами в длинных тогах, быстро уходят, через дворы, террасы,

цветники, в аллеи парка, в просеки леса, в темную ночь; бегут, как будто гонится за ними кто-то невидимый; роняют, скидывают красные тоги, рвут их, зацепившись за колючки кустов. Красные лохмотья краснеют по оврагам и волчьим ямам, точно кровавые следы убегающего раненого зверя — своим же Волчонком затравленной, загрызанной Волчицы-Революции.

Ça ira, ça ira
Les aristocrates à la lanterne,
Ça ira.
On les pendra!
Эй, смотри, смотри,
Народ,
Твой денек придет;
Всех господ —
На фонари! —

пели солдаты весело, маршируя ночью по большой Версальской дороге из Сэн-Клу в Париж. Совесть их была спокойна; исполнили свой долг: спасли Республику — Революцию![674]

— Водевиль сыгран! — сказал кто-то депутату Пятисот, встретив его ночью в Сэн-Клудском парке и рассмеявшись ему в лицо.

Да, водевиль Революции сыгран.

В ту же ночь Талейран ужинал в кругу веселых гостей, в тихом домике своей приятельницы в Сэн-Клу. Речь шла о событиях дня.

Кто-то поднял на свет бокал, любуясь тающими искрами моэта, прищурил глаз, усмехнулся и проговорил:

— Генерал Бонапарт, генерал Бонапарт, вы нынче вели себя некорректно!

Это значит: «струсили».

Что с ним, в самом деле, произошло, когда гренадеры выносили его на руках из якобинского пекла? «Струсил» ли болтунов-адвокатов «самый храбрый на войне человек, какой когда-либо существовал»?

Да, ужас прошел по душе его, какого он никогда не испытывал ни прежде, ни после. Ужас чего?

Ultima Cumaei venti jam carminis aetas;
Magnus ab integro sarculorum jam nascitur ordo…
Aspice convexo matantem pondere mundum.
Ныне реченный Сибиллой, последний век

наступает;
Ныне от древних веков мир обновленный родится…
Зришь ли, как всей своей тяжестью зыблется ось мировая?
Виргилий, IV Эклога

Прав Бонапарт: ничто во всемирной истории не похоже на Французскую революцию; ничто в Революции не похоже на эту минуту — 18 Брюмера — вершину вершин, крайнюю точку, где в самом деле «зыблется мировая ось», центр мирового тяготения перемещается.

«Началась новая эра — власть одного», — с точностью определяет это перемещение один современник.[675] И другой: «Все правительство сводилось к нему одному».[676] Бонапарт и Революция, человек и человечество. Все и Один — вот передвинувшиеся мировые века-эоны.

Есть на староцерковном русском языке слово чудной глубины преставление — смерть. Когда человек умирает, он «переставляется», перемещается из одной категории бытия в другую. Нечто подобное совершалось и в ту минуту: умирал эон человечества — рождался зон Человека.

Шум — признак революций малых; тишина — великих. «Вернувшись в Париж, я нашел город таким спокойным, как будто ничего не случилось или как будто Сэн-Клу находилось от Парижа верст за четыреста».[677]

Мировая ось передвинулась; все переместилось, как бы опрокинулось, перевернулось вверх дном, — и ветер не венул, лист не шелохнулся; революция тишайшая. Никто ее не заметил, — заметил только Бонапарт, по оледенившему всю кровь в жилах его неземному ужасу. В ту минуту, когда лицо его побледнело, как у деревянной куклы, он казался «трусом», а на самом деле оставался «самым храбрым человеком, какой когда-либо существовал». Может быть, во всей жизни его не было минуты более героической, ибо всякий другой был бы раздавлен, как червяк, этою тяжестью, смолот, как мякина, между двумя жерновами — эонами, а он уцелел, умер Бонапарт — воскрес Наполеон.

Что испытал бы человек, если бы душа его «преставилась», переселилась заживо из своего тела в чужое, — этого мы и вообразить не можем. А Бонапарт испытал именно это, когда душа его, выйдя из своего революционного тела, переселялась в тело Кесаря.

Но он испытал и другой ужас, бóльший.

«Желать убить Революцию мог бы только сумасшедший или негодяй». Он знал, что ее нельзя убить, потому что в ней — вечная правда, вечная жизнь; это знал лучше, чем кто-либо, он, бессмертный Волчонок бессмертной Волчицы: не вся ли кровь в жилах его — молоко ее железных сосцов! «Я — Революция. Je suis la Révolution», — скажет и Наполеон-Кесарь, так же как Бонапарт. И стоит только вглядеться в лицо его, чтобы узнать ее в нем. Нет, он ее не убил; он хуже сделал: возлюбил ее страшной любовью, смесил свою сыновнюю кровь с ее материнскою; мать свою, как Эдип, обесчестил. Но тот не знал, что делает, а этот почти знал — помнил, и все-таки сделал; не мог не сделать, потому что для этого и послан был в мир. Знал — помнил и то, что это ему не простится. Вот почему так побледнел, когда услышал: «Вне закона!» — и в глаза ему сверкнул не кинжал якобинцев, а вечный кинжал Немезиды — Судьбы.

Судьбою увлекаемы оба, Эдип и Наполеон; хотят не хотят, должны повторять в своей человеческой трагедии божественную мистерию: сын Земли и Неба, Дионис зачинает от своей собственной матери, Деметры — Земли, себя же самого; рождает себя из зона в зон, в лице второго Диониса, Вакха — тени сына Грядущего.

Чтобы укротить бога-зверя, людей пожирающего Сфинкса, Эдип разгадал загадку его: Человек. То же сделал и Наполеон, но уже не на словах, а на деле: от матери своей, Революции, родил себя самого из времени в вечность; Бонапарт родил Наполеона, человек — Человека.

Вот солнце, восходящее из материнского лона древней ночи, древнего хаоса — Революции: Наполеон-Человек.

ПОЛДЕНЬ

I. КОНСУЛ. 1799–1804

Власть принадлежала одному Бонапарту, Первому Консулу, когда после 18 Брюмера учреждено было вместо Директории Консульство из трех лиц — Сийэса, Роже-Дюко и Бонапарта.

Власть за мир — таков был безмолвный договор между ним и Францией. Но, чтобы заключить мир, надо было сначала победить — отвоевать Италию: для того ведь он и вернулся во Францию, покинув Египетскую армию как «дезертир». Долгая война была невозможна как по отчаянному состоянию финансов, так и по слишком сильному в стране желанию мира; надо было нанести врагу внезапный удар, пасть на него, как молния.

В марте 1800 года австрийская армия генерала Меласа, «увязнув», по выражению Бонапарта[678]

, на Лигурийской Ривьере, где осаждала Геную, — очистила Пьемонт, Ломбардию, всю Верхнюю Италию и освободила проходы через Гельвецийские Альпы. Этим и решил он воспользоваться, чтобы кинуться в Ломбардию, зайти Меласу в тыл, настигнуть его врасплох, отрезать от операционной базы и уничтожить. Но для этого нужно было повторить баснословный подвиг Ганнибала — перейти через Альпы.

6 мая Первый Консул выехал из Парижа, а 15-го началось восхождение на Альпы сорокатысячной резервной армии — битва человеческого муравейника с ледяными колоссами, Симплоном, Сэн-Готаром и Сэн-Бернаром.

Главный переход был через Сэн-Бернар, от Мартиньи на Аосту. В тесном ущелье, на линии вечных снегов, по обледенелым, скользким тропинкам, над головокружительными пропастями, где и одному человеку трудно пройти, шла бесконечным гуськом пехота, конница, артиллерия. Снятые с лафетов пушки вкладывались в выдолбленные сосны, округленные спереди и плоско обструганные снизу, чтобы могли скользить по снегу; канониры запрягались в них и тащили на веревках, сто человек каждую. Снежная буря била в лицо; изнемогали, падали, вставали и снова тащили.

В самых трудных местах играла музыка, барабаны били в атаку, и солдаты штурмовали кручи, как крепости; становились друг другу на плечи, образуя живую лестницу, и карабкались на отвесные скалы; хватаясь за острые камни руками, сдирали с них кожу, ломали ногти, окровавливали руки. И все это делали

весело, с революционными песнями, — славили победный путь человечества: per aspera ad astra, «через кручи к звездам».

Спуск был еще труднее подъема: на северном склоне — зима, с крепким снегом, а на южном — уже весна, со снегом талым, рыхлым. Неосторожно ступая на хрупкий наст, люди, лошади, мулы проваливались в глубокие ямы с мокрым снегом и тонули в нем; или, срываясь с обледенелых и оттаявших, особенно скользких, круч, падали в пропасти.

Так едва не погиб сам Бонапарт: мул оступился под ним на краю бездны и, если бы проводник не удержал его за повод, полетел бы в нее вместе с всадником. 27 мая французская армия вступила на беззащитные равнины Ломбардии. Этот главный маневр всей кампании сразу дал Бонапарту стратегическое превосходство над австрийской армией, оказавшейся в положении неестественном, повернутой тылом к Франции, фронтом к Ломбардии, застигнутой врасплох и отрезанной от своей операционной базы. Дверь во вражий дом была взломана, и Бонапарт в него вошел; пал на Италию, как молния. 2 июня уже вступил в Милан, а генерал Мелас все еще думал, что он в Париже.

Первая половина дела была сделана, оставалась вторая: разбить Меласа. Тот перешел через По, но, считая позицию свою невыгодной и ожидая подкреплений, боя не принимал, уходил. Бонапарт ловил его и, чтобы поймать, растягивал и ослаблял свою боевую линию. Мелас, отличный стратег, это заметил и ловким маневром собрал все свои силы на обширной равнине Сан-Жульяно и Маренго, чтобы прорваться сквозь центр Бонапарта.

14 июня, на заре, начался великий бой, решавший участь Италии, Австрии, Франции — всей Европы. Счастье было на стороне Меласа — превосходство артиллерии: сто орудий против пятнадцати. Чуя победу, австрийцы дрались, как львы; отразили четыре общих и двенадцать кавалерийских атак; захватывали на равнине селение за селением и громили французов непрерывным картечным огнем. Как ни стойко держались они, но сила солому ломит, — не выдержали, наконец дрогнули и, к двум часам пополудни, начали отступать по всей линии.

Тогда Бонапарт кинул в бой свой последний резерв — восемьсот гренадеров Консульской гвардии. Этот «гранитный редут» как стал в каре, так и стоял, не двигаясь, под бешеным натиском австрийской пехоты, конницы, артиллерии; но сделать ничего не мог, — только прикрывал отступление, почти бегство всей армии и наконец начал сам отступать медленно-медленно, шаг за шагом, — четыре километра в три часа.

Бой был проигран. Контуженный и ошалелый от радости, Мелас уже отправил в Вену курьера с вестью о победе.

Бонапарт видел, что бой проигран: все поставил на карту и все проиграл: Италию, Францию, Брюмер; только что был кесарем, — и вот опять «дезертир», «государственный преступник, вне закона», убийца Революции-Матери, «сумасшедший или негодяй».

«Да, бой проигран, — говорил он штабным генералам, сидя на откосе дороги, у Сан-Жульяно, и пожевывая травку. — Но еще только два часа: один бой проигран, — можно дать другой, если подоспеет генерал Дезэ с резервами…»

Выплюнул травку, сорвал другую и опять зажевал. Был спокоен. Но через двадцать один год, в муках агонии, вспомнит эту минуту, и смерть будет не страшнее.

«Генерал Бонапарт, генерал Бонапарт! вы нынче вели себя некорректно», — вы струсили. Кто это сказал, пусть бы теперь взглянул на него: может быть, понял бы, что все земные страхи победивший побежден был только страхом неземным.

«А вот и генерал Дезэ!» — проговорил Бонапарт все так же спокойно, как будто знал — помнил, что это будет — было; глубоко вздохнул, встал, вскочил на лошадь и полетел в сражение, как молния.

«Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы должны мне ею пожертвовать!»[679]

Первая жертва — Дезэ — возлюбленный брат Наполеона: только что кинулся в бой, — убит пулей в грудь навылет; падая, успел воскликнуть: «Смерть!» Но бессмертный дух героя вошел в солдат. «Умереть, отомстить за него!» — с этою мыслью кинулся в огонь шеститысячный резерв генерала Дезэ. И сто австрийских орудий молчат, беглецы возвращаются в бой, гонимые гонят, разгромленные громят.

«Человек рока!» — шепчет Мелас в суеверном ужасе, вглядываясь в лицо Бонапарта — молнию.

И австрийская армия капитулирует. Отдан Пьемонт, отдана Ломбардия и вся Италия до Минчио.

Это — Маренго, победа побед — Наполеонова солнца полдень.

Франция обезумела от радости: «победа — мир!»

Мир Люневильский с Австрией, 9 февраля 1801 года; мир Амиенский с Англией, 25 марта 1802 года. Десятилетние войны-революции кончены. Кажется, что это мир всего мира.

Бонапарт исполнил договор: взял власть — дал мир.

В мире первое дело его — снова вдохнуть во Францию исторгнутую из нее Революцией христианскую душу. Сам не

верил, но знал, что без веры людям жить нельзя.

15 июля 1801 года подписан Конкордат, соглашение Франции со Святейшим Престолом: Галликанская церковь восстановлена во всех своих правах, воссоединена с римскою, и папа снова признан ее главою; Первый Консул назначает епископов, а Ватикан посвящает их и утверждает; ни одна папская булла не может быть объявлена и ни один собор созван во Франции без разрешения правительства.

«Это самая блестящая победа над духом Революции, и все дальнейшие — только следствие этой, главной, — замечает современник. — Успех Конкордата показал, что Бонапарт лучше всех, окружавших его, угадывал то, что было в глубине сердец». — «Не хотите ли, чтобы я сочинил новую, неизвестную людям религию? — говорил он врагам Конкордата. — Нет, я смотрю на дело иначе; мне нужна старая католическая религия: она одна в глубине сердец, неискоренимая, и одна только может мне приобрести сердца и сгладить все препятствия».[680]

«Самый страшный враг сейчас — атеизм, а не фанатизм»[681] — этим словом Бонапарта опровергнуто все безбожье XVIII века, — и его ли одного?

«Помимо соображений политических, которым суждено было вскоре возобладать над всеми церковными делами, ум его питал тайные мысли о религии, сердце хранило старые чувства, запавшие в него, вероятно, с раннего детства; они обнаруживались во многих важных случаях жизни его и, наконец, в последние минуты ее вспыхнули с такою силою, что в них уже нельзя было сомневаться», — говорит тот же современник.[682]

Мать недаром посвятила Наполеона, еще до его рождения, Пречистой Деве Матери, и недаром он родился 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы; недаром, слушая в сумерки, в липовых аллеях Бриеннского парка, вечерний благовест, Ave Maria, полюбил его на всю жизнь.

18 апреля 1802 года, в Светлое Христово Воскресение, на первом после революции торжественном богослужении в соборе Парижской Богоматери, объявлен был Амиенский мир и Конкордат — мир с людьми и с Богом. Снова, после девятилетнего молчания, зазвучал над Парижем соборный колокол, и ему ответили колокола по всей Франции: «Христос Воскрес!»

«Враги Первого Консула и Революции обрадовались, а друзья и вся армия были поражены», — вспоминает генерал Тьебо.[683] В армии возмутились все генералы-безбожники 89-го года.

«Великолепная церемония, недостает только миллиона людей, которые умерли, чтобы разрушить то, что мы

восстановляем!» — промолвил якобинский генерал Ожеро на пасхальном богослужении 18 апреля.[684]

«Мне было труднее восстановить религию, чем выиграть сражение», — вспоминает Наполеон.[685]

«Мы должны помнить, — говорил папа Пий VII в 1813 году, фонтенблоский узник императора, почти мученик, — мы должны помнить, что после Бога ему, Наполеону, религия преимущественно обязана своим восстановлением… Конкордат есть христианское и героическое дело спасения».[686]

Второе мирное дело Бонапарта — Кодекс.

«Слава моя не в победах, а в Кодексе», — говаривал он.[687] «Мой Кодекс — якорь спасения для Франции; за него благословит меня потомство».[688]

«Бонапартовы победы внушали мне больше страха, чем уважения, — признавался один старый министр Людовика XVI. — Но, когда я заглянул в Кодекс, я почувствовал благоговение… И откуда он все это взял?.. О, какого человека вы имели в нем! Воистину, это было чудо».[689]

Кодекс — «одно из прекраснейших созданий, вышедших из их из рук человеческих», верно определяет генерал Мармон одно из главных впечатлений от Кодекса: «красота» его — в простоте, ясности, точности, в чувстве меры — этих свойствах греко-римского, средиземного гения, от Пифагора до Паскаля, — аполлонова, солнечного гения, по преимуществу.

Чувство меры Наполеон не умеет определить иначе как родным итальянским, латинским, средиземным словом: mezzo termine — среднее, — среднее между крайними. Это и есть «противоположное — согласное» — по Гераклиту,[690] «квадрат гения» — по Наполеону. «Из противоположного — прекраснейшая гармония; из противоборства рождается все», тоже по Гераклиту.

Именно в этом смысле Наполеон, как утверждает Ницше, есть «последнее воплощение бога солнца, Аполлона», в смысле глубочайшем, метафизическом, он, так же, как бог Митра, Непобедимое Солнце, есть вечный Посредник, Misotes, Примиритель, Соединитель противоположностей — нового и старого, утра и вечера в полдне.

Сила власти — «в средней мере благоденствия общего», это понял он, как никто.[691] «Все преувеличенное незначительно. Tout ce qui est exagéré est insignifiant», — говорил Талейран и мог бы сказать Бонапарт, создатель Кодекса. Это значит: все преувеличенное не божественно; божественна только мера.

«Дабы укрепить Республику, законы должны быть основаны на умеренности, — говорит он, тотчас после 18 Брюмера, в своем воззвании от лица трех Консулов. — Мера есть основа

нравственности и первая добродетель человека. Без нее он дикий зверь. Партия может существовать без умеренности, но не народное правительство».[692]

И потом в Государственном Совете: «Все несчастья, испытанные в революции нашей прекрасной Францией, должно приписать той темной метафизике, которая, хитро испытывая первые причины вещей, хочет основать на них законодательство народов, вместо того чтобы приспособлять законы к познанию человеческого сердца и к урокам Истории».[693]

«Темная метафизика» есть «идеология» революционных крайностей; им-то и противопоставляет он «божественную меру», «mezzo termine». От мертвого знания-забвения к живому «знанию-воспоминанию», от интеллекта к интуиции — таков путь Бонапарта — путь Кодекса. Цель его — недостигнутая цель революции: «утвердить и освятить наконец царство разума, полное проявление и совершенное торжество человеческих сил».[694] Царство не отвлеченного, механического разума, а живого, органического Логоса.

«Кодекс Наполеона, несмотря на все свои несовершенства и пробелы, заключает в себе наибольшую меру естественной справедливости и разума, какую только люди когда-либо осуществляли в законах. Освящая равенство всех французов перед законом, раскрепощение земли, гражданскую свободу, полное юридическое действие человеческой воли, Кодекс, в этом смысле, узаконяет Революцию. В нем кипящая лава ее застывает, твердеет в неразрушимых формах, становится бронзой и гранитом. — Тут во всем — соединение, правовая середина, un moyen terme; тут различные сословия и интересы находят свое приблизительное удовлетворение. Кодекс, существенно-демократический, когда он обеспечивает всех от возврата феодальных привилегий, есть, во многих частях своих. Кодекс буржуазный, созданный для того среднего сословия, которое „начало“ революцию и в конце захватило ее в свои руки».[695]

Впоследствии, «при самодержавном правлении (Наполеона-императора), начала свободы были почти уничтожены; но равенство перед законом, беспристрастие судов, восстановление обид, причиняемых как частными лицами, так и властями, были действительнее при нем, воевавшим с полмиром, чем даже в мирные времена, при следующих правительствах».[696]

Кодекс всемирен, так же как и Революция. Все европейские народы приняли его, «потому что он приносил им то благо Революции, которое для большинства понятно и осязаемо: движение вперед, без разрушения, без отвлеченных крайностей и резкостей. Кодекс победил и остался, благодаря именно

отсутствию в нем всего слишком трансцендентного, чрезмерного». Кодекс есть приспособление духа Римской Империи к современной Европе. «Наполеон, так же как Древний Рим, потеряв власть над миром, оставил ему свои законы».[697]

«Я освятил Революцию: я перелил ее в наши законы», — говорит он за полгода до смерти;[698] и потом, за два дня до нее, уже в муках агонии, в бреду: «Я освятил все начала (Революции) … я перелил их в мои законы, в мои дела… Нет ни одного, которого бы я не освятил…»[699] Точно оправдывается в какой-то страшной, всю жизнь над ним тяготевшей вине, — не той ли самой, в которой обличают его якобинцы: хуже чем убил — осквернил Революцию-Мать? Кодекс есть то гнусное ложе «кровосмешения», на котором сын соединяется с матерью. Наполеон — с Революцией. Но якобинцы не видят главного: божественной мистерии в человеческой трагедии, тем, от чего Эдип — Наполеон погибает, люди спасаются; плод кровосмешения — новый эон, «золотой век».

Кто не видел Франции до 18 Брюмера и после, тот и представить себе не может, какие опустошения произвела в ней Революция.[700] Это значит: тот не может себе и представить, что сделал Бонапарт для Франции.

Казна пуста; солдатам не платят жалованья, не кормят их и не одевают; все дороги разрушены; ни по одному мосту проехать нельзя, без опасения провалиться; реки и каналы перестали быть судоходными; общественные здания и памятники рушатся; церкви заперты; колокола безмолвны; поля запустели; всюду разбои, нищета и голод.[701] Так до 18 Брюмера, а после: «государство выходит из хаоса».[702] «Все начинается сразу и идет с быстротой одинаковой: законодательство, администрация, финансы, торговля, пути сообщения, армия, флот, земледелие, промышленность, науки, искусства, — все возникает, расцветает внезапно, как по волшебному манию».[703] «В этой голове больше знания, и в этих двух годах больше великих дел, чем в целой династии французских королей», — говорит о Бонапарте член Государственного Совета, Редерер.[704] «Вот уже почти год, как я управляю, — говорит сам Бонапарт. — Я закрыл Манеж (якобинский притон), отразил неприятеля, привел в порядок финансы, восстановил порядок в администрации и не пролил ни одной капли крови».[705] И потом, уже проливая кровь, будет помнить, что слава мира больше, чем слава войны. «Я огорчен тем, что принужден жить в лагерях и что это отвлекает меня от главного предмета моих забот, главной потребности моего сердца — хорошей и прочной организации всего, что относится к банкам, мануфактуре и коммерции», — пишет он министру финансов в

1805 году.[706]

Еще в Итальянской кампании, хотя, по слову Талейрана, «возвышенный Оссиан уносит его от земли»,[707] Бонапарт знает, что поставщикам за мясо платят 10 су, а на рынке оно стоит 5.[708] Тот же бог Демиург — в солнцах и в атомах.

Как бы чудом все живые ткани страны восстанавливаются, все раны затягиваются. «Франция испытывает чувство выздоровления», и врач — Бонапарт.[709]

«Вера в будущее, безграничная надежда — таково было следствие переворота, 18 Брюмера», — говорит один современник.[710] «Счастье, с которым Франция выходила из войны, не могло бы себе представить даже самое пылкое воображение», — говорит другой.[711] Это и было счастье «золотого века».

> O Corse à cheveux plats, que ta France était belle
> Au grand soleil de Messidor!
> О, Корсиканец плосковолосый, как Франция твоя
> была прекрасна
> Под великим солнцем Мессидора.

«Вдруг все изменилось так, что кажется, революционные события отодвинулись лет на двадцать, и следы их сглаживаются с каждым днем, — пишет префект одного департамента министру внутренних дел. — Видно, как души людей проясняются, сердца открываются надежде и снова начинают любить… Только два дня Революции помнит народ: 14 июля и 18 Брюмера, а все, что между ними, забыто».[712] Забыто в «солнце Мессидора», в счастье «золотого века».

> Век железный прошел, век золотой наступает.
> Лоно земли нераспаханной в дар принесет тебе,
> Отрок,
> Вьющийся плющ и аканф, и душистые травы.
> Сами козы домой понесут отягченное вымя,
> Овцы огромного льва больше не будут бояться;
> Сами цветы осенят колыбель твою нежною кущей.
> Больше не будет ни змей, ни трав ядовитых, ни плевел;
> Всюду бальзамных дерев зацветут благовонные рощи,
> Жатвой колосьев златых зажелтеют обильные нивы,
> Пышно на тернах лесных пурпуровые гроздья
> повиснут.
> Жесткие сучья дубов оросятся росою медвяной.
> Скоро наступит тот век, скоро ты будешь прославлен,

Отпрыск любезный богов, великое Зевсово Чадо!
Зришь ли, как всей своей тяжестью зыблется ось мировая —
Недра земные, и волны морей, и глубокое небо?
Зришь ли, как все веселится грядущему веку златому?
Virgilii. Eclog. IV

Может быть, никогда еще, с века Августова — века Христова — людям не казалось так, как в эти три-четыре года Консульства, что Золотой Век наступил.

«Люди, казалось, были на высочайшей вершине человечества и, благодаря одному лишь присутствию этого Чудесного, Возлюбленного, Ужасного, какого никогда еще не было в мире, могли считать себя, как первые люди в раю, владыками всего, что создал Бог под небом».[713]

Может быть, никогда еще люди не были так готовы сказать: «Adveniat regnum tuum, да приидет царствие Твое». Сказать кому — сыну ли «кровосмешения», Дионису, «Зевсову чаду», по Виргилию, или Сыну Божьему, по Евангелию, — этого еще никто не знал, не видел. И в этой слепоте причина того, что счастье Золотого Века длилось только миг и рассеялось, как сон. Но, может быть, люди все еще живут этим мгновенным сном.

II. ИМПЕРАТОР. 1804

«Очень прошу тебя, Бонапарт, не делайся королем! Это негодный Люсьен тебя подбивает, но ты его не слушай», — говорила Жозефина, ласкаясь к Бонапарту.[714]

Но он не мог бы исполнить просьбу ее, если бы даже хотел: с 18 Брюмера был уже «королем»; серая куколка уже истлевала на золотой бабочке.

20 января 1800 года, когда Первый Консул переезжал из Люксембургского дворца в Тюльерийский, не хватило дворцовых карет, и должны были нанять извозчичьи, залепив для приличия номера на них белой бумагой.[715] Такова была святая бедность Республики.

В Государственном Совете обращались к Бонапарту запросто: «гражданин Консул!»[716] Он одевался так просто, что один роялист принял его за лакея и, только встретившись с ним глазами, понял, с кем имеет дело.[717]

Когда перед началом торжественного богослужения в соборе Парижской Богоматери, по случаю Конкордата и Амиенского мира, духовенство спросило Первого Консула, должно ли кадить

двум его коллегам вместе с ним, он ответил: «Нет!» Это значит: перед лицом Божьим он уже кесарь. Серую куколку уже разбивала золотая бабочка.

> Et du Premier Consul, déjà par maint endroit
> Le front de l'Empereur brisait le masque étroit
> И Первого Консула узкую маску
> Уже ломало, во многих местах, чело Императора.

В этом помогали ему враги лучше друзей; прямее, чем победы на войне, вели его к престолу покушения на жизнь его в мире.

7 Жерминаля 1800 года, вскоре после отъезда Первого Консула в Италию, перед самым Маренго, в Париже открыт был заговор. В манифесте заговорщиков приводились обвинения против Бонапарта: «гнусные происки» 18 Брюмера и «преступная цель» этого дня; говорилось о необходимости «еще раз спасти Республику — Революцию». Заговорщики должны были приступить к действию на следующий день после отъезда Первого Консула в армию. Во главе заговора был военный министр генерал Бернадотт, министр внутренних дел Люсьен Бонапарт, министр полиции Фуше и комендант Парижа генерал Лефевр. «Заговор был глухо подавлен и остался мало известен».[718]

3 Нивоза, 24 декабря, 1800 года на Сэн-Никезской улице произошел взрыв адской машины под каретой Первого Консула. Стекла были разбиты вдребезги не только в карете Бонапарта, но и в следующей, в которой ехала Жозефина, так что сидевшую рядом с ней дочь ее Гортензию слегка ранило осколком стекла в руку. Повреждены были пятнадцать соседних домов, трое прохожих убито и множество ранено. Только чудом спасся Бонапарт: кучер его, слегка подвыпивший, гнал лошадей во весь опор и проскакал счастливо.

Первый Консул ехал в Оперу, где в тот вечер давалась оратория Гайдна «Творение мира». Он вошел в ложу и на приветственные клики и рукоплескания двухтысячной, еще не знавшей о покушении толпы раскланялся так спокойно, что никто ни о чем не догадался. «Негодяи хотели меня взорвать», — сказал находившимся в ложе и, обернувшись к адъютанту, прибавил: «Принесите афишу».[719]

Думал, что «негодяи» — якобинцы, но ошибался: это были «шуаны», как тогда называли бретонских роялистов-заговорщиков. Якобинцы, впрочем, готовы были соединиться с роялистами, чтобы убить Первого Консула.

«Воздух полон кинжалами», — доносил ему министр полиции Фуше.[720] Бонапарт знал, что Фуше готов прибавить к этим

кинжалам и свой.

В 1800 году основано было «Общество тираноубийц»,[721] из которого впоследствии, уже во времена империи вышел «Союз Филадельфов». «Наполеон, — говорили они, — омрачил славу Бонапарта… Спас сначала нашу свободу, а затем погубил».[722]

В годы Консульства, 1800–1804, воздух в самом деле «полон кинжалами». Но убийцы Бонапарта помогают Наполеону: ломают узкую маску Первого Консула на челе Императора; разбивают серую куколку на золотой бабочке.

Чем больше ненавидят его десятки людей, тем больше любят миллионы. «Если он погибнет, что с нами будет? Кто защитит нас от красной бездны?» — говорят все; все убеждены, что «красная бездна» Террора все еще готова поглотить Францию.[723]

В октябре 1800 года Фуше представил Первому Консулу брошюру брата его, Иосифа: «Параллель между Цезарем, Кромвелем и Бонапартом». Иосиф хотел, конечно, услужить Наполеону; но говорить о таких «параллелях» все равно что о веревке в доме повешенного. Иосиф за это отправился в почетную ссылку, послом в Испанию. Куколка чуть держится на бабочке, но все еще держится.

Всем, впрочем, ясно, куда идет дело, когда 16 Термидора, 4 августа 1802 года решением Сената по плебисциту больше чем тремя миллионами голосов объявлено пожизненное консульство. Президент Сената сообщает это решение Первому Консулу торжественно в Тюльерийском дворце.

«Сенаторы, — ответил Бонапарт, — жизнь гражданина принадлежит отечеству. Французский народ желает, чтобы я посвятил ему всю мою жизнь… Я повинуюсь… Моими усилиями и с вашею помощью, по доверию и по воле этой великой страны, свобода, равенство, благоденствие французов будут обеспечены от прихотей судьбы и неизвестностей будущего…

Лучший из народов будет счастливейшим, как он того достоин, дабы счастьем своим содействовать счастью всей Европы. Тогда, утешенный сознанием, что я был призван волею Того, от Кого все исходит, восстановить на земле справедливость, порядок и равенство, я услышу, без сожаления и без тревоги, о суде потомства, как пробьет мой смертный час».[724]

«Я призван волею Того, от Кого все исходит», это значит: «Я призван Богом, я Божий избранник, помазанник».

«Так вот исход этой Революции, начатой с таким почти всеобщим порывом любви к свободе и к отечеству! — возмущаются уже не крайние якобинцы, а умеренные республиканцы. — Столько крови, пролитой на полях сражений, столько разрушенного благосостояния, столько драгоценных

жертв привели нас к замене одного короля другим и королевской семьи, царствовавшей над Францией в течение веков, — семейством, никому не известным десять лет тому назад и едва французским при начале Революции. Неужели мы так низко пали, чтобы искать спасения в деспотизме и предаваться Бонапартам, без всяких условий?»[725]

А в это время Бонапарты уже спорят о будущем престолонаследии. Когда Людовик от него отказывается за своего малолетнего сына, вернувшийся из ссылки Иосиф, негодуя, что его хотят обойти, произносит непристойнейшую речь в Сенате: «проклинает честолюбие Первого Консула и желает ему смерти, как счастья для семьи Бонапартов и Франции».[726]

Братья только мешают, зато враги опять помогают: убийцы Бонапарта углаживают путь Наполеону.

В начале 1804-го арестованы в Париже сорок заговорщиков, имевших намерение покуситься на жизнь Первого Консула, большею частью наемников английского правительства; в том числе Жорж Кадудаль, бретонский «шуан», и два генерала, Пишегрю и Моро. Предполагали — ошибочно, как потом доказано было с несомненностью, — что в заговоре участвовал и даже одно время находился в Париже герцог Энгиенский, Людовик Бурбон Кондэ, один из последних отпрысков старого королевского дома Франции, живший тогда в городке Эттенгейме маркграфства Баденского, неподалеку от Рейна, и французской границы.

15 марта взвод французских жандармов перешел потихоньку через границу, пробрался в Эттенгейм, арестовал герцога и отвез его в Париж, в Венсенскую крепость. Здесь 21 марта, в два часа пополуночи, расстреляли его в крепостном рву по приговору военно-полевого суда. Суд был пустая комедия, действительный приговор исходил от Бонапарта.

Невинность Энгиена была так очевидна, что даже подставные судьи ходатайствовали об его помиловании. Знал ли Бонапарт, что герцог невинен? Во всяком случае, мог знать.

«Мы вернулись к ужасам 93-го года; та же рука, что извлекла нас из них, в них же опять погружает, — говорил граф Сегюр. — Я был уничтожен. Прежде я гордился великим человеком, которому служил, а теперь…»[727] Духу не хватает ему кончить: «теперь, вместо героя, злодей».

Зачем же Бонапарт убил Энгиена?

«Эти люди хотели убить в моем лице Революцию. Я должен был защитить ее, я показал, на что она способна». — «Я заставил навсегда замолчать якобинцев и роялистов».[728]

Нет, не заставил; и уж лучше бы не вспоминал Волчонок о

загрызенной им же Волчице-Революции.

«Что я, собака, что ли, которую всякий прохожий на улице может убить?»[729] — «Мне принадлежало естественное право самозащиты. На меня нападали со всех сторон и каждую минуту… духовые ружья, адские машины, заговоры, западни всех родов… Я, наконец, устал и воспользовался случаем перекинуть террор обратно в Лондон… Война за войну… кровь за кровь…» — «Ведь и моя кровь тоже не грязь».[730]

Может быть, все это было бы так, если бы герцог Энгиенский не был невинен и Бонапарт этого не знал наверное.

За три дня до смерти, уже в наступающих муках агонии, он потребовал запечатанный конверт с завещанием, вскрыл его, прибавил что-то потихоньку от всех, опять запечатал и отдал. Вот что прибавил: «Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что это было необходимо для безопасности, блага и чести французского народа, в то время, когда граф д'Артуа, по собственному признанию, содержал шестьдесят убийц в Париже. В подобных обстоятельствах я снова поступил бы так же».[731]

Все это опять, может быть, было бы так, если бы он не знал наверное, что герцога Энгиенского не было среди убийц.

«Вопреки ему самому, я верю в его угрызения: они преследовали его до гроба. Терзающее воспоминание внушило ему прибавить эти слова в завещание», — говорит канцлер Паскьэ, хорошо знавший Наполеона и близкий свидетель этого дела.[732] Кажется, так оно и есть: мука эта терзала его всю жизнь; с нею он и умер.

Проще и лучше всех об этом говорит лорд Голланд, истинный друг Наполеона: «Надо признать, что он виновен в этом преступлении; оправдать его нельзя ничем: оно останется на памяти его вечным пятном».[733]

Англичане могли быть довольны: кровь запятнала белые одежды героя; в дом его вползли Евмениды, и кинжал их будет ему страшнее, чем все кинжалы убийц.

Но дело сделано: ров Венсенский, где расстрелян невинный потомок Бурбонов, есть рубеж между старым и новым порядком, разрез пуповины, соединяющей новорожденного кесаря с королевской властью. Труп Энгиена для Бонапарта — ступень на императорский трон; кровь Энгиена для него императорский пурпур.

«Великий человек, довершите ваше дело, сделайте его бессмертным», — молит Сенат Первого Консула о принятии верховной власти 28 марта, неделю спустя после казни герцога.[734] Но слова эти кажутся Бонапарту все еще невнятными или чересчур стыдливыми. «Вы сочли за благо изменить некоторые

учреждения наши, дабы навсегда утвердить торжество свободы и равенства. Я прошу вас изъяснить вашу мысль до конца», — пишет он Сенату. «Наибольшее благо Франции требует, чтобы управление Республикой вверено было Наполеону Бонапарту, наследственному императору», — отвечает Сенат.[735]

Куколка разбита — выпорхнула бабочка.

18 мая 1804 года длинная вереница карет, под конвоем конных кирасир, въехала в Сэн-Клу. Было пять часов вечера — тот самый час, когда 19 Брюмера гренадерская колонна Мюрата разогнала штыками Совет Пятисот. Сенаторы вошли в тот самый кабинет, где тогда же, 19 Брюмера, генерал Бонапарт, только что вынесенный на руках гренадеров из якобинского пекла, в бешенстве расчесывал до крови на лбу своем сыпь от тулонской чесотки и бессвязно лепетал гревшемуся у камина Сийэсу — Гомункулу: «Генерал они хотят объявить меня вне закона!»

«Государь!.. Ваше величество! — обратился к Первому Консулу от лица Сената вчерашний коллега его, Второй Консул Комбасерес. — В эту самую минуту сенат объявляет Наполеона Бонапарта императором французов».

«Виват император!» — послышались крики и рукоплескания в толпе сенаторов, довольно, впрочем, жидкие, — вспоминает очевидец. — «Император ответил голосом твердым и громким. Все казались смущенными, кроме него… Многие с непривычки, путаясь, говорили ему то „гражданин Первый Консул“, то „государь“ и „ваше величество“. Вся церемония длилась с четверть часа… Возвращаясь в Париж, я видел толпившийся по дороге народ. Пушечная пальба и съезд карет привлекли много любопытных. Но вечером не было ни праздников, ни иллюминаций. Кажется, в толпе не знали, что произошло, или оставались равнодушными».[736]

Наполеон сначала думал короноваться в Ахене, древней столице Карловингской династии. «Париж, — говаривал он, — язва Франции; парижане неблагодарны и легкомысленны; они осыпают меня самою гнусною бранью».[737] Вот в какую минуту готов отречься от сердца Франции: чувствует себя уже не французским, а всемирным кесарем.

Папа Пий VII согласился приехать в Париж, чтобы венчать императора: услуга за услугу — за Конкордат венчание.

«Я желал бы, чтобы это дело совершилось ради великого блага, которое проистечет из него для религии, церкви и государства», — писал легат Капрара из Парижа в Ватикан.[738]

«Промысел Божий и Конституционные законы Империи даровали нашей фамилии наследственное императорское достоинство», — сказано было в манифесте. Это значит:

короноваться будет не только Наполеон, но и супруга его, вопреки обычаю: лет двести не бывало, что короновались женщины.

В самую последнюю минуту папа узнал, что Жозефина — не супруга Наполеона, а «любовница», потому что не венчана. Короновать такую чету было бы кощунством. От этого папа отказался наотрез и потребовал церковного брака. Наполеон уступил ему нехотя: уже о разводе подумывал, не желая связывать судьбу новой династии с бездетной Жозефиной. Дядя Фош, кардинал, повенчал их тайком, без свидетелей, в кабинете императора.

Перед коронованием надо было ему причаститься. От этого он, в свою очередь, отказался наотрез: причащаться, не веря в таинство, казалось ему лицемерием и кощунством. «Не будем отягчать совести его и нашей», — согласился папа и написал собственноручно в церемониале: «Non communicarano, причащаться не будут». — «Рано или поздно вы сами к этому придете и будете с нами», — говорил он императору.[739]

Тут со стороны Наполеона было противоречие: от одного таинства, причащения, отказывался и требовал другого — помазания на царство, ибо оно есть «пятое таинство», по толкованию св. Петра Дамиена: Sacramentum quintum est inunctio régis. Но отказом от причащения уничтожалось и помазание: какое, в самом деле, могло иметь значение таинство, совершенное над человеком, не принадлежащим к церкви?[740]

11 Фримера, 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери происходила невиданно пышная, но холодная и скучная церемония. Многие заметили, как император «несколько раз подавлял зевоту»; а когда папа мазал его миром, — казалось, думал только о том, как бы поскорее вытереться. «Лицо его было равнодушно и неподвижно, как в магнетическом сне». С вещим даром ясновидения, не покидавшим его в роковые минуты жизни, узнавал ли он — вспоминал ли, что венчает себя «как жертву»?

«Да живет император вовеки! Vivat imperator in aeternum!» — возгласил папа и протянул было руку, чтобы взять корону.

Но Наполеон предупредил его: взял ее сам, снял с головы золотой лавровый венец и возложил на нее корону.[741]

«Il cielo mi diede; guai a qui la tocchera! Бог мне дал ее; горе тому, кто к ней прикоснется!» — скажет впоследствии, венчаясь в Милане железной короной Ломбардии.

«Для того ли явлена человеку свобода, чтоб он никогда не мог от нее вкусить? Вечно ли, протягивая руку к этому плоду, он будет поражаем смертью?» — говорил в Трибунале старый, честный якобинец Карно, голосуя один против объявления

Наполеона императором.

«Мы только что сделали императора, — писал Поль-Луи Курьэ. — Такой человек, как Бонапарт, — солдат, военачальник, первый полководец в мире — захотел называться „его величеством“. Быть Бонапартом и сделаться „государем“! Он хочет снизиться… Бедный человек! Мысли его ниже его судьбы». [742]

Де-Прадт, епископ Малинский, не скрывал от Наполеона, что в различных частях Франции, которые он имел случай наблюдать, как служитель церкви, он «не нашел никакого благоприятного следа, оставленного этой церемонией». — «Мне всегда казалось, что вы коронованы только вашей собственной шпагой», — говорил он в лицо императору и потихоньку прибавлял: «Это самообман, это настоящее ребячество!»[743]

Бетховен посвятил Бонапарту Третью Симфонию, но, узнав, что он сделался императором, зачеркнул посвящение и вместо него написал: «Героическая Симфония в память великого человека». В ней — похоронный марш, как будто Бетховен тоже знал — помнил, что Наполеон венчал себя как жертву.

Коронационная мантия императора усеяна была золотыми пчелами. Точно такие же пчелы найдены в могиле Хильдерика I, одного из древнейших королей Франции. Что это значит?

Идучи в Фимнафу, увидел Самсон: «Вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка. Спустя несколько дней пошел он посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в трупе львином и мед». И загадал он загадку филистимлянам: «Из идущего вышло ядомое, и из крепкого вышло сладкое».[744]

Если бы Наполеону на Св. Елене напомнили эту загадку и пчел на его императорской мантии, он, может быть, понял бы, что они значат. Сам себя растерзал, как Самсон — льва: «и вот, рой пчел в трупе львином и мед» — мед «золотого века», мед жертвы сладчайший. Это и значит: из ядущего вышло ядомое, и из крепкого вышло сладкое.

III. ПОБЕДЫ. 1805–1807

«Мое могущество зависит от моей славы, а слава — от побед — говаривал Наполеон. — Победа сделала меня тем, что я есть, и только победа может меня удержать у власти. Новорожденное правительство должно ослеплять и удивлять, а только что перестает это делать, — падает».[745]

Он знает — помнит, что последняя и величайшая победа из всех остальных — в поединке с Англией из-за мирового

владычества. Все войны его, от Тулона до Ватерлоо, — только одна-единственная, вечная война с Англией. Англии ищет он всюду: сначала за Италией, Египтом, Сирией; потом за Австрией, Германией, Испанией, Россией; моря ищет за сушей, пробивается сквозь сушу к морю. Вечно борется, Островитянин, с Островом. «О, если бы я владел морями!» — скажет на Св. Елене. Знает — помнит, что власть над морем — власть над миром.

«Я уничтожу Англию, и Франция будет владычицей мира», — говорит после Маренго.[746] «Сосредоточим всю нашу деятельность на флоте, сокрушим Англию, и вся Европа будет у наших ног».

Амиенский мир, казавшийся вечным, длился четырнадцать месяцев. Мысль о военном десанте в Англии, о поражении врага в самое сердце не покидала ни Первого Консула, ни Императора. 19 июля 1805 года он отправился в Булонский лагерь на берегу Ламанша. В лагере уже два года шли приготовления к десанту, земляные и водяные работы, углублялись гавани, строились верфи, арсеналы, плотины, молы, окопы, укрепления. Собиралась «Великая Армия», так впервые названная здесь, в Булонском лагере. Шесть корпусов ее расположились на венчающем гавань амфитеатре холмов, с императорскою ставкою посередине.

«Национальная флотилия» из 2365 судов различной величины и устройства, от канонирских шлюпок до линейных кораблей, с двенадцатитысячным экипажем, подымала транспорт в 160 000 человек, 10 000 лошадей и 650 пушек.

Сложная операция десанта могла быть произведена в восемь часов: надо было только переплыть через пролив в тридцать два километра. «Восемь часов благоприятного ночного времени решили бы судьбы мира», — писал Первый Консул адмиралу Гантому, и потом император — адмиралу Латуш-Тревилю: «Если мы овладеем проливом только на шесть часов, мы овладеем миром».[747]

В Амиене воздвигнута триумфальная арка с надписью: «Путь в Англию». Под императорской ставкой, в Булони, найдена в земле древнеримская секира, будто бы из лагеря Юлия Цезаря, первого завоевателя Англии: как бы две тысячи лет всемирной истории венчались Булонским лагерем.

15 августа, в день рождения Наполеона, происходила торжественная церемония — раздача орденских крестов новоучрежденного Почетного Легиона. Император сидел на тысячелетнем железном троне короля Дагобера, на верхушке холма, откуда обозревал весь лагерь и море, покрытое судами флотилии, как новый Ксеркс. Манием руки, казалось, мог сокрушить Англию — овладеть миром.

Но в Париже не верили в десант. «Он возбуждал всеобщий смех, — вспоминает Бурьенн. — Трудно было, в самом деле, представить себе предприятие более разорительное, бесполезное и смешное».[748] Появились карикатуры: булонские корабли — ореховые скорлупки в умывальнике; английский матрос, сидя на берегу, курит трубку, и от дыма ее, как от бури, бежит французский флот. В Англии тоже смеялись, но и дрожали.

«Много спорили о том, серьезно ли Бонапарт замышляет поход в Англию, — говорит генерал Мармон. — Я отвечаю с убеждением, с уверенностью: да, серьезно. Этот поход был самою пламенною мечтою всей жизни его, самою дорогою надеждою. Возможность десанта была несомненна. Бонапарт намеревался смести артиллерийским огнем Дуврскую крепость и принудить ее к сдаче в одно мгновение. „Хорошо, что английская экспедиция не началась в ту самую минуту, как Австрия выступила против нас с такими огромными силами“, — сказал я ему однажды, уже в начале Австрийской кампании. „Если бы мы, высадившись в Англии, вошли в Лондон, как это произошло бы несомненно, то и страсбургских женщин хватило бы для защиты наших границ“, — ответил мне Бонапарт. Никогда ничего он так горячо не желал, как этого».[749]

«Я провозгласил бы республику в Англии, уничтожение аристократии, палаты пэров, экспроприацию всех, кто воспротивился бы мне, свободу, равенство и верховную власть народа. В таком большом городе, как Лондон, много черни и недовольных; грозная партия встала бы за меня. Я поднял бы также восстание в Ирландии.[750] Нас призывала бы большая часть англичан. После высадки мне предстояло бы только одно правильное сражение с исходом несомненным, и я оказался бы в Лондоне… Английский народ, стонавший под игом олигархии, тотчас присоединился бы к нам; мы были бы для него союзниками, пришедшими его освободить; мы пришли бы к нему с магическими словами: Свобода, Равенство».[751]

Успех десанта зависел от морской диверсии адмирала Вилльнева, посланного с французским флотом на Антильские острова, для отвлечения английской эскадры от Ламанша. Первая часть диверсии Вилльневу удалась: он дошел до Мартиники, и английский флот погнался за ним. Но на возвратном пути, встретив адмирала Нельсона, у Ферроля, Вилльнев повернул на юг и ушел в Кадикс, вместо того, чтобы идти дальше, как ему было приказано, на Рошфор и Брест, усилиться здесь французскими и испанскими эскадрами и, появившись неожиданно в Ламанше, очистить на несколько дней пролив от английского флота, «что сделало бы успех десанта почти

несомненным».[752]

«Выходите же, выходите в Ламанш, не теряйте ни минуты! Англия наша, — появитесь только на двадцать четыре часа», — писал Наполеон Вилльневу 22 августа, а 23-го пришло известие, что Вилльнев ушел на юг. Этим участь десанта решалась.[753]

Так же как некогда в Египте и Сирии, исполинская химера лопнула, как мыльный пузырь; гора мышь родила. Миллионы брошены в воду, пущены на ветер; национальная флотилия — только «ореховые скорлупки в умывальнике», и весь Булонский лагерь — жалкий выкидыш. Но опять, как тогда, лопнула одна химера, — возникла другая: всю Европу поднять на Англию, двинуть всю земную сушу на море.

В тот же день, 23 августа, Наполеон объявляет войскам, что «Австрия, соблазненная золотом Англии, выступила против Франции»; велит снять Булонский лагерь и диктует план Австрийской кампании. Все движение Великой Армии, число маршей, расположение и назначение войсковых частей предвидены, угаданы, рассчитаны с математической точностью. Знание соединяется с пророчеством, математика — с ясновидением. Булонский лагерь снят, и стовосьмидесятитысячная армия перенесена как по волшебству с берегов Ламанша на берег Дуная. Вся она движется с такой быстротой, в таком порядке, что если бы кто-нибудь мог обозреть ее с высоты, то подумал бы, что это стройно пляшущий хор Диониса, где хоровожатый — сам Бог.

> И с высоты, как некий бог,
> Казалось, он парил над ними,
> И двигал всем, и все стерег
> Очами чудными своими.[754]

Наполеонова империя созиждется на восьми столпах — восьми победах; четырех южных: Лоди, Арколь, Риволи, Маренго, — которыми завоеваны страны Средиземного бассейна, от Гибралтара до Адриатики; и четырех северных: Ульм, Аустерлиц, Иена, Фридланд, — которыми завоевана Средняя Европа, от Рейна до Немана.

Южные победы — трудные; северные — легкие; в тех Наполеон — восходящее солнце, в этих — неподвижное солнце в зените; те — разные, радужные, как лучи восхода, эти — одинаковые, белые, как свет полдня; те власть его усугубляют, эти расширяют; те — национальные; эти — всемирные; те — героичны, а эти — но для этих у нас нет слова; древние греки назвали бы их «демоничными»; но, может быть, только один из

нас, Гете, понял бы, что это значит: он так и определяет существо Наполеона, как «демоническое», — разумеется, не в нашем, христианском, смысле, а в древнем, языческом: daimon — земной бог. Тем, кто не знает законов «демоничного», кажется оно «чудесным», «сверхъестественным»; но, может быть, оно так же просто, как то, что нам кажется «необходимым», «естественным».

Что дает Наполеону такую, в самом деле как бы чудесную, власть над людьми и событиями? «Род магнетического предвидения, une sorte de prévision magnétique», — говорит об этом школьный товарищ и секретарь его, Бурьенн.[755] «У меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает». — «Со мной никогда ничего не случалось, чего бы я не предвидел», — говорит сам Наполеон.[756]

Это у него всегда; но в те два года, 1805–1807, от Ульма до Фридланда, больше, чем когда-либо.

Люди слабы, потому что слепы, не знают, что будет. Наполеон знает — помнит будущее, как прошлое. Знать — мочь. Все может, потому что все знает. Видит сквозь стены, как сквозь стекла; проходит сквозь стены, как дух. Так легко побеждает, что кажется, ему и руки не нужно протягивать, чтобы срывать победы: сами они падают к ногам его, как зрелые плоды. Это уже не война, а триумфальное шествие. Если бы это продлилось, — он пошел бы и победил весь мир. Но и в тех двух годах это только миг — дней сорок, от Ульма до Аустерлица. Дальше — меркнет, слабеет: последняя легкая и светлая победа — Фридланд. И он, кажется, сам это чувствует: кончает войну Тильзитским миром, может быть, надеясь, что это мир окончательный: Англия будет побеждена европейской блокадой — сушей, опрокинутой на море.

Южные победы, молнии, описывать трудно; но еще труднее — северные — неподвижный, ослепительно белый свет полдня. Да тут и описывать нечего: все одно и то же; надо повторять бесконечно: знает — может; предвидит — побеждает.

Ульмский план Наполеона — закинуть исполинскую сеть от Рейна до Дуная, чтобы поймать в нее австрийского фельдмаршала Мака. Тот сам идет в ловушку. «Похоже на то, что не Маком, а мной задуман план кампании», — говорит Наполеон, переходя через Рейн, 1 октября 1805 года и предсказывает: «Кавдинскими ущельями для Мака будет Ульм».[757] Как предсказал, так и сделалось: вся австрийская армия попалась в Ульм, как рыба в сеть.

Может быть, Мак не был таким глупцом и трусом, как это кажется; но обезумел под чарующим взором «демона», как птица — под взором змеи. Мог бы выйти из Ульма или запереться в нем, чтобы выждать союзной русской армии, которая шла к нему на

помощь форсированными маршами; но не вышел и не заперся: 20 октября капитулировал, почти без боя.

Меньше чем в три недели, рассеяв или уничтожив восемьдесят тысяч австрийцев, Наполеон идет на Вену, овладевает ею, тоже почти без боя, и переходит через Дунай, преследуя австро-руссов, отступающих в Моравию.

1 декабря 1805 года, в ночь накануне Аустерлица, когда император объезжает войска, солдаты, вспомнив, что этот день — первая годовщина коронования, зажигают привязанные к штыкам сосновые ветки с пуками соломы и приветствуют его шестьюдесятью тысячами факелов: служат огненную всенощную богу Митре, Непобедимому Солнцу, — самому императору. Точно он заразил их всех своим «магнетическим предвиденьем»: завтрашнее «солнце Аустерлица» уже взошло для них в ночи.

2 декабря бой начался на рассвете. Австро-руссы так же послушно, как Мак, исполняют план Наполеона: идут в западню — болотную низину Тельница. Кавалерийская атака Мюрата оттесняет их к Аустерлицу. Корпуса маршалов Сульта и Бернадотта, скрытые туманом в овраге Гольбаха, внезапно выходят из него и атакуют высоты Пратцена. В эту минуту, как сказано в бюллетене, «солнце Аустерлица взошло, лучезарное, le soleil d'Austerlitz se leva radieux!»

Не папа — короной кесарей, а сам император венчал себя этим солнцем.

14 октября 1806 года, — Иена. Может быть, саксонский пастор, указавший французам обходную тропинку на высотах Ландграфенберга, не был таким Иудой Предателем, как это кажется; но обезумел, так же как злополучный Мак, под чарующим взглядом демона; понял, что с ним нельзя бороться, — все равно победит.

Опять Наполеону помогает утренний туман, и солнце Иены — «солнце Аустерлица» — восходит, опять лучезарное, освещая французское войско, внезапно кидающееся с высот Ландграфенберга на захваченную врасплох прусско-саксонскую армию.

Аустерлиц отдал Наполеону Австрию; Иена отдает ему Пруссию. 27 октября 1806 года он входит в Берлин триумфатором и отсылает в Париж шпагу Фридриха Великого.

Первая угроза судьбы победителю — Эйлау, 8 февраля 1807 года. Здесь дерутся с ним русские так, как еще никто никогда не дрался. «Бойни такой не бывало с изобретенья пороха», — вспоминает очевидец.[758] Корпус. Ожеро почти истреблен артиллерией. Во время боя подымается метель, бьющая французам прямо в лицо таким густым снегом, что в пятнадцати

шагах не видно; люди не знают, где враг, и стреляют часто по своим. Ужас Двенадцатого года — ужас рока глянул в глаза Наполеона в этой ледяной, железной и кровавой ночи Эйлау.

Русские наконец отступили, но оставив врагу только поле сражения с тридцатью тысячами убитых и раненых.

«Какое ужасное зрелище! — повторял Наполеон, обходя это поле. — Вот что должно бы внушить государям любовь к миру и отвращение к войне!» Вспомнил, может быть, Яффу: «Никогда война не казалась мне такою мерзостью!»

Но Эйлау только туча на солнце: пронеслась, и солнце опять сияет, лучезарное. 14 июня 1807 года — годовщина Маренго — Фридланд. Все то же: «магнетическое предвидение» победы — уже она сама; ослепительно белый свет полдня. «Около полудня, когда Наполеон диктовал план сражения, лицо его было так радостно, как будто он уже победил».[759]

Тут же завтракает, в виду неприятеля, под свистящими пулями, и, когда его остерегают, говорит с улыбкой: «Сколько бы русские ни мешали нам завтракать, мы еще больше помешаем им ужинать!» Делая смотр войскам, все повторяет в ответ на приветственные клики солдат «Счастливый день, счастливый день, годовщина Маренго!» — и лицо его как солнце.[760]

В начале боя у французов только двадцать шесть тысяч штыков против семидесяти пяти. Генералы предлагают Наполеону отложить бой на завтра. «Нет, нет, дважды на такую ошибку врага нельзя надеяться!» — отвечает он, заметив, что генерал Беннигсен, главнокомандующий русской армией, может быть обойден в тыл, окружен и раздавлен. К «ужину», как предсказал Наполеон, русские отступают, и Беннигсен уходит за Неман.

Неман — таинственный рубеж Востока и Запада. Наполеон, подойдя к нему, остановился, как будто задумался: переходить или нет. Не перешел, — может быть, вспомнил, что час его еще не наступил.

25 июня — полдень; полдень лета и суток.

> Лениво дышит полдень мглистый,
> Лениво катится река,
> И в тверди пламенной и чистой
> Лениво тают облака.
> И всю природу, как туман,
> Дремота жаркая объемлет.[761]

Парит на песчаных отмелях Немана; пахнет теплою водою, рыбою, теплою земляникой и смолистыми стружками из

соснового бора. Душно; в зное зреет гроза.

Посреди Немана, против городка Тильзита, остановился на якоре плот. На плоту — деревянный домик, с двумя на фронтоне, в венке из свежей зелени, сплетенными буквами — N и A: «Наполеон» и «Александр». Лодка Наполеона отчалила от левого берега; лодка Александра — от правого. Съехались: два императора вышли на плот и, в виду обеих армий, под бесконечное русское «Ура!» и французское «Виват император!» обнимаются как братья: обнимается Восток и Запад, Европа и Азия. Полдень лета, полдень суток — Наполеонова солнца полдень. Солнце в зените соединяет обе гемисферы небес. Восток и Запад.

— Государь, я ненавижу англичан так же, как вы, — говорит Александр.

— Если так, — мир заключен, — отвечает Наполеон.

«Никогда ни против кого я не был так предубежден; но после сорокаминутной беседы все мои предубеждения рассеялись, как сон».[762] — «Никогда никого я так не любил», — вспоминает Александр.[763]

Стараются соблазнить друг друга. Наполеон называет Александра «обольстителем».[764] Видит его, впрочем, насквозь, или думает, что видит: «Настоящий византиец; тонок, ловок, лжив; он далеко пойдет».[765]

«Льстите его тщеславию», — советует Александр друзьям своим, пруссакам.

8 июля 1807 года подписан Тильзитский мир. «Дело Тильзита решит судьбу мира», — говорит Наполеон.[766] Вся Европа от Петербурга до Неаполя обращена против Англии; суша опрокинута на море. Исполинская химера почти исполнилась.

Солнце в зените; высшая точка достигнута, и начинается падение.

«Близким наблюдателям видимо было падение Наполеона уже с 1805 года», — говорит Стендаль.[767] Это кажется невероятным: 1805–1807, Аустерлиц — Тильзит полдень Наполеонова солнца. Но так и должно быть: солнце с полдня начинает падать к западу.

«Несчастный. Я тебя жалею: ты будешь завистью себе подобных и самым жалким из них». Это он знает — помнит всегда; но теперь, на вершине могущества, — яснее, чем когда-либо. Все получил, всего достиг — и вдруг заскучал, не захотел ничего. Власть, величие, слава, могущество — все, что людям кажется самым желанным, вдруг сделалось странно-пустым и ненужным. Захотелось чего-то другого; он сам не знает чего и до конца не узнает. Даже на Св. Елене не понял бы и не поверил,

если бы ему сказали, что он, уже после Тильзита, в полдне своем, хотел ночи, хотел быть жертвою — самого себя растерзать, как Самсон растерзал Фимнафского льва.

«Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век». Сгорать, умирать — быть жертвою. «Из ядущего вышло ядомое, и из крепкого вышло сладкое», — вот о чем золотые пчелы жужжат в императорском пурпуре.

Истинная, жертвенная душа Наполеона — незримая полдневная звезда.

> Душа хотела б быть звездой,—
> Но не тогда, как с неба полуночи
> Сии светила, как живые очи,
> Глядят на сонный мир земной,—
> Но днем, когда сокрытые как дымом
> Палящих солнечных лучей,
> Они, как божества, горят светлей
> В эфире чистом и незримом.[768]

Солнце Наполеона, достигнув высшей точки зенита, падает к западу, и в полдне — вечер.

ВЕЧЕР

I. ПОЕДИНОК С АНГЛИЕЙ. 1808

«Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг» — этот простой и великий, великого народа достойный, боевой сигнал поднят был на мачту фрегата «Victory» адмиралом Нельсоном перед началом Трафальгарского боя, в Испанских водах, у Кадикса, 21 октября 1805 года, на следующий день после Ульмской капитуляции — начала всемирных побед Наполеона.[769] Нельсон «исполнил свой долг» — пал в бою и, умирая, имел счастье видеть победу: франко-испанский флот истреблен был английским, и этой победой утверждено окончательно, перед лицом самого грозного из всех врагов Англии, Наполеона, ее мировое владычество.

«Несколько французских кораблей потоплено бурей, после неосторожно принятого боя», — скажет Наполеон о Трафальгаре, делая веселое лицо при печальной игре, но никого не обманет: флот уничтожен, и тщетны все победы на суше — Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Фридланд. Так же как некогда в Египте, Абукире, теперь Трафальгаром, в Европе, он пойман, как мышь в мышеловке. Что пользы, если он пройдет и победит всю Европу и Азию до Индии? Суша без моря для него могила заживо или вечная тюрьма — «Св. Елена, маленький остров».

Континентальная блокада, объявленная Берлинским декретом 21 ноября 1806 года, — ответ на Трафальгар. Все европейские гавани закрываются для английского флота; все английские суда захватываются; все товары конфискуются, как военная добыча, и сами великобританские подданные арестуются, как военнопленные; прекращаются даже почтовые сношения с Англией. Задушить ее перепроизводством товаров, не находящих сбыта на внешних рынках, как «апоплексическим ударом от полнокровья», — такова цель блокады. «Надо, чтобы эти враги всех наций оказались вне закона», — говорит «Монитор». «Это борьба на жизнь и смерть».[770]

Возможен ли был успех блокады? Это решить не так легко, как тогда казалось и теперь кажется многим.

Если бы, говорят, блокада удалась, то задушена была бы не Англия, а Европа, за исполинской Китайской стеной от Архангельска до Константинополя. Чтобы осуществить этот чудовищный план, Наполеон обрекал себя на необходимость завоевывать или аннексировать все европейские страны, на их

насильственные, как бы разбойничьи захваты: так захвачены Португалия, Испания, Голландия, Церковная область; он обрекал себя, наконец, на разрыв с Россией, главную причину гибели своей. И все это напрасно, потому что исход для английских товаров мог быть и вне Европы, в колониях.[771]

«Нелепо было объявлять Англии блокаду, когда английский флот блокировал все французские гавани», — говорит современник. — «Этим безрассудным декретом Наполеон больше всего вредил самому себе: меньшую ненависть возбудило бы против него низвержение двадцати королей… Блокада могла бы удаться лишь в том невозможном случае, если бы все европейские державы соблюдали ее добросовестно; но одна открытая гавань уничтожала ее всю».[772] Щели в этой непроницаемой закупорке всего материка открывало само французское правительство, выдавая «пропуски», licences, для необходимых ему товаров.[773]

«Это было безумье, потому что вредило всем».[774] Чтобы убить Англию, Европа должна была убить себя: вся она покрывалась блокадой, как стеклянным колпаком, из-под которого выкачан воздух.

Все эти возражения указывают только на трудности и опасности блокады; но опасность и трудность не есть невозможность, для Наполеона особенно. «Невозможное есть только пугало робких, убежище трусов».[775]

Надо помнить, что стратегический план его в поединке с Англией был исполнен только в своей небольшой части; остальная же, главная, — овладение бассейном Средиземного моря, как операционною базою против Англии, — осталась неисполненной, не по его вине. Если бы весь план удался, то всю Европу осенил бы Наполеонов орел своими крыльями: левое — на Гибралтаре, на Босфоре — правое. «Все европейские народы двинулись бы, как отдельные корпуса одной великой армии, для последнего приступа на Англию».[776] А за Европой — Азия; вся земная суша опрокинулась бы на море.

Кажется, часть плана сообщил он Александру, еще в медовый месяц Тильзита. О чем они шептались тогда, как влюбленные, дает понять письмо Наполеона от 2 февраля 1808 года.

«Армия в 50 000 штыков, русская, французская и, может быть, отчасти австрийская, направившись через Константинополь в Азию и еще не дойдя до Ефрата, заставила бы Англию дрожать и пасть на колени перед континентом. Я — в Далматии, ваше величество — на Дунае; через месяц армия наша могла бы быть на Босфоре. Удар отозвался бы в Индии, и Англия была бы покорена… Мир сейчас поставлен нашей тесной дружбой в положение небывалое… Мы оба предпочли бы жить в мире и

покое, среди наших обширных владений, животворя их и благодетельствуя… Но этого не хотят враги мира (англичане). Мы должны стремиться, вопреки себе, к величью большему. Мудрость и политика требуют, чтобы мы делали то, что нам повелевает судьба, и шли туда, куда ведет нас неизбежный ход событий. Только тогда все эти миллионы пигмеев, не желающих видеть, что меры настоящих событий должно искать не в газетах прошлого века, а во всемирной истории, уступят нам и пойдут, куда мы им прикажем… Я открываю здесь вашему величеству всю мою душу. Дело Тильзита решить судьбы мира».[777]

Нет, «всей души» он не открывает и здесь; если бы открыл ее, то, может быть, Александр отшатнулся бы от него в ужасе.

Вместе с походом на Индию он замышляет и поход на Египет, чтобы все три материка — Европу, Азию, Африку — поднять на Англию. «В то же время, перед французскими портами в Северном море и в Атлантике, появятся флоты и флотилии, производя ряд демонстраций; зашевелится Ирландия, возбуждаемая французскими агентами; и легкие крейсера, проникая во все моря, будут распространять террор во всех неприятельских водах. Англия, ошеломленная всеми этими ударами, не умея отвечать на них, истощаясь в бесплодных усилиях, зашатается, объятая ужасом, среди этого „мирового вихря, tourbillon du monde“, обессиленная, перестанет противиться судьбам, обновленной Франции, признает ее победительницей, и тогда, наконец, выйдет из этого огромного потрясения окончательный мир».[778]

«Мировой вихорь» есть мировая революция, которую совершает «Робеспьер на коне» Наполеон, а «окончательный мир» есть мир всего мира — царство Божие, adveniat regnum tuum, по Евангелию, или «земной рай», «золотой век», redeunt Saturnia régna, по мессианскому пророчеству Виргилия.

«Император сошел с ума, окончательно сошел с ума. Все мы с ним полетим к черту, и все это кончится ужасной катастрофой!» — говорит морской министр Декрэ.[779] Может быть, нечто подобное испытывал и Александр, читая письмо Наполеона и прибавляя к этому европейскому, политическому ужасу ужас русский, мистический: «Наполеон — Антихрист».

«Жажда всемирного владычества заложена в природе его; можно ее видоизменить, задержать, но уничтожить нельзя, — говорит Меттерних. — Мнение мое о тайных замыслах Наполеона никогда не изменилось: чудовищный план его всегда был и есть порабощение всего континента под властью одного».[780]

Так ли это? Действительно ли Наполеон «сошел с ума»? Во всяком случае, не больше, чем Революция и вся доныне ею живущая европейская цивилизация — застывшая лава, потухший

вулкан Революции. От нее-то он и получил в наследство поединок Франции с Англией, из-за мирового владычества, и оружие для поединка — континентальную блокаду. Мысль о ней принята, еще в 1795 году Комитетом Общественного Спасения.[781]

Наполеон хорошо понимает, с кем борется. Первую рану нанес ему, при осаде Тулона, английский штык, и последнюю — Ватерлоо, Св. Елену — нанесет тоже Англия. Но это не мешает ему признавать силу и величие врага. «Англичане — люди лучшего закала, чем французы… Если бы у меня была английская армия, я прошел бы и победил мир… Будь я избранник не французов, а англичан, я мог бы проиграть, в 1815 году, десять Ватерлоо, не потеряв ни одного голоса в палате и ни одного солдата в армии, и кончил бы тем, что выиграл бы партию».[782]

Но в том-то и дело, что Англия, существо национальное, не могла его избрать, а сделать это могла только Франция, существо всемирное. «Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг»; Франция верит, что каждый умрет за свою честь. Что больше, долг или честь — долг перед отечеством или честь перед миром? Что лучше для народа — жертвовать миром себе или миру — собою; оставаться в себе или выходить в мир? Это все еще решают и не могут решить всемирно-исторические судьбы народов. В этом смысле не решен и поединок Англии с Францией — бытия национального с бытием всемирным.

Англия, Остров, ограничена собою, в себе сосредоточена, пребывает в себе; революционная и потом императорская Франция только и делает, что нарушает свои границы, выходит из себя, жаждет всемирности. Может быть, никто так не любит свободы, как англичане, — но свободы только для себя. Англия — самая либеральная и консервативная, наименее революционная из всех европейских стран. Свою национальную революцию она совершила заблаговременно и менее всего заботится о революции всемирной. «Я — Революция», — говорит Наполеон, и еще острее, революционнее: «Империя есть Революция». «Я — Реакция; Англия есть Реакция», — мог бы сказать перед лицом Французской, всемирной революции каждый англичанин, от Первого Лорда Адмиралтейства до последнего маклера в Сити.

Но произошло огромное недоразумение: Англия становится «очагом свободы», ее оплотом против Наполеона, поработителя. «К счастью, народы были спасены преградою, которую не могло одолеть оружие Бонапарта: пролив в несколько верст защитил мировую цивилизацию».[783] Что этому поверили в салоне г-жи Ремюза, еще не так удивительно; удивительнее то, что этому поверил и, кажется, доныне верит весь мир.

Наполеон, «чудовищный деспот», — за Францией, а за

Англией кто? Лорд Питт, парламент Сити, business, а может быть, и плутовство — Плутократия. Что страшнее, один великий деспот, «Робеспьер на коне», или миллион маленьких плутов?

Но все смешалось, точно сам черт перепутал карты в этой шулерской игре; Франция — Революция — оказалась реакцией; Англия — Реакция — революцией; свобода — рабством, рабство — свободой; прошлое — будущим, будущее — прошлым. Точно в самом деле вся земная суша опрокинулась на море, и не стало ни моря, ни суши, произошел новый всемирный потоп, наступил хаос — пока только в умах, а в действительности все остается или хочет остаться как было. Но не останется: умственный хаос породит действительный. Первое исчадие его — мировую войну — мы уже видели; может быть, увидим и второе — мировую революцию. С этим наступающим хаосом Наполеон и борется, им-то и побежден.

«Чувство меры», mezzo termine, которым обладает в таком совершенстве Бонапарт, существо национальное, как будто теряет Наполеон, существо всемирное; но ведь так и должно быть: мера бытия национального не та, что всемирного: там наша Евклидова геометрия трех измерений, а здесь неведомая нам геометрия «четвертого измерения». Может быть, это новая мера Наполеона и кажется нам его «безмерностью» — «сумасшествием». «Груша всемирности еще не созрела» — вот чего не понял или что понял слишком поздно этот ранний всечеловек.[784]

Не следует забывать и того, что в доме сумасшедших сумасшедшим кажется разумный человек, да и, в самом деле, можно легко сойти с ума. Близость безумия Наполеон чувствовал: «нельзя возлечь на ложе царей, не заразившись от них безумием гибели; обезумел и я».[785]

Но главная причина его не «безумие», а, как это ни странно сказать, — простодушие. Слишком легко он поверил словам Александра на Тильзитском плоту: «Я ненавижу англичан, так же как вы!» «Тонкий и лживый Византиец» перехитрил Корсиканца; все обещал и ничего не исполнил; оказался, по слову пророка, «тростью надломленной, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее». Мягок и ласков, как мох русских болот: ступишь на него и провалишься.

«Я хотел дружески оттеснить Россию в Азию, — говорит Наполеон. — Я предложил ей Константинополь», но без проливов — замок без ключа.[786] «Ключ слишком драгоценен: он один стоит целой империи; кто владеет им, — владеет миром».[787] Из-за проливов и сорвался Тильзит.

Осенью 1808 года состоялось в Эрфурте новое свидание двух императоров. Когда актер Тальма произнес на сцене стих

Вольтерова «Эдипа»:

> С великим дружество есть чудный дар богов.
> L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux.

Александр и Наполеон обнялись, но уже не так, как на Тильзитском плоту: много воды утекло в Сене и в Немане.

Трещину дал Тильзитский фарфор; в Эрфурте чинят его, но и после починки стоит только постучать в стенки надтреснутой вазы, чтобы фальшивый и зловещий звук ответил: «Двенадцатый год».

II. ВОССТАНИЕ НАРОДОВ. 1809

«Вся Европа восстанет на него. Чем крепче он сковал народы, тем страшнее будет взрыв. Верьте мне: если мы только продержимся, Франция падет, истощенная своими победами». Это говорил в 1806 году, после Иены, прусский генерал Блюхер, будущий победитель под Ватерлоо.[788] Взрыв произошел раньше, чем Блюхер, может быть, думал.

Чтобы замкнуть кольцо Европейской блокады, от Гибралтара до Вислы, Наполеону нужно было захватить Испанию. Судя по быстроте и легкости, с какою генерал Жюно, в 1807 году, занял Португалию, император думал, что так же быстро и легко удастся ему занять весь Полуостров. Что, получив одну половину наследства — Францию — от французского дома Бурбонов, он имеет право и на другую половину — Испанию — от Бурбонов испанских, — в этом уверил его Талейран-Мефистофель.

В марте 1808 года корпус Мюрата, под предлогом помощи генералу Жюно в Португалии, входит в Испанию и вступает в Эскуриал-Мадрид, где положение дел такое смутное, что для французских носов уже пахнет жареным.

Принц Астурийский, Фердинанд, наследник престола, ненавидит первого министра, Годоя, «князя Мира», темного проходимца, который, сделавшись фаворитом королевы, овладел через нее старым, почти выжившим из ума, королем Карлом IV, разоряет страну и бесчестит королевский дом. Из-за Годоя происходят ссоры сына с отцом и матерью, которые приводят, наконец, к настоящей гражданской войне. В Аранжуеце вспыхивает восстание в пользу наследника; он обьявлен королем под именем Фердинанда VII; князь Мира посажен в тюрьму, едва не убит, и старый король сам отрекается от престола в пользу сына.

15 апреля 1808 года Наполеон едет в замок Маррак, у Байонны, чтобы следить вблизи за испанскими делами, и приглашает туда весь королевский дом Испании — сына, отца, мать и любовника. Все они жадно кидаются к нему, в надежде, что он их рассудит. Но 2 мая происходит в Мадриде новое восстание против французской оккупационной армии. Мюрат угашает его в крови: тысяч пятнадцать повстанцев избито мамелюками.

В то же время Наполеон в Байонне лишает Фердинанда короны, под предлогом, что мадридское восстание — дело рук его приверженцев, и предлагает вернуть ее старому королю. Тот от нее отказывается. Это Наполеону только и нужно.

Фердинанд заточен в Валенсей, Карл — в Компьен. Испанский престол свободен. Император возводит на него брата своего Иосифа, а зятя, Иохима Мюрата, — на престол Неаполитанский. «Снял корону с одного, нахлобучил ее на другого, и оба короля разошлись, каждый в свою сторону, как два новобранца, обменявшиеся шапками», — говорит Шатобриан.[789]

«Совершилось беззаконнейшее похищение короны, какое только знает современная история, — возмущается генерал Марбо. — Предложить себя посредником между отцом и сыном, чтобы заманить обоих в ловушку и ограбить, — это была гнусность и злодейство, которые заклеймила история и не замедлило наказать Провидение».[790] В этом возмущении Марбо видно благородное сердце его и плохая политика: увы, современная история знает множество больших злодейств, награжденных людьми и Провидением не наказанных, по крайней мере, здесь, на земле.

Талейран-Мефистофель — «навоз в шелковом мешке», как называл его в лицо Наполеон,[791] — торжествует; накинул-таки петлю на идею императора: бесконечно умный человек впутается в бесконечно глупую историю; по уши залезет в грязь и в кровь. Миром будет владеть Наполеон, а Наполеоном — Талейран.

Сам император, впрочем, судит себя так строго, что надо быть Тэном, чтобы бить лежачего. «Сознаюсь, я очень плохо принялся за это дело; слишком очевидной оказалась безнравственность, несправедливость — слишком циничной, и все это имеет вид прескверный, потому что я потерпел неудачу: покушение, благодаря этому, представилось во всей своей безобразной наготе, без того величия и тех многочисленных благодеяний, которые я замышлял. Эта злополучная война меня погубила…» — «язва эта меня изъела».[792]

После Байонского «злодейства» пламя восстания, угашенное в крови на Мадридских улицах, вспыхивает с новою силою уже по

всей Испании. Вся она покрывается сетью повстанческих полуразбойничьих, полугероических шаек — герилла (guerilla). Нож и пуля сторожат французского солдата из-за каждого угла. «Очень легко разбить испанцев, но победить их невозможно, потому что невозможна никакая с ними правильная война». Дух народа — вот враг невидимый, неуловимый, вездесущий. «Становясь длительной, такая война разлагает войско и закаляет народ».[793]

Днем и ночью сто тысяч изуверов-монахов проповедуют священную войну «двенадцати миллионам вшивых и гордых нищих».[794] «В Наполеоне — два естества, человеческое и дьявольское».[795] «От кого он происходит? — От греха. — Грех ли убить француза? — Нет, небесное блаженство — награда тому, кто убивает этих собак-еретиков». Таков Патриотический Катехизис испанских монахов.

Никаких «благодеяний» Наполеона не желают испанцы — ни короля Иосифа, ни Жан-Жака Руссо, ни «прав человека и гражданина», ни Кодекса, ни даже «золотого века» с оккупационной армией; предпочитают жить по старине «гордо и вшиво». Дикая тропинка в Сиэрра-Морене, где пахнет снежным ветром, тмином и козьим пометом, им дороже Елисейских полей с Триумфальной аркой.

Бедный Иосиф, королевская кукла, плачет от стыда и страха: «Нет ни одного испанца, который был бы за меня. Враг мой — двенадцатимиллионный народ, храбрый и доведенный до отчаянья!»[796]

Доблестному генералу Дюпону поручено занять Южную Испанию. 22 июля 1808 года, близ Кордовы, в Бейленском ущелье у подножья Сиэрра-Морена, отрезанный и окруженный неприятелем, он вынужден капитулировать с восемнадцатитысячной армией. «Солдаты его, большею частью новобранцы, безусые мальчики, изнуренные восьмичасовым боем, после пятнадцатичасового форсированного марша под июльским, палящим солнцем Андалузии, не могут не только драться, но и стоять на ногах»;[797] тихо, как пожатые колосья, ложатся на землю, ожидая плена или смерти. Сам бог войны, в таком положении, вынужден был бы капитулировать. Тем не менее Бейлен прозвучал на всю Испанию, Францию, Европу, как звонкая пощечина по лицу Великой Армии, по лицу самого императора. Бейлен — казнь за Байонну.

«Честь потеряна, — этого не поправишь: раны чести неисцелимы!» — шепчет Наполеон, при этом известии бледнея так, что кажется, лишится чувств.[798] И в Государственном Совете, говоря о Бейлене, плачет.

Магия победы разрушена: Наполеон победим.

Мадрид эвакуирован; Иосиф выгнан с позором. Английская армия, под командой генерала Уэллсли (Wellesley), будущего герцога Веллингтона, Ватерлооского героя, высадившись в Лиссабоне, идет на Саламанку, Валладолид и учится побеждать французов.

Осенью 1808 года Наполеон с двухсотпятидесятитысячной армией кидается на Бургос и Мадрид, снова сажает на престол Иосифа и, в месяц с небольшим, занимает всю северную часть Полуострова.

Испанцы бегут, почти не сражаясь; но «разбить их легко, а победить невозможно». С каждым шагом Наполеон угрузает в эту кровавую и бездонную трясину.

Вдруг, не кончив кампании, 18 января 1809 года, скачет в Париж. Оставляет на Полуострове триста тысяч штыков; «но что это значит среди двенадцати миллионов бесноватых!»[799] Скачет в Париж, потому что узнает о заговоре министра иностранных дел, Талейрана, и министра полиции Фуше на случай его, Наполеоновой, смерти в Испанской войне. Вот бы кого казнить, вместо невинного Энгиена; очистить бы мир от этих двух гадин! Но он прощает их, как вообще с легкостью прощает злейших врагов своих, может быть, из презрения. В заговоре участвует и зять императора, Неаполитанский король, Мюрат, со своею супругою, Каролиной Бонапарт — «леди Макбет».[800]

Наполеон узнает также, что Австрия выступила против Франции. Он похож на человека, у которого одна нога угрузла в болоте и который должен обороняться от нападающего противника: болото — Испания, а противник — Австрия, Англия, вся Европа.

Краткая Австрийская кампания блистательна, но уже зловещим блеском, как вечернее, между грозовыми тучами солнце.

Эсслинг, 21–22 мая 1809 года, — почти поражение; Ваграм, 5—6 июля, — не совсем победа. Бой выигран, неприятель отступил; «но странно, мы не захватили ни одного пленного, ни одного знамени», — вспоминает участник боя.[801] Слишком тяжелая, последняя, из последних сил, победа. Наполеон даже не преследует отступающего неприятеля: раненый лев еще отгрызается от нападающих псов, но уже не имеет силы настигнуть их и растерзать. Может быть, под Ваграмом он впервые почувствовал, что воюет уже не с царями, а с народами.

23 октября 1809 года, на площади Шенбруннского замка, близ Вены, во время парада французских войск, схвачен молодой человек, почти мальчик, лет восемнадцати, Фридрих Штапс, сын

протестантского пастора в Наумбурге. Он хотел зарезать Наполеона кухонным ножом, как тотчас признался ему на допросе. — «За что вы хотели меня убить?» — «За то, что вы делаете зло моему отечеству»… — «Я вас помилую, если вы попросите у меня прощения». — «Я не хочу прощения, я очень жалею, что мне не удалось вас убить». — «Черт побери! Кажется, для вас преступление ничего не значит?» — «Вас убить не преступление, а долг». — «Ну, а если я вас все-таки помилую, будете вы мне благодарны?» — «Нет, я все равно вас убью».

«Наполеон остолбенел», — вспоминает очевидец. — «Вот плоды иллюминатства, которым заражена Германия. Но с этим ничего не поделаешь: пушками секты не истребишь! — сказал он окружавшим его, когда Штапса увели. — Узнайте, как он умрет, и доложите мне».

Штапс умер, как герой. Когда вывели его к расстрелу, он воскликнул: «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия!» — и пал мертвым.

Наполеон долго не мог его забыть. «Этот несчастный не выходит у меня из головы. Когда я о нем думаю, мысли мои теряются… Это выше моего разумения!»[802]

Нет, не выше: знает — помнит, что этот восемнадцатилетний мальчик, «с очень белым и нежным лицом, как у девушки», — лицом древнего героя и христианского мученика, — мстящий херувим свободы — его же собственный двойник, Бонапарт, якобинец 1793 года, «если бы даже отец мой захотел быть тираном, я заколол бы его кинжалом!»

Может быть, на допросе Штапса Наполеон понял еще яснее, чем на полях Ваграма, что воюет уже не с царями, а с народами. Тотчас после покушения торопит мирные переговоры с Австрией. «Я хочу с этим покончить!»[803] Нет, не покончит никогда.

«Ваше величество может быть уверено, что, в случае вашего поражения, русские и немцы подымутся всею громадою, чтобы стряхнуть ярмо; это будет крестовый поход; все союзники покинут вас, и подданные принудят своих государей соединиться с вашими врагами», — говорил ему генерал Рапп, еще в 1806 году, после Иены. «Плохо он знал немцев, когда сравнивал их с собачонками, которые лают и не кусают; он узнал впоследствии, на что они способны».[804]

В том же году, когда расстрелян нюрембергский книжный торговец, Пальм, за распространение брошюры «Германия в своем глубоком унижении»,[805] — буря возмущения и отчаяния проносится по всей стране. Национальное движение подымается в Пруссии 1807–1810: Фихте выпускает «Речи к германскому народу», Арндт — «Катехизис германских солдат», Кернер —

«Лиру и меч».

«Брожение достигло высшей степени, — остерегает Наполеона брат его, Иероним, король вестфальский. — Самые безумные надежды принимаются восторженно; указывают на пример Испании. Если вспыхнет война, — все страны, между Рейном и Одером, будут очагом огромного восстания».[806] Это и значит, по слову Блюхера: «чем крепче он сковал народы, тем страшнее будет взрыв».

Не только государи, но и подданные возмущены разделом Европы между Бонапартами: Иосиф — в Мадриде, Иероним — в Вестфалии, Людовик — в Голландии, Элиза — в Тоскане, Иахим, муж Каролины, — в Неаполе.

Наполеон режет Европу, как именинный пирог, чтобы раздавать куски братьям и сестрам; кормит императорский орел птенцов своих Европой, как падалью.

Он, впрочем, и сам знает, что будет взрыв. Ходит по земле и чувствует, что вся она горит и дрожит под ним, как вулкан. Но что же делать? Победить народы или отречься от всемирности? «Передо мной был Гордиев узел, и я его разрубил».[807] Узел народов, узел плоти и крови, хотел разрубить мечом всемирности призрачной, но только затянул его на своей шее в мертвую петлю.

«Я не желал делать зла никому: но, когда моя великая политическая колесница несется, — надо, чтобы она пронеслась, и горе тому, кто попадет под ее колеса!»[808]

Он сам под них попал.

III. ДИНАСТИЯ. 1810–1811

Дочь австрийского императора, Мария-Луиза, досталась в добычу Ваграмскому победителю.

Жозефина бездетна, а Наполеону нужен наследник, чтобы основать династию. «Если бы я имел несчастье потерять Жозефину, то, может быть, государственные соображения принудили бы меня снова жениться, но тогда я женился бы только на брюхе, j épouserai un ventre, и Жозефина все-таки осталась бы единственной подругой моей жизни», — говаривал он.[809] Так и женился на «брюхе» Марии-Луизы: у матери ее было тринадцать человек детей, у бабушки семнадцать, а у прабабушки — двадцать шесть.

25 декабря 1809 года объявлен развод и «добровольное» отречение императрицы Жозефины, не без многих истерик ее, обмороков, слез. Плачет и он; плачет, впрочем, всегда довольно легко от малых и средних горестей; от больших — никогда. К Жозефине привязан искренно: как это ни странно, Наполеон —

человек старых привычек — «старых туфель»; «старая туфля» для него и Жозефина: мягкая, — не жмет.

Кроме плодородья Габсбургов, соблазняет его в Марии-Луизе и кровь Бурбонов: женившись на ней, скажет Людовику XVI: «дядюшка», и Марии-Антуанетте: «тетушка». «Снизился», революционный солдат, сначала до «императора», а потом — до «наследника Габсбурга». — «А вот настоящая Австрийская губа!» — восхищается, сравнивая ее портреты с медалями Габсбургов.[810]

Наполеон забыл Бонапарта: «У меня нет сына, и он мне ни на что не нужен. Дух семейственный мне чужд. Под Маренго я больше всего боялся, что, если буду убит, мне наследует один из моих братьев». — «Мой единственный наследник — Французский народ. Это мой сын: я только для него работал».[811]

«Снизился», отрекся от самого себя, от личности для рода; не захотел быть одним-единственным — захотел второго Наполеона в Габсбурге.

В 1814 году, в Рамбулье, куда приехала Мария-Луиза с сыном, Франц II поражен был сходством трехлетнего Римского короля с Иосифом II: «Настоящий Габсбург!»[812]

Сорокалетний жених молодится для восемнадцатилетней невесты: заказывает себе щегольское узкое платье и узкие башмаки, которых не выносит; учится вальсировать, хотя его от круженья тошнит.[813] Ждет невесты, не дождется, как маленький мальчик — новой игрушки.

Выезжает к ней навстречу в Компьен, ночью, в слякоть, и кидается в ее карету, где овладевает ею наспех, по-солдатски.[814]

Кожа у нее фарфорово-белая, фаянсово-голубые глаза, деревянная жесткость движений, лицо слегка рябое и румяное, грудь кормилицы и невинность десятилетней девочки. Она вытирает лицо платком от его поцелуев. «Что это, Луиза, я тебе противен?» — «Нет, но у меня такая привычка: я так же делаю, когда меня целует Римский король».

Муж любит тепло, а жена холод. — «Спи у меня, Луиза». — «Нет, у вас слишком натоплено».[815]

«Я его ничуть не боюсь, но начинаю думать, что он меня боится», — говорит она Меттерниху, три месяца спустя после свадьбы.

Он воображает, что она его любит. В 1814 году, после его отреченья, она пишет ему, что никогда его не покинет и «никакая человеческая сила не разлучит ее с ним». И он ей верит или делает вид, что верит. «Вы не знаете императрицы: это женщина с большим характером!» — говорит своим приближенным.[816] «Она умнее и политичнее всех моих братьев».[817]

Ждет ее на о. Эльбу, в изгнание, потому что она «любит в нем человека больше императора». Там же, на Эльбе, велит живописцу изобразить, на плафоне дворца, «двух голубков, связанных шелковой лентой так, чтобы узел затягивался, по мере того как они разлетаются».[818]

На Св. Елене, за неделю до смерти, завещает ей свое сердце. «Вы положите его в спирт и отвезете в Парму моей дорогой Марии-Луизе; вы скажете ей, что я ее нежно люблю и никогда не переставал любить. Вы сообщите ей все, что видели, как я здесь жил и как умер». В это время она уже любовница австрийского дипломата, барона Нейпперга, темного проходимца, злейшего врага его и многолетнего шпиона.[819]

«Я прошу мою дорогую супругу, Марию-Луизу, беречь моего сына», — сказано в завещании императора.[820] К счастью, он умер, не узнав, как она его сберегла.

2 апреля 1810 года повенчал их тот же кардинал Фош, который венчал Наполеона с Жозефиной. 20 марта 1811 года родился у них сын, Римский король. Призрачная династия основана; бездна покрыта цветами. Кажется, впрочем, он себя не обманывает: «брак с Марией-Луизой меня погубил… Я поставил ногу на прикрытую цветами пропасть».[821]

Первый, навязанный им себе на шею, камень — Испания, второй — династия, третий — папа.

«Папа господствует над духом, а я — только над материей». — «Души людей священники берут себе, а мне оставляют трупы».[822] Этого он не хочет; хочет оживить трупы, соединить дух с материей. Объявляет, что нет двух наместников Христа — папы и кесаря, а есть один — кесарь. «Бог сделал императора наместником Своего могущества и образом Своим на земле».[823]

«Я надеялся управлять папою, и тогда какое влияние, какая власть над миром!»[824] — «Я управлял бы миром духовным так же легко, как политическим».[825] «Я вознес бы папу безмерно, окружил бы его таким почетом и пышностью, что он перестал бы жалеть о мирском; я сделал бы из него идола; он жил бы рядом со мной; Париж был бы столицею христианского мира; у меня были бы мои соборы, как у Константина и Карла Великого».[826]

Майским декретом 1809 года, из Шенбрунна, после Эсслинга, император лишает папу Церковной области, т. е. земной власти. Папа отлучает императора. «Больше никакой пощады! Это бешеный дурак, которого надо запереть», — пишет Наполеон Мюрату. Тот врывается с военною силою в Квиринальский дворец, арестовывает папу и увозит больного, дышащего на ладан, старика сначала в Тоскану, потом в Гренобль и, наконец, в Савону

на Генуэзской Ривьере.

Император велит отправить всех кардиналов и папскую канцелярию в Париж; туда же думает перевезти папу, чтобы иметь его под рукой, в полной власти. Впоследствии перевезет его и заточит в Фонтенбло, где заставит подписать второй Конкордат, с отречением от мирской власти; папа, впрочем, от него скоро откажется. В Фонтенбло он живет под надзором жандармского офицера-тюремщика.[827] С 1810 года отняты у него секретарь, все бумаги, даже чернила и перья. Но он остается тверд: «Дело идет о нашей совести, и тут от нас ничего не получат, если бы даже с нас содрали кожу!»[828]

Так Наполеон сам подрубает сук, на котором сидит, — священное коронование; борется железным мечом с призраком.[829]

«Даже в протестантских странах возмущены его поведением с папою».[830] — «Я очень плохо принялся за это дело, — мог бы он сказать о своем поединке с Римом, так же как об Испанской войне. — Все это имеет вид прескверный, потому что я потерпел неудачу… Покушение, благодаря этому, представилось во всей своей безобразной наготе». — «Я занес руку слишком высоко, я захотел действовать, как Провидение».[831]

Лейб-медик Корвизар, еще в первые годы империи, вылечил его от тулонской чесотки, и он сразу начал полнеть. Вместе с худобой, лишился той божественной легкости, о которой говаривал, вспоминая молодость: «Я тогда как будто летел по воздуху». Годам к сорока толстеет, жиреет и тяжелеет. Вопреки естеству, душа его в больном теле здорова, а в здоровом — больна. Цвет кожи становится из желтого матово-белым, холодным, как мрамор. В слегка одутловатом лице проступает что-то мягкое, женское, почти «бабье». Один приезжий из провинции лакей, увидев его в парадной карете, рядом с императрицей, в церемониальной шляпе с большими белыми перьями, принял его за «старую гувернантку» Марии-Луизы. Вместо прежней оссиановой грусти, в этом лице — тяжелая, каменная скука — «летаргический сон».

«Мне вас жаль, — говорит Талейран обер-церемониймейстеру Ремюза, — вы должны забавлять незабавляемого, l'inamusable!»

Сам император иногда удивляется скуке своих придворных балов. «Это потому, что веселье не слушается барабана», — объясняет ему Талейран.[832]

Скучно государю — скучно и подданным. Не веселят и победы; от них еще скучнее, потому что война кажется бесконечной. «Здесь уныние и недовольство общее, — пишет в частном письме одна современница. — Ни восхищения, ни даже

удивления к победам: чудесами пресытились».[833]

Революционный диктатор становится самодержавным деспотом.

Мартовским указом 1810 года, восстановляющим тюрьмы для политических преступников, «как бы упраздняется первое действие Революции — разрушение Бастилии».[834] Школы и лицеи превращаются в казармы, где Музы маршируют под звук барабана, так же как дамы на придворных балах. Свобода печати задушена. Из 73 газет остается только 4; статьи поступают в них из канцелярии общественного мнения, Bureau de l'esprit public, а редакторы назначаются министром юстиции. «Печатный станок — арсенал: его нельзя делать общедоступным; книги должны печатать только те, кто пользуется доверием правительства».[835] — «Надо бы свести газеты к объявлениям», — мечтает император.[836] — «Хорошо бы запретить Тартюфа».[837] — «Мысль есть главный враг царей».[838]

Невинно-либеральная г-жа де-Сталь гонима. «Царство смутьянов кончено; я хочу, чтобы меня слушались; уважайте власть, потому что она от Бога».[839] Шатобриана за неосторожное слово о Нероне и Таците император грозит «зарубить саблями на ступенях Тюльерийского дворца».

Скучно, душно, тяжело всем, как в бреду. Он и сам это знает: «Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением: „Уф!“»[840]

«Бог создал Бонапарта и опочил», — говорит ему в лицо префект одного департамента. «Лучше бы немного раньше опочил!» — замечает кто-то шепотом.[841]

Город Париж сочиняет надпись для императорского трона: «Ego sum qui sum, Я есмь Сущий». — «Я запрещаю вам сравнивать меня с Богом», — отвечает император со скукой и отвращением на слишком бесстыдную лесть.[842]

Точно Каменный Гость: когда идет, земля под ним дрожит. «От последнего камер-лакея до первого министра все чувствовали ужас при его приближении».[843]

Знал ли он, что делает, или бесконечно зрячий ослеп, бесконечно умный обезумел? Все знал; знал, что губит себя, и не мог не губить — не «сгорать» — не умирать, не быть «жертвою». — «Всю мою жизнь я жертвовал всем — спокойствием, выгодой, счастьем, — моей судьбе».[844] Не мог не жертвовать, как вечернее солнце не может не склоняться к западу.

«Страшная палица, которую он один мог поднять, опустилась на его же голову».[845] Знал, что опустится, и даже, странно сказать, как будто этого сам хотел.

«Сам себя разрушил, убил себя политическим самоубийством», — говорит один современник.[846] Самоубийство

— саморастерзание, «Дух Господен сошел на него, и он растерзал льва, как козленка». Самого себя растерзал, чтобы «из ядущего вышло ядомое, и из крепкого вышло сладкое».

В 1808 году, перед Испанской войной, надел на себя ладанку с ядом и не снимает ее до конца;[847] но не отравится — уже был отравлен. Императорский пурпур на нем, как одежда Нисса: липнет к телу и сжигает его до костей; он не освободится от нее, пока не взойдет на костер жертвенный: должен сгореть на нем, как солнце на костре заката.

«Только бы продлилось, только бы продлилось! Pourvou que ça doure, pourvou que ça doure!» — шепчет мама Летиция, качая головой, как вещая Парка.[848] «Твердо знала всегда, что все рушится».[849] А может быть, и сын ее знал, слышал голос Судьбы и покорно шел на него, как дитя — на голос матери.

Знал, что близок час его — Двенадцатый год.

IV. МОСКВА. 1812

«Целыми часами, лежа на софе, в долгие зимние ночи 1811 года он погружен был в глубокую задумчивость; вдруг вскакивал, вскрикивал: „Кто меня зовет?“ — и начинал ходить по комнате, бормоча: „Нет, рано еще, не готово… надо отложить года на три…“»[850] Но знал, что не отложит, и знал, кто его зовет, — Рок.

«Я не хотел войны, и Александр ее не хотел; но мы встретились, обстоятельства толкнули нас друг на друга, и рок довершил остальное».[851]

Русская кампания — неизбежное следствие континентальной блокады, поединка Франции с Англией. «Разрушив Австрию и Пруссию, эти естественные оплоты Европейского Запада, Наполеон оказался лицом к лицу с Русским Востоком».[852]

Осенью 1810 года блокада начинает действовать: в Лондонском Сити — ряд банкротств; внутреннее положение Англии невыносимо; экономический кризис грозит ей социальной революцией. Наполеону кажется, что он уже касается цели: Англия накануне падения; нужно только нанести ей последний удар: закрыть Балтику — заткнуть эту последнюю щель, через которую просачиваются английские товары в Европу. «Мир и война — в руках России», — говорит Наполеон и предлагает Александру конфискацию, в водах Балтики, не только английских, но и нейтральных судов с английскими товарами. «Никогда еще Англия не находилась в таком отчаянном положении… Мы имеем достоверные сведения, что она желает мира… Если Россия присоединится к Франции, то общим криком Англии сделается „мир“ и английское правительство вынуждено

будет просить мира».[853]

Но Александр вовсе не хочет поражения Англии: он видит в ней последнюю защиту от окончательного «порабощения народов под властью одного». В то же время Наполеон, узнав, что 1200 нейтральных судов выгрузили товары в русских гаванях, понял, что Россия никогда не присоединится к блокаде.

С января 1811 года Александр потихоньку мобилизует двести сорок тысяч штыков к западной границе. Он обманывает Наполеона беззастенчиво: готовит на него внезапный удар, и нанес бы его, если бы Польша согласилась.

Но Наполеон предупреждает Александра: к весне 1811 года собирает в Германии армию небывалую в новые времена — шестьсот семьдесят тысяч штыков, — соединяющую две трети военной Европы, дисциплинированную железной рукой, образованную и движимую волей одного человека. Он решает напасть на Россию в 1812 году.

«Солдаты! — говорит он в воззвании к Великой Армии, — война начинается… Россия увлекаема роком; судьбы ее должны совершиться… перейдем же Неман!»[854]

К Неману подходит 22 июня 1812 года.

Так же, как тогда, пять лет назад, в год Тильзита,

> Лениво дышит полдень мглистый,
> Лениво катится река,
> И в тверди пламенной и чистой
> Лениво тают облака;
> И всю природу, как туман,
> Дремота жаркая объемлет…

Так же на песчаных отмелях парит, пахнет теплою водою, рыбою, теплой земляникой и смолистыми стружками из соснового бора. Душно; в зное зреет гроза.

Тот берег пуст. Где же русские? В сумерки несколько разведчиков переплывают реку и выходят на берег. Всадник, русский офицер казачьего патруля, выезжает к ним из лесу, кричит: «Кто вы такие?» — «Французы». — «Что вам нужно?» — «А ты, сукин сын, не знаешь? Воевать, взять Вильну, Польшу, Россию!» Всадник молча повернул лошадь и ускакал в лес. Три выстрела грянуло за ним; их повторило эхо в лесу, и опять тишина мертвая.[855]

Армия переходила через Неман по трем понтонным мостам, тремя колоннами. Русские переходу не мешали. Этому радовались все, кроме императора. Стоя на том берегу и следя за движением войск, он часто поглядывал вдаль, как будто ждал

кого-то. Вдруг вскочил на коня и, один, без конвоя, помчался в лес. Скачет версту, две, три — ни души. Остановился, оглянулся, прислушался: тишина, пустота, бесконечная — бесконечная тайна — Россия. «Кто меня зовет?» — воскликнул и поскакал назад к Неману.

Армия шла на Россию через Литву — Ковно, Вильно, Витебск, нигде не встречая врага и углубляясь все дальше и дальше, в тишину, пустоту бесконечную. Точно падала в пропасть, тонула в воде, шла, как ключ, ко дну. Ужас овладел людьми. Это была уже не война, а что-то неизвестное: люди воюют с людьми или с природой, но как воевать с невещественным, неосязаемым — с Пространством?

В зное зрела гроза недаром: разразилась потопными ливнями, и сразу, после палящего зноя, наступили холода — в июле — октябрь. Десять тысяч лошадей пало от плохих кормов и внезапного холода; тлеющие трупы их валялись по дорогам, заражая воздух. Непролазная грязь остановила подвоз провианта. В армии начался голод, гнилая горячка и кровавый понос. Люди мерли, как мухи, бежали из-под знамен. И это только начало, — Литва еще не пройдена.

«Я знаю, положение армии ужасно, — говорит Наполеон. — С Вильны у нас половина отсталых, а теперь — две трети. Времени терять нельзя: надо вырвать мир; он в Москве. К тому же армия уже не может остановиться: ее поддерживает только движение; с нею можно идти вперед, но не останавливаться и не отступать. Это армия для нападения, а не для обороны».[856]

Но если бы и могла остановиться армия, он сам бы не мог: ужасает пространство и притягивает, как бездна; должен идти все вперед и вперед, проваливаться в бездну, уходить в глубину, в тишину бесконечную — бесконечную тайну — Россию.

28 июля — Витебск. Император входит в приготовленную для него комнату, снимает шпагу; кладет ее на стол с картой России и говорит: «Я остановлюсь здесь, подожду, осмотрюсь, дам отдохнуть армии, устрою Польшу, соберусь с силами. Кампания 1812 года кончена; кампания 1813 года довершит остальное». — «В 1813-м мы будем в Москве, в 1814-м — в Петербурге. Русская кампания — трехлетняя».[857]

Говорит для других, а про себя знает, что не остановится — дойдет до Москвы — коснется дна пропасти.

17 августа — Смоленск. Город взят приступом, сожжен. Думали было французы, что русские не отдадут без боя святых ворот Москвы, с древней иконой Богоматери. Нет, отдали, только увезли Владычицу.

«Отдали Смоленск — отдадут и Москву! — кричит Наполеон

в бешенстве. — Трусы, бабы, люди без отечества. Мы их голыми руками возьмем!»,[858] «Ну-ка — попробуй возьми!» — отвечают, без слов, угрюмые лица маршалов.

Бой, наконец, бой! 5 сентября французы увидели русскую армию. Защищая подступы к Москве по Можайской дороге, она заняла укрепленные высоты Бородина.

Встрепенулась Великая Армия, снова поверила в звезду Вождя, поняла, что это первый и последний, все решающий бой, в котором надо победить или погибнуть.

Ночь накануне боя император плохо спал: простудился, сделалась лихорадка с кашлем и насморком. В дни осеннего равноденствия — поворот годового дня к ночи, солнца к зиме — он всегда себя чувствовал плохо, как будто слабел и хирел вместе с солнцем.

Все просыпался, спрашивал, который час, и посылал узнать, не уходят ли русские; бредил, что уйдут.

В пять утра, когда ему доложили, что маршал Ней все еще видит неприятеля и просит позволенья начать атаку, император встал, встряхнулся, как будто ободрился и проговорил: «Наконец-то, мы их держим! Идем же, откроем дверь в Москву!»[859]

Вышел на занятый позавчера Шевардинский редут; подождал, чтобы солнце взошло, и, указывая на него, воскликнул: «Это — солнце Аустерлица!», но таким равнодушным голосом, что лучше бы совсем не говорил.

Да и солнце всходило против него, со стороны русских, ослепляя французов и открывая их ударам врага.[860]

Бой начался — «самый кровавый из всех моих боев», скажет о нем Наполеон. Может быть, не только французы и русские, но и люди вообще никогда не дрались с таким ожесточением и с такою равною доблестью, потому что за святыни равные: «французы — за мир и Человека, русские — за отечество и еще за что-то большее, сами не знали за что; думали: „За Христа против Антихриста“».

Первый раз в жизни Наполеон в бою не участвовал. Шевардинский редут, где пробыл он весь день, находился в тылу французской армии, поле сражения, заслоненное холмами, плохо было видно оттуда. Император то садился на складной походный стул, то ходил взад и вперед по площадке редута. Каменная скука была на лице его — «летаргический сон». Жаждал боя, а когда он начался, едва смотрел на него, едва слушал о нем донесения. Узнавая о гибели храбрых, только уныло отмахивался, как будто думал о другом, другим был занят. Чем? Или просто болен. «С телом моим я всегда делал все, что хотел».[861] Но теперь ничего не мог сделать. Мир хотел победить, и не победил насморка.

Сгорбившись, понурив голову, сидел и кашлял, чихал, сморкался. Одутловато-белое, бабье лицо его напоминало «старую гувернантку Марии-Луизы». Люди и боги ему не простят, что в такую минуту он, Человек, оказался «мокрой курицей». Но, может быть, ему и не надо, чтобы прощали, — ничего не надо; мир уже не хочет победить: понял, что игра не стоит свеч. «Лет до тридцати победа может ослеплять и украшать славою ужасы войны, но потом…»[862] — «Никогда еще война не казалась мне такою мерзостью!»

Мог победить и не захотел; оттолкнул Победу, как пресыщенный любовник — любовницу: этого она ему не простит.

Кавалерийской атакой Мюрата опрокинуто все левое крыло Кутузова; конницей Латур-Мобура взяты высоты Семеновска: путь к победе открыт. Но изнемогающие маршалы, Ней и Мюрат, просят подкреплений. Император колеблется — дает, не дает. Этим пользуются русские: Багратион восстановляет прорванную линию, и дело идет уже не о том, чтобы довершить, а чтобы сохранить победу. Маршалы снова просят, молят подкреплений. Император велит выступить Гвардии; но только что выступила, — останавливает: «Нет, я еще посмотрю…»[863]

К полдню правое крыло французов врезалось в русскую армию так глубоко, что видит всю ее обнаженную внутренность — весь тыл до Можайской дороги — беглецов, раненых, телеги обоза; только ров да лесная порубка отделяют французов от них; нужен последний удар, чтобы прорваться к ним и решить участь боя — может быть, участь всей кампании. «Гвардии! Гвардии! — молят, требуют маршалы. — Пусть только появится издали, и мы одни кончим все!» — «Нет, я еще недостаточно ясно вижу на моей шахматной доске… Если завтра будет новый бой, с чем я останусь?» — отвечает император.[864]

«Я его не узнаю!» — вздыхает Мюрат с грустью.[865] — «Что он там делает в тылу? — кричит в бешенстве Ней. — Если он хочет быть не генералом, а императором, пусть возвращается в Тюльерийский дворец, — мы будем воевать за него!»[866]

Когда Наполеон дал, наконец, Гвардию, было уже поздно: русские отступили в полном порядке, оставив французам только поле сражения, где мертвых победителей, казалось, больше, чем живых.

«Москва! Москва!» — закричали солдаты и захлопали в ладоши от радости, когда 14 сентября, в два часа пополудни, увидели на краю Можайской равнины золотые маковки. Вдруг забыли все муки войны: «мир в Москве» обещал император.

Может быть, радовались и чему-то большему, о чем сказать не умели. Через Москву — путь на Восток, где некогда Господь

насадил Свой сад, рай, для Адама; и вот новый Адам, Человек, ведет их в новый рай — царство свободы, равенства и братства. От Фавора до Гибралтара, от пирамид до Москвы — таков Наполеонов крест на земле — апокалипсическое знаменье.

«Цель века была достигнута, совершилась Революция, — вспомнит он сам, уже на Св. Елене, свои тогдашние мечты. — Я делался ковчегом Ветхого и Нового Завета, естественным между ними посредником».[867] — «Мое честолюбие, может быть, величайшее и глубочайшее, какое существовало когда-либо, заключалось в том, чтобы утвердить и освятить, наконец, царство разума — полное проявление и совершенное торжество человеческих сил».[868] — «И какие бы тогда открылись горизонты силы, славы, счастья, благоденствия!»[869] Это значит: «через Москву — в рай!»

«Наконец-то!» — воскликнул он, глядя с Поклонной горы на простирающуюся у ног его Москву и как будто просыпаясь от страшного сна.[870]

Ждет депутатов, чтобы тотчас начать переговоры о мире, и вдруг узнает, что Москва пуста. Не верит, все еще ждет. Только к ночи въезжает в Москву и как будто опять засыпает тяжелым сном: пустота многолюдного и вдруг опустевшего города, вымерших улиц, безмолвных домов страшнее самой страшной пустыни. Пустота, тишина бесконечная — бесконечная тайна, Россия — Рок.

В ту же ночь он узнает, что Москва горит. Пять дней будет гореть. Тушат французы, но не потушат: сразу со всех концов сама загорается; поджигают русские воры и разбойники, выпущенные для этого нарочно из тюрем. «Люди с дьявольскими лицами в бушующем пламени — настоящий образ ада», — вспоминает очевидец. — «Какие люди, какие люди! Это скифы!» — шепчет Наполеон в ужасе.

Ясные сухие дни; сильный северо-восточный ветер; город почти весь, кроме церквей и дворцов, деревянный, — бушующее море пламени. «Это было самое величественное и ужасное зрелище, какое я когда-либо видел», — вспомнит Наполеон.[871]

Так вот чем ответила ему Россия — самосожжением.

Целыми часами, глядя на пожар из окон Кремлевского дворца, он видит, как вся его жизнь — победы, слава, величье — исчезает, как дым, в клубах дыма и пламени. Завидует ли России? Вспоминает ли свое искушение огнем: «Сгореть, чтоб осветить свой век»?

Кремль осажден пламенем. Жар так силен, что, когда император смотрит из окна, стекла жгут ему лоб.

Он бежит из Кремля «по огненной земле, под огненным

небом, между огненными стенами», и едва спасается.[872]

Выждав в Петровском-Разумовском, чтобы Москва догорела, возвращается на ее пепелище. Не знает, что делать: решает то идти на Петербург, то зимовать в Москве; мечется, как затравленный зверь. Наконец, посылает к Александру. «Я хочу мира, — говорит посланному, — мне нужен мир во что бы то ни стало; только спасите честь!»[873]

Александр не отвечает: мира не будет.

13 октября выпадает первый снег, предвещая лютую русскую зиму — после огненного ада ледяной.

19-го Великая Армия, — уже не великая, а малая — едва шестая часть ее, — выходит из Москвы, по Калужской дороге, и начинает отступление.

28-го, ударил мороз, а 8 ноября, по дороге на Вязьму, французов застигла такая вьюга, что людям, не знавшим русской зимы, казалось, что тут им всем пришел конец. Черное небо обрушилось на белую землю, и все смешалось, закружилось в белом, бешеном хаосе. Люди задыхались от ветра, слепли от снега, коченели от холода, спотыкались, падали и уже не вставали. Вьюга наметывала на них сугробы, как могильные холмики. Весь путь армии усеян был такими могилами, как бесконечное кладбище.

Особенно пугали их долгие зимние ночи. На бивуаках в степи, в двадцатиградусный мороз, не знали, где укрыться от режущего, ледяного ветра. Жарили себе на ужин дохлую конину на тлеющих углях, оттаивали снег на похлебку из горсти гнилой муки и тут же валились спать на голый снег, а поутру бивуак обозначался кольцом окоченелых трупов и тысячами павших в поле лошадей.

Но лучше было замерзнуть, чем попасть в руки казаков и крестьян: те убивали не сразу, а долго издевались и мучили или просто выбрасывали, голых, на снег; если же пленных было слишком много, гнали их пиками, как скот, может быть, на новые, злейшие муки.

Сто тысяч французов вышло из Москвы, а недели через три осталось тридцать шесть тысяч, да и те — живые трупы, смешные и страшные чучела, в пестрых и вшивых лохмотьях — чиновничьих фраках, поповских рясах, женских капотах и чепчиках. Ни подчиненных, ни начальников: бедствие сравняло всех. Стаи голодных псов следовали за ними по пятам; тучи воронов кружили над ними, как над падалью.

Не все, конечно, такие: есть еще Гвардия. Старые усачи-гренадеры все еще берут на караул окоченелыми руками и слабыми голосами кричат, как на Тюльерийских парадах: «Виват

император». Эти делают и будут делать такие чудеса, что внуки не поверят.

Маршал Ней, прикрывая отступление на Смоленск, с двумя тысячами против семидесяти, бьется десять дней подряд и побеждает. Не только Франция — мир никогда не забудет этого святого геройства.

А что же Наполеон? Все еще «мокрая курица»? Нет, как будто только и ждал этого последнего паденья, чтобы восстать из него в славе большей, чем слава всех его побед.

Бледно-бледно, мертво лицо его, как мертвый, бледный снег; но чудно и страшно, как лицо Диониса, нисшедшего в ад. И те, кто в аду, глядя на него, снова надеются, что он их спасет, выведет из ада в рай.

«Холодно тебе, мой друг?» — спрашивает он старого гренадера, идущего рядом с ним, в двадцатиградусный мороз. «Нет, государь, когда я смотрю на вас, мне тепло!»[874] Тепло, как от солнца в ледяном аду.

Люди все еще верят в него; если бы не верили, разве бы тысячи раз не убили его, когда он шел, рядом с ними, по снегу, с палкой в руках. Но вот не убивают, а умирают за него и верят, санкюлоты-безбожники, что «днесь будут с ним в раю». Может быть, он и сам еще верит, что ведет их в рай сквозь ад, а верить в такую минуту — это и значит быть Человеком.

Стикс этого ада — Березина. К ней теснят его, загоняют, травят, как зайца, Кутузов с востока, Виттгенштейн с севера, Чичагов с юга, чтобы там и прикончить, на радость всем православным, «собаку-Антихриста».

И он это знает — знает, что для него Березина — то же, что для Мака Ульм — западня, Кавдинское ущелье, последний позор — капитуляция. Знает и все-таки идет на нее, потому что идти больше некуда. И хуже всего, что сам виноват: идучи на Москву, так безумно верил в победу, что сжег весь понтонный экипаж в Орше, и теперь переправиться не на чем. А, как нарочно, сделалась оттепель, реку взломало, и пошел ледоход.

25 ноября, Наполеон на Березине. Там уже Чичагов, у Борисова, ждет его, сторожит; и Виттгенштейн вот-вот соединится с Кутузовым, как две челюсти железных клещей.

«Положение было такое, что казалось, ни один француз, ни даже сам Наполеон не мог спастись», — вспоминает генерал Рапп. «Наше положение отчаянное, — говорит маршал Ней. — Если Наполеон выйдет из него, значит, сам черт ему помогает!» — «Я предлагал ему спасти его одного, переправить через реку, в нескольких лье отсюда, и доставить в Вильну, с верными поляками, — говорит Мюрат. — Но он об этом и слышать не

хочет. А я так думаю, что нам отсюда живыми не уйти… Мы все здесь погибнем, нельзя же сдаваться!»[875]

Канун Березины — день страшного торжества. Император велит принести знамена всей армии, разложить костер и бросить их в огонь, чтобы не достались врагу. «Люди выходили из рядов, один за другим, и бросали в огонь то, что им было дороже, чем жизнь. Я никогда не видел большего стыда и отчаянья: это было похоже на шельмование всей Армии».[876] Эти святые орлы знамен летали по всей земле, от Фавора до Гибралтара, от Пирамид до Москвы, и вот горят, улетают на небо с пламенем.

Бледно-бледно лицо императора, мертво, как мертвый снег, но радостно, как будто он победил врага: самосожжение Москвы — самосожжение орлов.

Если сжег знамена, честь Армии, значит, знал сам, что нет спасения, и других не обманывал. Он это знал, как дважды два четыре, и все-таки верил в чудо. И, как всегда, в жизни человека, в жизни всех людей, — где вера, там чудо.

Чичагов отступил от Борисова, тот берег пуст, переход свободен. Люди глазам своим не верят. «Не может быть! Не может быть!» — шепчет Наполеон, и бледное лицо его еще бледнеет. «Так вот она опять, моя Звезда!» — говорит, глядя на небо.[877] Звезда до конца не покинет его, но поведет уже иными путями, чем он думает.

Студенский брод, верстах в двенадцати к северу от Борисова, вверх по реке, если бы не сторожил его Чичагов, был единственно возможной для переправы французской армии точкой. Маршал Удино послан был к Уколодскому броду, верстах в сорока, вниз по реке, к югу от Борисова, для демонстрации, будто бы там наводят мост, чтобы обмануть и отманить Чичагова от Студенки. На успех Наполеон почти не надеялся: Чичагову надо было сойти с ума, чтобы поверить такому грубому обману. Но вот, поверил: обезумел под чарующим взором Демона, как птица под взором змеи. С математическою точностью, час в час, минута в минуту, исполнил весь план врага: «оба вместе вышли из Борисова, Чичагов — на Уколоду, Наполеон на Студенку».[878]

Здесь, утром 26-го, французы начали наводить два моста: один пошире, для артиллерии, обоза и конницы; другой, поуже, для пехоты. Бревна и доски из разобранных хат шли на мостовые сваи и козла, лом от старых пушечных колес — на гвозди и скобы.

Люди, вбивая сваи в тинистое дно, стояли по пояс в ледяной воде, часов по шести-семи, и еще должны были отталкивать руками наносимые на них течением и ветром огромные льдины; кто не оттолкнет вовремя, сам уносился ими и тонул. Страшно было смотреть на их посиневшие лица. Многие тут же падали

мертвыми; и ни капли водки, чтобы согреться, и постелью для отдыха будет снег.[879] Крови своей не лили на полях сражений, а только давали ей стынуть в жилах, но, может быть, эти неизвестные люди стоят многих славных.

К 27 ноября мосты были готовы. Наполеон перешел по ним с гвардией и корпусом Нея. Главное дело сделано: спасен император — империя — честь Великой Армии.

28-го Чичагов, наконец, опомнившись, бросился к Студенке. И Виттгенштейн, и Кутузов шли к нему на помощь форсированными маршами. Каждую минуту могли они появиться у Студенки. Надо было спешить с переправой. Но, сколоченный на живую нитку, артиллерийский мост не выдержал слишком большого движения войск и тяжелых орудий, сломался. Все кинулись к другому, пешеходному, загроможденному обозом, множеством отсталых, раненых, больных, женщин, детей, стариков — всем многотысячным Московским табором. Артиллерия должна была пробиваться сквозь них. В это время послышались орудийные залпы на обоих берегах и в толпе на мосту пронеслась весть: «Чичагов! Виттгенштейн!» Ядра засвистели над головами и начали врезаться в толпу. Люди, обуянные ужасом, давили, топтали друг друга, сбрасывали в воду. Солдаты прорубали себе путь сквозь толпу штыками и саблями. И трупы задушенных неслись в ней, как живые, не падая.

Люди озверели. Но тут же, как звезды в ночи, вспыхивали жертвенные доблести: мужчины уступали дорогу женщинам, взрослые — детям; обреченные спасали погибающих. Один канонир, со зверским лицом рубивший толпу саблею, вдруг увидел в воде тонущую мать с ребенком, наклонился, с опасностью быть растоптанным, схватил ребенка, поднял его и прижал к своей груди с материнскою нежностью.[880]

Пушки катились по человеческим телам. Льдины, сталкиваясь, трещали в воде, кости — в крови. Люди висели над водой, ухватившись одной рукой за край моста, пока ее не раздавливало колесо: тогда падали в воду.

Слышались нечеловеческие крики, стоны, проклятия, мольбы и далеко-далеко: «Виват император!» — как вопль вопиющих из ада к Избавителю.

Минский губернатор, весной того года, подобрал и сжег в Студенке двадцать четыре тысячи трупов. А рыбаки на Березине, десять лет спустя, находили, будто бы, там островки и холмики из французских костей, слепленных илом и поросших незабудками.[881] Точно эти голубые, как небо, цветы говорили: «не забудьте, люди, о тех, не забудьте, кто здесь погиб, кто шел за Человеком к раю сквозь ад. Вечная память им и ему, вечная

слава!»

ЗАКАТ

I. ЛЕЙПЦИГ. 1813

Кто этот бледный человек, скачущий, днем и ночью, на почтовых сломя голову? Кутается в шубу, низко надвигает шляпу на глаза, прячется в угол саней или кареты, не смеет выглянуть. Неопытный, с опасными бумагами, курьер, трусливый военный шпион или дезертир Великой Армии, изменник императора? Нет, он сам.

Выехал, в ночь на 6 декабря, из местечка Сморгони, за Березиной; Вильну, Варшаву, Дрезден, Майнц — всю Европу проскакал в двенадцать дней и, в ночь на 18-е, был в Тюльерийском дворце.

Медленно всходит по дворцовой лестнице, и чье-то лицо мелькает в глазах его; не лицо ли того гренадера, которого спрашивал тогда, на Березине, в двадцатиградусный мороз: «Холодно тебе, мой друг?» — «Нет, государь, когда я на вас смотрю, мне тепло!» Тепло, как от солнца, в ледяном аду. Но солнце ушло, и гренадер замерз, как, должно быть, сейчас замерзает вся армия. Вынес было ее на руках император из ледяного ада, но уронил, убежал, покинул в аду. Армию покинуть или Францию, надо было решить, как тогда, в Египте, и так же решил, — покинул армию для Франции; услышал голос судьбы и пошел на него, как дитя на голос матери.

«Здравие его величества лучше, чем когда-либо», — сказано было в пришедшем за два дня до его приезда, 29-м Березинском бюллетене Великой Армии, от которого содрогнулась вся Франция. «Семьи, осушите слезы. Наполеон здоров!» — горько смеялся Шатобриан.[882] Над чем? «Жив и здоров», — должен был сказать император, потому что один только слух о смерти его, пущенный дерзким заговорщиком генералом Малэ, чуть не привел к низвержению династии. Это было сейчас после Москвы; что же могло быть после Березины?

«По возвращении в Париж он был очень весел, — вспоминает камердинер императора, Констан. — Он был совсем такой же, как при начале Русской кампании; та же ясность в лице: прошлого для него как будто не существовало».[883]

Зиму провел, как всегда: слишком опрятные, вытираемые платком поцелуи Марии-Луизы, прорезавшиеся зубы маленького Римского короля, заседания Государственного Совета, аудиенции послов, ночи напролет за работой, огненные гроздья бальных

люстр в Павильоне Флоры, охотничьи рога в лесах Фонтенбло — как всегда. Снился страшный сон — Москва, Березина — проснулся и забыл, что снилось. «Кажется, сама природа создала меня для великих несчастий; душа моя была под ними как мрамор: молния не разбила ее, а только скользнула по ней».[884] — «Я основан на скале».[885]

Но под ним и скала дрожит. «Взрыв», напророченный Блюхером, произошел в Германии.

28 февраля 1813 года прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III подписан Калишский договор с русским императором Александром I: Пруссия должна быть восстановлена в границах 1806 года; Александр не сложит оружия, пока не освободит Германию от французского ига.

Пруссия объявляет войну Франции. К новой коалиции присоединяется Швеция, с наследником престола, Бернадоттом, князем Понтекорво, бывшим маршалом Франции.

Россия, Пруссия, Швеция — на севере, на юге — Испания, Португалия, на западе — Англия и на востоке — уже колеблющаяся Австрия: вся Европа — вулкан в извержении.

5 апреля объявлен во Франции новый набор, в 180 000 человек. «Он производится так быстро и легко, что кажется, войска сами выходят из земли».[886]

14-го, оставив регентство Марии-Луизе, император выезжает из Парижа в Майнц. Армия в 100 000 штыков собирается на левом берегу Зааля и идет на восток, к Лейпцигу.

2 мая молниеносная победа над русскими и пруссаками, у Лютцена; 20-го вторая победа, у Баутцена. Союзники, в беспорядке, отступают в Силезию. Погребенная на Березине, Великая Армия воскресла. Коалиция в ужасе.

4 июня подписано Плесвицкое перемирие. Меттерних предлагает Наполеону Пражский конгресс Союзных держав. Но 26-го, в Дрездене, в восьмичасовой беседе, как искусный врач, выстукивает, выслушивает чудесно воскресшего и объявляет: «Он человек конченый! C'en est fait de lui!»[887] «Бонапарт — негодяй; его надо убить: пока он жив, он будет бичом мира!» — выражает мнение Коалиция, «общественное мнение Европы», «этот каналья Понтекорво», как называет Бернадотта маршал Бертье.[888] «Убить, раздавить гадину, стереть главу Змия!» — бредит Александр в мистическом бреду.

«Главная ошибка моя была в том, что я считал моих противников умнее, чем они были. Я знал, что я необходим для Европы, и думал, что это тоже знают и не захотят меня уничтожить», — скажет Наполеон на Св. Елене.[889]

Пражским конгрессом Союзники пользуются только как

средством выиграть время, чтобы включить Австрию в Коалицию. Предлагают Франции вернуться к «естественным границам» — Пиренеям, Альпам и Рейну. Но прежде чем Наполеон успел ответить, конгресс объявлен закрытым, и Австрия, сбросив маску, присоединяется к Союзникам.

Перемирие кончено, война продолжается. 26–27 августа победа Наполеона под Дрезденом — «последняя улыбка судьбы: с этой минуты начинается непрерывная цепь неслыханных, роковых случайностей».[890] — «Мука моя была в том, что я предвидел исход, — вспоминает он. — Звезда моя бледнела, вожжи ускользали из рук, и я ничего не мог сделать».[891] Все видит, слышит, знает и не может очнуться, как в летаргическом сне.

После победы под Дрезденом мог уничтожить всю прусско-русскую армию; уже гнался за нею, но вдруг заболел; думали, отравлен. Должен был вернуться в Дрезден; пролежал только день и потерял из-за него плоды всех побед. Стоит ему отвернуться, чтобы генералы и маршалы его терпели поражения: Блюхер разбивает французскую армию в Силезии; Бернадотт — в Пруссии; генерал Вандамм разбит в Чехии, под Кульмом. Восстает Вестфалия, восстает Бавария. Вюртембергский король предупреждает Наполеона, что вся Рейнская Конфедерация покинет его, и советует ему поскорее отступить за Майнц. Коалиция окружает его грозным полукольцом. Он отступает к Лейпцигу. Здесь настигают его Союзники, и он вынужден принять бой.

16 октября, первый день боя нерешителен; после шести отбитых атак неприятель оставляет французам только поле сражения.

17-го русская армия Беннигсена соединяется с австрийскою, — Шварценберга; северная, — Бернадотта, также вступает в боевую линию. Грозный полукруг смыкает оба конца в мертвую петлю. Наполеон просит перемирия; лучше бы не просил, — только обнажил свою слабость; Союзники даже не отвечают ему: завтра бой.

Бой начался в восемь часов утра; к трем пополудни, после третьей атаки Старой Гвардии, австрийская линия дрогнула — вот-вот побежит. Вдруг, в самом центре французской армии, произошло что-то такое странное, что люди сначала не могут понять, что это: целый двенадцатитысячный корпус Саксонской пехоты, а за ним и Вюртембергская конница, стремительно кидаются вперед, к неприятельской линии. Думали было, — атака. Нет, остановились, обернулись к французам и грянули в них, из их же орудий. «Подлые изменники!» — возмущается генерал Марбо, участник боя.[892] Чем же «подлые»? Не захотели

быть, по Наполеону-Робеспьеру, «всемирными»; захотели остаться немцами. Свои — к своим: маленький ртутный шарик слился с большим, — это не подлость, а физика. Плоть и кровь народов восстали на призрак всемирности, и призрак исчез.

Страшная пустота зазияла в центре французской армии, точно вырвали из нее сердце. Но только теснее сомкнулись ряды, и бой продолжался до ночи.

К ночи обе армии стояли на тех же позициях, как поутру. «Мы не потеряли ни пяди земли», — вспоминает Марбо.[893] Но французы почти окружены; у них сорок тысяч убитых и раненых; из двухсот двадцати тысяч снарядов осталось только шестнадцать тысяч, — на два часа. Император велит отступать.

Единственный путь к отступлению — мост на реке Эльстер, в Линденауском предместье Лейпцига. Мост минирован, чтобы после перехода быть взорванным. Переход начался 19-го и продолжался всю ночь на 20-е. Утром Блюхер с пруссаками, ворвавшись в Лейпциг, ударил в тыл отступающим. Те все еще держались, обороняя мост.

Вдруг раздался оглушительный взрыв: мост взлетел на воздух. Унтер-офицер, приставленный к мине, увидев наезжавших казаков, подумал, что атакуют мост, и приложил к мине фитиль. Половина армии осталась на том берегу. Началась бойня: русские, немцы, шведы, австрийцы избивали французов весь день до ночи.[894]

Что же император? «Спал спокойно в кресле два часа и только от взрыва моста проснулся», — вспоминает секретарь его, Фейн.[895] Проснулся и понял, что погибла армия, погибла империя. Березина — Эльстер: там начало, здесь конец. Так вот зачем бежал оттуда; вот как спас Францию!

«Разве этот сукин сын знает, что делает? — говорил маршалу Макдональду маршал Ожеро. — Разве вы не видите, что он потерял голову? Подлец! Хотел нас всех покинуть, всеми нами пожертвовать!»[896] Это значит: переправившись с Гвардией, нарочно велел взорвать мост, чтобы обеспечить себе отступление.

«Не пора ли с этим кончить и не дать погубить Францию, как погубил армию?» — говорил маршал Ней.[897]

«Он так был изношен, так устал, что часто, когда приходили к нему за приказами, он, откинувшись на спинку кресла и положив ноги на стол, только посвистывал», — вспоминает Стендаль.[898]

«Кажется, несмотря на все мои несчастья, я все еще самый могущественный монарх в Европе, и дела мои могут поправиться», — говорит Наполеон, семь дней после разгрома под Лейпцигом, в полном отступлении на Рейн.[899] Кто так говорит, в

такую минуту, тот еще не «устал»; у того все еще «душа как мрамор: молния не разбила ее, а только скользнула по ней».

Могут ли дела его «поправиться»? Могут, если захочет. Но хочет ли? Стоит ли хотеть?

Чтобы спасти отступающую армию, генералы предлагали ему зажечь все Лейпцигские предместья, кроме Линденауского, где отступление через мост продолжалось бы под защитой огня. Спас бы армию, Францию, себя. Но не захотел, пожалел города, и «это излишнее великодушие стоило ему короны», говорит тот самый Марбо, который так строго судит его за сравнительно ничтожное Байоннское «злодейство».[900] «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей». Но вот не «наплевал».

Бородино — Лейпциг: может быть, и здесь, как там, вдруг понял, что игра не стоит свеч. «Лет до тридцати победа еще может ослеплять и украшать славою все ужасы войны, но потом…» — «Никогда еще война не казалась мне такою мерзостью!»

Понял это и заскучал, заснул от скуки; захотел конца, как солнце, в знойной крови заката, хочет знойной ночи.

Участь спасшейся армии была немногим лучше погибшей. Нищая, голодная, оборванная, павшая духом, она отступала — бежала на Рейн. Тиф косил ее так, что не только все госпитали и дома, но и дороги, и улицы были завалены трупами. Лучшие солдаты, герои великих войн, дошли до «состояния скотского»; [901] брели с одною мыслью — умереть во Франции.

Точно привидение Великой Армии вышло из своего ледяного русского гроба.

II. ОТРЕЧЕНИЕ. 1814

Пруссия, Австрия, Швеция, Россия, Испания — вся Европа готова кинуться на Францию, как на затравленного зверя — свора псов. Но, прежде чем вступить в львиное логово, заговаривает зубы Льву.

Главный повар Союзной кухни, Меттерних, сочиняет Франкфуртские нотификации; бешеному исполину дипломатические швеи шьют смирительную рубашку: Союзники снова предлагают Франции вернуться к «естественным границам». Но это такая же пустая комедия, как Пражский конгресс. Не успел Наполеон ответить, как появляется воззвание: «Союзные державы воюют не с Францией, а с тем перевесом, которым, к несчастью для Европы и для Франции, император Наполеон слишком долго пользовался, вне границ своей империи». И, предлагая мир, объявляет войну: «Державы не сложат оружия, пока не оградят

своих народов от бесчисленных, уже двадцать лет, над Европой тяготеющих бедствий».[902]

Это и значит, по слову «канальи Понтекорво»: «Бонапарт — негодяй; его надо убить; пока он жив, он будет бичом мира».

Шварценберг вторгается во Францию через Эльзас, Бернадотт — через Бельгию, Веллингтон — через Пиренеи; Блюхер идет на Париж, и за ним Александр. В действующей армии Союзников — триста пятьдесят тысяч штыков, шестьсот пятьдесят — в резерве, и вся эта миллионная лавина рушится на почти беззащитную Францию.

Мира жаждет она, после четверти века революционных и императорских войн, как умирающий от жажды жаждет воды. Старые люди спят в песках пирамид, средние — в снегах России, молодые — в болотах Лейпцига; остались только дети. Дети да женщины пашут на полях. «Если нет лошадей для плугов, можно пахать и заступом», — утешает министр внутренних дел.[903] Пашут дети, и тут же полягут, вместо колосьев, кровавою жатвою.

Франция жаждет мира и знает, что Наполеон — война, и уже не победа, а разгром. Нет, все еще победа. «Вера в гений его безгранична; весь народ за него», — говорится в донесениях полиции.[904]

«Вы меня избрали, я — дело ваших рук: вы должны меня защитить», — говорит император легионам Национальной Гвардии 23 января, перед самым началом Французской кампании.[905]

«Первая, Итальянская кампания, и последняя, Французская, — две самые блестящие», — признается враг Наполеона, Шатобриан.[906]

«Стотысячным» прозвали его Союзники. Это значит: армия, с ним во главе, сильнее на сто тысяч человек. «Быстрота и сила наших ударов вырвали у них это слово, — вспоминает император. — Никогда еще горсть храбрых не делала таких чудес. Многим остались они неизвестными, из-за наших поражений; но неприятель считал их на своем теле и оценил по достоинству. Мы были тогда, в самом деле, Бриареями, сторукими гигантами».[907]

Кто эти «мы»? Генералы, маршалы? Нет. «Генералы мои становились вялыми, неуклюжими и потому несчастными. Это были уже не те люди, как в начале Революции… Надо правду сказать: они не хотели больше воевать. Я слишком пресытил их почестями и богатствами. Вкусив от чаши наслаждений, они желали только покоя и готовы были купить его всякой ценой. Священный огонь потухал: им хотелось быть маршалами Людовика XVI».[908] «Нижние чины да армейские поручики еще дрались за победу, а главные штабы — только за мир», — говорит

историк кампании.[909]

Это, впрочем, понятно: скольким из них, как Мармону, не удалось провести в Париже, за десять лет, больше трех месяцев. Война кажется им бесконечною. Где они остановятся — на Рейне, Немане, Ефрате, Инде, или нигде, никогда, как Вечные Жиды и Каины?

«Куда мы идем? Что с нами будет? Если он падет, падем ли и мы с ним?» — слышит император сквозь двери штабов трусливые шепоты.[910] «Франции — мир, Наполеону — война» — этим уверениям Союзников маршалы верят.

Так в Армии — так и в Париже. Там кое-кто уже предлагает низложить его, объявив сумасшедшим.[911] Талейран готовит ему участь Павла I, а бывший министр полиции, Фуше, на юге Франции, шепчет на ухо сестре его, принцессе Элизе Тосканской: «Ваше высочество, нам остается только одно спасенье — убить императора!»[912]

Нет, его сподвижники — не генералы и маршалы, а последние уцелевшие ветераны Старой Гвардии «да молоденькие рекруты, безусые мальчики, похожие на девочек», Марии-Луизы, как их тогда называли. Этих сразу можно узнать по невинному виду, крестьянскому платью под солдатской шинелью и «невозмутимо-спокойной, как бы врожденной, доблести».[913] «Храбрость из них так и брызжет!» — восхищается ими сам император.[914] «О, сколько геройства в крови у французов! — вспоминает маршал Мармон дух новобранцев. — Один из них, стоя под огнем и очень спокойно слушая свист пуль, сам не стрелял. „Отчего же ты не стреляешь?“ — спросил я его. „Да я бы, пожалуй, стрелял не хуже другого, если бы кто-нибудь заряжал мне ружье“, — ответил он простодушно. Бедный мальчик ружья зарядить не умел. А другой, похитрее, сказал офицеру: „Ваше благородие, вы отлично стреляете; извольте взять у меня ружье, а я вам буду подавать патроны!“ Офицер так и сделал, и мальчик простоял весь бой, под страшным огнем, не моргнув глазом».[915]

«Можно ли было назвать солдатами этих бесчисленных однодневных мошек войны, появившихся в строю сегодня, чтобы завтра пасть?»[916] Падают —

Как ландыш под серпом убийственным жнеца.

«Молодая Гвардия тает, как снег на солнце», — говорит император. «Иродово избиение младенцев!»[917] — ворчит старый, суровый генерал Дуо, глядя, как валятся они рядами под прусскими ядрами.

Но, только что научатся держать ружье, будут драться не

хуже старых усачей-гренадеров, уцелевших от Березины и Лейпцига.

Вот эти-то святые дети Франции — ее святая душа — с императором. «Я уже становлюсь жертвою», — могла бы сказать вся она, всходя, как Жанна д'Арк, на костер.

Люди поносят его, называют «Антихристом», а дети поют ему осанну: «Из уст младенцев устроил хвалу». И по тому, как верят в него, любят его, видно, что есть и в нем детское, доброе, а может быть, и святое. Жертвою будет и он. Хочет ли этого? Понял ли, вспомнил ли, чего хотел, о чем томился всю жизнь? Нет, не понял, а, может быть, никогда не поймет.

Но вдруг захотел победы; потому что если есть святая война, то только эта — защита родины; помолодел с молодою армией. «Пусть враги мои знают, что я все тот же, как под Ваграмом и Аустерлицем!»[918] И под Маренго, Арколем, Фаворитом. «Я снова надел ботфорты Итальянской кампании!»[919]

Первые марши Союзников по беззащитной Франции — почти триумфальное шествие. Легкий триумф: триста тысяч человек на тридцать тысяч — десять на одного.

Первый бой, — Ла-Ротьер — победа врага. Наполеон, не успев сосредоточить войск, отступил перед множеством.

«С этого дня он нам не страшен, и ваше величество может сказать: „Я дарю мир всему миру!“» — поздравляет Александра русский генерал Сакен.[920]

Наполеон побежден во Франции — лев затравлен в логове. «Кампания кончена», — говорят Союзники; «Еще не началась», — говорит Наполеон.

10 февраля — Шампобэр, 11-го — Монмирайль, 12-го — Шато-Тьерри, 13-го — Вошан, 18-го — Монтере: победа за победой, молния за молнией, как в Итальянской кампании. Неприятель отступает в беспорядке за Вогезы. «Союзники не знают, что я ближе сейчас к Мюнхену и Вене, чем они к Парижу».[921] Нет, знают. Предлагают на Шатильонском конгрессе мир; та же пустая комедия, как в Праге и Франкфурте, чтобы доказать, что с Наполеоном мир невозможен: заговаривают зубы льву, чтобы выиграть время и подтянуть резервы; та же смирительная рубашка, только Шатильонская еще уже Франкфуртской: вместо «естественных границ» дореволюционные. «Как? после таких усилий, такой крови и таких побед оставить Францию меньше, чем я ее принял? Никогда! Могу ли я это сделать без измены и подлости?» — отвечает Наполеон и продолжает гнаться за Блюхером; вот-вот настигнет, разгромит и кончит войну одним ударом.[922]

Блюхер бежит, но не назад, а вперед; с отчаянной дерзостью

переходит через Марну, взрывает за собой мост, идет прямо на беззащитный Париж. И французские маршалы помогают ему. Стоит Наполеону отвернуться, чтобы они терпели поражения. 27 февраля, на Бар-сюр-Об, отступает маршал Удино. «Измена!» — кричат солдаты, видя, что в бой ведут их без артиллерии.

Наполеон, чтобы раздавить Блюхера, теснит его к Суассону, важнейшему стратегическому пункту на большой дороге Моне — Париж. И раздавил бы, если бы Суассон продержался еще только полтора суток. Но комендант крепости, бригадный генерал Моро, «почетно» капитулирует. «Расстрелять в двадцать четыре часа!» — кричит император и чуть не плачет от бешенства. Но, если бы и расстреляли, что пользы? Блюхер спасен: входит в крепость и запирается.

7 марта — Краонн, 11-го-Лаон, 21-го— Арсис-сюр-Об: тщетные победы-поражения, громовые удары в пустоту. Пяди не уступают французы, но их все меньше: косит смерть кровавую жатву детей; «молодая гвардия» тает, как снег на солнце, а врагов все больше: идут да идут несметные полчища; миллионная лавина рушится.

«Воронье заклевало орла», в этих трех словах — вся кампания.[923] Раненный насмерть, он отбивается так, что от каждого удара когтей только вороньи перья летят; но он один, а воронья туча: одолеет, заклюет.

25 марта, под Фэр-Шампенуазом, маршалы Мортье и Мармон разбиты наголову. Пала последняя преграда на пути Союзников, и Блюхер, Александр, Шварценбер, соединившись, идут на Париж.

Наполеон узнает об этом, 27-го, в Сэн-Дизье. Здесь начал кампанию, здесь и кончает: роковой круг замкнут. Ночь император проводит один, запершись, в глубоком раздумье, над военными картами. «Что делать — обороняться или сдать Париж?» Эти две мысли боролись в нем уже с самого начала кампании. «Если неприятель подойдет к Парижу, империя кончена». — «Пока я жив, Париж не будет сдан». — «Надо похоронить себя под развалинами Парижа».[924] Почему же сделал распоряжение о выезде императрицы-регентши с наследником? Почему отозвал прикрывавшие Париж корпуса Мортье и Мармона? «Он всегда предвидел возможность сдачи Парижа и постепенно освоился с этой мыслью», — вспоминает близкий свидетель, секретарь императора, Фейн.[925]

Но вот в последнюю минуту опять усомнился. Знает, что сдать Париж — значит ответить на русский 12-й год — французским, на самосожжение Москвы — самосожжением Парижа; уйти в глубь Франции, чтобы всю ее поднять на врага, в войне-революции; если его, Наполеона, победила восставшая

Испания, Франции ли не победить Блюхера? Нужно только не шутя вернуться к 93-му году, скинув с себя императорский пурпур, убить Наполеона, воскресить Бонапарта, «Робеспьера на коне», сказать: «Я — Революция», так, чтобы весь мир потрясся в своих основаниях.

Может ли он это сделать? Может. Хочет ли? Стоит ли хотеть? Лейпцигских предместий пожалел, не сжег; сожжет ли Францию — мир? Или скажет о Революции, как сказал о войне: «Никогда еще не казалась она мне такою мерзостью»?

Вечером, на следующий день, 28-го, получил шифрованную депешу от главного директора почт, Лавалетта: «Если император хочет помешать сдаче Парижа, то присутствие его здесь необходимо; нельзя терять ни минуты».[926]

29-го Наполеон с армией идет на Париж. Но ее движение слишком медленно, 30-го, сдав команду начальнику штаба, Бертье, с приказом вести войска на Фонтенбло, скачет один, без конвоя, на почтовых, сломя голову, как некогда скакал с Березины.

По дороге страшные вести следуют одна за другою: неприятель подходит к Парижу; императрица с наследником выехала на Луару; бой идет под Парижем.

Ночью император остановился, чтобы переменить лошадей, на почтовой станции Кур-де-Франс, под самым Парижем. В темноте, по дороге, слышится топот копыт. «Стой!» — кричит император. Генерал Беллиар, командир конного отряда, узнав знакомый голос, соскакивает с лошади. Наполеон уводит его одного по дороге, осыпает вопросами и узнает, что бой под Парижем проигран; главнокомандующий, король Иосиф, бежал, и войска, по условию, должны эвакуировать город.

— В Париж! В Париж! Велите подавать карету!

— Поздно, ваше величество, капитуляция, должно быть, уже подписана…[927]

Но император ничего не слушает: хочет ехать в Париж, ударить в набат, осветить город огнями, вооружить всех поголовно, драться на улицах, сжечь, если нужно, Париж, как русские сожгли Москву.

Не дожидаясь кареты, быстро шагает по дороге в Париж, как будто хочет войти в него один, безоружный.

Белые звезды мигают на небе, красные огни — на земле. Что это? Прусский бивуак на левом берегу Сены, у самых стен города.

Император останавливается и тихим шагом, понурив голову, идет назад. Поздно или не поздно? Может быть, капитуляция еще не подписана?

Вернувшись на станцию, посылает Коленкура в Париж, с

полномочиями вести переговоры о мире.

Ночь проводит, как в Сэн-Дизье, над военными картами. Чуть свет, — курьер: капитуляция подписана, и в это самое утро Союзники вступают в Париж.

Не оборонил его и не сдал, — сам сдался Року.

Тою же дорогою едет обратно в Фонтенбло и останавливается в нижнем этаже замка, в маленьких покоях вдоль галереи Франциска I.

Ждет концентрации войск, чтобы дать бой под Парижем. У него шестьдесят тысяч штыков — сто шестьдесят с ним, «Стотысячным». Может быть, он все еще и здесь, как под Лейпцигом, «самый могущественный монарх в Европе, и дела его могут поправиться».

1 апреля узнает о триумфальном входе Союзников в Париж. 3-го Коленкур привозит ему отказ Александра на предложение мира.

В тот же день, после смотра двух дивизий Молодой и Старой Гвардии, на Фонтенблоском дворе Белого Коня, император говорит войскам:

— Неприятель, опередив нас на три марша, вошел в Париж. Я предложил императору Александру мир, ценою великих жертв — всех наших побед после Революции… Он отказался… Я дам еще бой под Парижем. Готовы ли вы?

— Виват император! На Париж! На Париж! Умрем на его развалинах! — ответили войска громовым криком.[928]

— Отречение, остается только отречение! — проговорил, в кучке маршалов, Ней в двух шагах от императора. Тот не слышал или сделал вид, что не слышит. Вернулся в свои покои. Маршалы — за ним; Ней — впереди. Сзади подталкивают его и ободряют шепотом: он должен говорить за всех.

— Ваше величество имеет вести из Парижа?

— Нет, какие?

— Прескверные: Сенат объявил вас низложенным и разрешил народ и войска от присяги.

— Это не имел право делать Сенат; это мог сделать только народ, — возражает император спокойно. — А Союзников я раздавлю под Парижем.

— Положение наше отчаянное, — продолжает Ней. — Жаль, что мир не заключен раньше, а теперь остается только отречение.

Входит маршал Макдональд и присоединяется к общему хору:

— Армия не хочет подвергать Париж участи Москвы… Мы решили с этим покончить. Довольно с нас этой несчастной войны; мы не желаем начинать войны гражданской… Что до меня, я

объявляю вашему величеству, что шпага моя никогда не обагрится французской кровью!

— Вы, господа, решили одно, а я — другое: я дам бой под Парижем…

— Армия не пойдет в Париж! — возвышает голос Ней.

— Армия послушается меня! — возвышает голос император.

— Ваше величество, армия слушается своих генералов![929]

Наполеон знал, что стоит ему сказать слово дежурному адъютанту, чтобы арестовать всех маршалов. Но сделать это, перед лицом врага, не так-то легко; и будут ли другие лучше этих? Он отпускает их все так же спокойно и, оставшись наедине с Коленкуром, пишет условное отречение, сохраняя права на престол за сыном и регентство — за императрицей. Коленкур, Макдональд и Ней отвозят отречение в Париж.

В это самое время старый, верный и доблестный маршал Мармон, сподвижник императора с Египетской кампании, изменяет ему, пишет Шварценбергу: «Желая содействовать сближению армии с народом, дабы предупредить всякую возможность гражданской войны и пролитие французской крови, я готов покинуть, с моими войсками, армию Наполеона на следующих условиях: первое: войска отступят свободно в Нормандию, с оружием, обозом и амуницией; второе: если, из-за этого движения, Наполеон попадает в плен Союзников, жизнь и свобода ему будут обеспечены на пространстве территории и в стране по выбору Союзных держав». Это значит: «Делайте с ним, что хотите; сажайте в яму, хороните заживо, только не убивайте». «Вот истинно французское великодушие!» — ответил Шварценберг, должно быть, не без усмешки и, конечно, на все согласился.[930]

6-й корпус Мармона стоял в Эссонах, между Фонтенбло и Парижем, прикрывая Наполеона от Союзников. Уводя его, Мармон выдавал им императора, безоружного.

Александр, увидев в этом предательстве действие «Божьего Промысла» в пользу Бурбонов, объявил, что не может принять условное отречение Наполеона в пользу сына и потребовал отреченья полного.

Наполеон, узнав об измене Мармона, долго не хотел ей верить; но, наконец, поверив, сказал: «Он будет несчастнее меня!»

«Я их прощаю; да простит их Франция», — скажет он в завещании, упоминая Мармона среди других своих изменников, в том числе и Талейрана. Надо надеяться, что в день судный Талейран-дьявол прожжет поцелуем уста Иуде-Мармону.

После ухода Эссонского корпуса бой под Парижем сделался невозможным, и Наполеон решил отступить за Луару. О, если бы

раньше! Все равно погибать — так не лучше ли было погибнуть вольно — вольно взойти на костер, вместе со святою Францией — Жанной д'Арк. А теперь невольная жертва — казнь: сам не пошел — поведут; сам не решил — решит Рок.

Вечером, 5-го, Коленкур, Макдональд и Ней вернулись из Парижа в Фонтенбло и сообщили императору, что Сенат провозгласил графа Прованского королем Людовиком XVIII; Александр не принял условного отречения и требует полного.

— Значит, война, — проговорил император спокойно. — Ну что же, война сейчас не хуже мира![931]

Раньше еще, предвидя ответ Александра, он отдал приказ об отступлении за Луару: завтра, чуть свет, гвардия двинется, головною колонною, в Мальзерб, и остальные войска последуют за нею в то же утро.

5-го, вечером, генералы, на тайном собрании, постановили не исполнять никаких приказов императора о движении войск, и, в два часа ночи, генерал Фриан, командир 1-й дивизии Старой Гвардии, передал это постановление всем корпусным командирам, а утром Коленкур, Макдональд и Ней сообщили о нем же начальнику главного штаба.

6-го Наполеон, в последний раз, собирает маршалов. Очень спокойно и подробно, с математической точностью, указывая на военные карты и исчисляя остающиеся боевые силы, он излагает свой план отступления. «Может быть, еще можно все спасти!»[932]

Маршалы молчат, а когда Наполеон требует ответа, отвечают, что у него остались лишь обломки армии, и, если бы даже удалось ему уйти за Луару, эти последние усилия кончатся только гражданской войной. И глиняные лица говорят, без слов: «Отрекись!»

— Вы хотите покоя, — имейте покой! — говорит император, садится к столу и пишет:

«Так как Союзные державы объявили Наполеона единственным препятствием для восстановления мира в Европе, то, верный присяге, он объявляет, что отрекается за себя и своих наследников от тронов Франции и Италии, ибо всякую личную жертву и самую жизнь он готов принести для блага Франции».[933]

«Жертва» — слово это сказано и записано на вечных скрижалях Судьбы. Лицо жертвы, — вот новое отныне лицо Наполеона-Человека.

Тотчас же замок пустеет, — все разбегаются. «Можно было подумать, что императора уже похоронили».[934]

В замке тихо, а в казармах шум. Там не хотят отречения и возмущаются изменой маршалов. Ночью Старая Гвардия, в боевом

порядке, с развернутыми знаменами, при свете факелов, под звуки Марсельезы и Наполеонова гимна, проходит по улицам города. Чудны и страшны лица солдат: видно по ним, что, если бы только император захотел, он все еще мог бы, с такими людьми, пройти и победить весь мир.

12 апреля приехал из Парижа маршал Макдональд, чтобы получить от Наполеона и отвезти Союзникам подписанные им, или, как говорят дипломаты, «ратифицированные» условия отречения. Император велел ему прийти за ними завтра, в девять утра.

Что произошло в ту ночь, никто хорошенько не знает. В окнах замка мелькали огни; люди бегали, кричали, звали на помощь. Слух прошел, что император хотел отравиться ядом из ладанки, которую носил на шее с Испанской кампании; но отравился неудачно: яд выдохся; все кончилось только сильнейшей рвотой.[935]

Сам он, на Св. Елене, опровергает этот слух с негодованием. К самоубийству чувствовал всегда презрение: «Только глупцы себя убивают».[936] — «Самоубийца — тот же дезертир: бежать из жизни, все равно что с поля сражения», — сказано в одном из его приказов по армии. Он знал — помнил, что бежать некуда.

Может быть, в эту страшную ночь, вспомнил, как еще никогда, что он вечен, со всеми своими муками — и с этою злейшею — стыдом. «Умереть в бою ничего не значит: но в такую минуту, в такой грязи, — нет, никогда, никогда!»[937] «Я стыжусь моего отречения, — скажет на Св. Елене. — Это была моя ошибка, слабость, выходка, вспышка, излишество темперамента. Я был охвачен отвращением и презрением ко всему, что меня окружало, и к самой судьбе; мне захотелось бросить ей вызов».[938] Вызов бросил, и Судьба его не возвратила. Он понял, что будет вечно гореть в геенне стыда.

Что такое «ратификация»? Взаимно подтвержденное согласие обеих сторон принять поставленные друг другу условия, в этом случае, со стороны Наполеона, согласие принять, вместо мирового владычества, о. Эльбу, смешное владение Санчо Пансы, да еще с годовым двухмиллионным жалованьем и сохранением императорского титула. «Я такой человек, которого можно убить, но нельзя оскорбить», — говаривал он и вот вдруг понял, что убить его нельзя, а оскорбить можно.[939] Плюнули ему в лицо, и он «ратифицирует» плевок.

В девять утра пришел к нему Макдональд. «Император сидел у камина, в простом белом, бумазейном халате, в туфлях на босу ногу, с открытой шеей, упершись локтями в колени и закрыв лицо руками, — вспоминает Макдональд. — Когда я вошел, он не

пошевелился, хотя обо мне доложили громким голосом, он казался погруженным в глубокую задумчивость», как бы в «летаргический сон», по выражению Бурьенна.[940] — «После нескольких минут молчания герцог Виченский (Коленкур) сказал: „Ваше величество, маршал герцог Тарентский ожидает ваших приказаний; ему нужно возвращаться в Париж“. Император как будто проснулся и взглянул на меня с удивлением; встал, подал мне руку, извинился, что не слышал, как я вошел. Только что он открыл лицо, я был поражен тем, как оно изменилось: цвет его был желтым, оливковым. „Ваше величество нездоровы?“ — проговорил я. „Да, я провел скверную ночь“, — ответил он и опять, сев, как давеча, погрузился в глубокую задумчивость. Мы смотрели на него молча. — „Ваше величество, герцог Тарентский ждет, — проговорил, наконец, герцог Виченский, после довольно долгого молчания. — Надо бы вручить ему ратификацию; срок ее истекает в двадцать четыре часа, а обмен должен произойти в Париже“. Тогда император, опять выйдя из своей задумчивости, встал; вид его был немного бодрее, но цвет и выражение лица не изменились. „Я чувствую себя немного лучше“, — сказал он».[941]

В тот же день он передал Макдональду ратификацию, и тот отвез ее в Париж.

То, что Наполеон все это перенес и остался жив, может быть, большая победа, чем Арколь и Маренго.

В десять утра, 20 апреля, день, назначенный Союзниками для отъезда императора на о. Эльбу, кареты поданы. Гренадеры Старой Гвардии стояли под ружьем, на дворе Белого Коня. Ровно в полдень, как бывало в счастливые дни Консульства и Империи, император, в простом егерском зеленом мундире, сером походном плаще и трехугольной шляпе, вышел на двор. Гренадеры взяли на караул, барабаны забили в поход.

— Солдаты моей Старой Гвардии, прощайте! — сказал император, войдя в ряды. — Двадцать лет вы были со мной, на путях чести и славы. И в эти последние дни, как в дни нашего счастья, вы не переставали быть образцами доблести и верности. С такими людьми, как вы, дело наше не было проиграно, но война была бы еще тяжелее. Я уезжаю. А вы, друзья, продолжайте служить Франции… Прощайте, мои старые товарищи! Я хотел бы вас всех прижать к моему сердцу… Дайте знамя!

Генерал Пти подал ему знамя. Он обнял и поцеловал сначала генерала, потом — знамя.

— Прощайте, дети! Пусть этот последний мой поцелуй дойдет до вашего сердца. Будьте всегда храбрыми и добрыми.

Гренадеры плакали.

27 апреля Наполеон был в Сэн-Рафаэле-Фрежюсе, где

высадился, почти пятнадцать лет назад, после Египетской кампании, перед 18 Брюмера. Здесь солнце его взошло и здесь же зайдет, но еще не совсем: самым пурпурным, царственным лучом блеснет перед вечным закатом.

III. ЭЛЬБА — СТО ДНЕЙ. 1814–1815

«Островом Покоя будет Эльба», — сказал Наполеон, высаживаясь, 4 мая, с английского фрегата, в Понте-Феррайо, главной гавани острова.[942]

«Я буду здесь жить, как мировой судья… Император умер; я — ничто, и ни о чем больше не думаю, кроме моего маленького острова; ничто не занимает меня, кроме моего семейства, моего домика, моих коров да мулов.[943] Кажется, в первые дни, а может быть, и недели, месяцы своего пребывания на Эльбе, он так именно и чувствовал. Может быть, вспоминал детские мечты свои в дощатой келийке Аяччского дома, и мечты Бриеннского школьника в зеленой „пустыньке“, где возвращался к „естественному состоянию“, по завету Руссо, и мечты Парижского школьника в темной комнате с занавешенными окнами, днем при свечах, и артиллерийского поручика в Оксонских казармах, о пловце, заброшенном бурей на необитаемый островок Горгону: „Я был царем моего острова; я мог бы здесь быть если не счастлив, то мудр и спокоен“.[944] Может быть, понял — вспомнил, что весь мир для него „необитаемый остров“ и мировое владычество немногим больше, чем это лилипутское царство, империя Санчо Пансы — Эльба.

— Ну что, ворчун, скучаешь? — спросил однажды старого гренадера своего „почетного“ караула на острове.

— Скучать не скучаем, ваше величество, но и веселого мало!

— Напрасно, мой друг, надо жить, как живется![945]

Это больше чем правило житейской мудрости; это смиренная покорность Высшим Силам, которые, он чувствует, ведут его всегда. „Ubicumque felix Napoleo“, „везде счастливый Наполеон“, — написано было на одной из колонн Эльбского загородного дома его, Сан-Мартино. В самом деле, он мог быть везде счастлив, если бы хотел счастья.

„Островом Покоя“ Эльба не сделалась. Тотчас принялся он за работу, с такой же всепожирающей жадностью, как везде и всегда. Маленький остров устраивает, как некогда — великую империю: прокладывает дороги; строит лазареты, школы, театры, казармы, преобразует таможни, акцизы, пошлины; роет рудники; акклиматизирует шелковичных червей; отдает на откупа рыбные ловли и соляные копи; поощряет новые запашки; насаждает

виноградники; украшает и оздоравливает Порто-Феррайо.

„Эльба сделалась похожей на Остров Блаженный“, — вспоминает один из жителей.[946] Как будто на этом клочке земли Наполеон хотел устроить то, что не удалось на всей земле, — „золотой век“, „земной рай“.

Это длилось полгода; может быть, продлилось бы и дольше, если бы люди оставили его в покое. Но, как некогда Бриеннские школьники врывались в его зеленую пустыньку, так теперь Союзные державы врываются на „Остров Блаженных“.

Эльба не Горгона: из газет и слухов он узнает, что делается на свете. Продолжается Фонтенблоская „ратификация“ — плевки в лицо. Жену его отдали распутному негодяю, шпиону, Нейппергу, и сына отняли. „Так в древности отнимали детей у побежденных и украшали ими триумф победителей“, — жалуется император.[947] Людовик XVIII находит, что двухмиллионный императорский паек чересчур велик, и задерживает его, быть может, не столько из скупости, сколько из желания унизить врага. Талейран и лорд Кестльридж сговариваются, на Венском конгрессе, о ссылке его на какой-нибудь остров Атлантического океана. „Участь Бонапарта решена: его сошлют на Св. Лючию… Тамошний климат скоро очистит мир от Корсиканского чудовища“, — поздравляют друг друга англичане.[948] „Наполеон на Эльбе — то же для Франции, для всей Европы, что Везувий для Неаполя“, — остерегает Фуше.[949] „Хороша ссылка, а лучше могила, — думают многие. — Большая ошибка, что Бонапарта оставили в живых: пока над его головой не будет шести футов земли, нельзя быть спокойным“.[950] Алжирские корсары предлагают захватить его в плен, а римские монахи — заколоть.

„Меня хотят убить, — пусть… Я солдат… я сам открою грудь ударам; но я не хочу быть сосланным“, — говорит он английскому уполномоченному, Кемпбеллю,[951] может быть, по прочтении присланной ему леди Голланд английской газеты, с известием, что его хотят сослать на Св. Елену.[952] „Св. Елена, маленький остров“, — этих слов, записанных в ученической тетради, и пустой за ними страницы — немой судьбы — он, конечно, не вспомнил тогда; но, может быть, сердце его содрогнулось от вещего ужаса.

Но он узнает, что Союзники ссорятся — вот-вот перегрызутся, и вспыхнет война, уже не из-за него; что Франция ненавидит Бурбона, „въехавшего в нее, на закорках русского казака, по трупам французов“, как изображалось на карикатурах; Франция ждет и зовет его, Наполеона, „как Мессию“.

Обо всем этом сообщает ему посланец маршала Бертье, бывший аудитор Государственного Совета, Флери-де-Шабулон,

переодетый матросом и тайно приехавший на рыбачьей фелуке в Порто-Феррайо.

Наполеон решает „разорвать саван“. 25 февраля 1815 года велит зафрахтовать два корабля, починить старый бриг „Непостоянный“, выкрасить его, как английское судно, вооружить и снабдить провиантом. В ночь на 26-е погружается на корабли, с маленькой армией: шестьюстами гренадеров и егерей Старой Гвардии, четырьмястами корсиканских егерей да сотней польских уланов. С этою горстью людей он должен завоевать Францию. 1 марта бросает якорь в Гольф-Жуане, между Антибами и Каннами.

„Французы, — говорит в воззвании к народу, — я услышал, в моем изгнанье, ваши жалобы и ваши желанья: вы требуете правительства единственно законного, по своему собственному выбору. Я переплыл через моря. Я иду, чтобы снова взять мои права и ваши“. „Солдаты! — говорит в воззвании к армии, — собирайтесь под знамена вашего начальника. Жизнь его — ваша; его права — права народа и ваши. Победа пойдет перед нами беглым маршем. Орел, с трехцветным знаменем, полетит с колокольни на колокольню, до башен Парижской Богоматери“. [953]

Как сказал, так и сделал. Искра, вспыхнувшая некогда, после Египетской кампании, во Фрежюсе, вспыхнула теперь в Гольф-Жуане и пробежала мгновенно по всей Франции. Солнце всходило тогда, а теперь заходит, пламенея сквозь тучи последним, самым пурпурным, царственным лучом. „Лучшее время всей моей жизни был поход из Канн в Париж“, — вспомнит император на Св. Елене.[954] Может быть, никогда еще не чувствовал он себя таким бессмертным, как в эти дни своего „второго пришествия“.

„Орел летит“ через Приморские Альпы, к северу. Маленькая армия идет по Восточному Провансу, еще почти крадучись: тамошние жители, большею частью, роялисты, равнодушны или глухо-враждебны к императору. Но уже с границ Дофинэ весь народ подымается на пути его, точно сама земля встает. К ней ближе он в эти дни, чем когда-либо, как заходящее солнце.

Люди из окрестных селений выбегают навстречу к нему и, когда, сравнив его живое лицо с изображением на пятифранковой монете, убеждаются, что это „никто, как он“, — приветствуют его немолчным: „Виват император!“[955]

7 марта, подходя к Греноблю, в Лафрейском ущелье, он встречает высланный против него батальон 5-го линейного полка, под командой Делессара. Обойти его нельзя: цепь крутых холмов, с одной стороны, а с другой — озера. Императорский авангард польских уланов подъезжает к батальону. Делессар, видя ужас на лицах солдат, понимает, что боя нельзя начинать, и хочет их

увести. Но уланы следуют за ними по пятам, так что лошади дышат им в спину. Тогда Делессар командует „в штыки“. Люди его машинально повинуются. Но уланы, получившие приказ не атаковать ни в каком случае, поворачивают лошадей назад и отступают. В то же время император, велев опустить ружейные дула в землю, один, во главе своих старых егерей, идет к батальону.

— Вот он! Пли! — командует, вне себя, капитан Рандон.

Люди бледнеют; ноги у них подкашиваются; в судорожно сжатых руках ружья дрожат. На расстоянии пистолетного выстрела Наполеон останавливается.

— Солдаты! — говорит он громким и твердым голосом. — Я ваш император. Узнаете меня?

Делает еще два-три шага и открывает на груди зеленый егерский мундир.

— Если есть между вами солдат, который хочет убить своего императора, — вот я!

— Виват император! — раздается неистовый крик. Люди выбегают к нему из рядов, падают к ногам его, обнимают их, целуют ботфорты его, шпагу, полы мундира: в эту минуту он для них, в самом деле, „воскресший Мессия“.[956]

И ворота Гренобля взломаны, крепостной гарнизон сдался; солдаты кидаются на императора „в таком исступлении, что кажется, растерзают его; окружают, подымают, несут на руках“, — так и донесут до Парижа».[957]

Ночью императорская армия входит в Гренобль, в сопровождении двухтысячной толпы крестьян с топорами, вилами, пиками, ружьями, факелами, под звуки Марсельезы и крики: «Виват император! Виват свобода! Долой Бурбонов!»[958]

«Здесь родилась Революция, — говорят, встречая Наполеона, жители местечка Визилль, под Греноблем, — мы первые потребовали Прав Человека; и здесь же воскресает свобода и честь Франции».[959]

«Это новый припадок Революции», — верно определяет маршал Ней.[960] «Всего вероятнее, что народ снова хочет Бонапарта», — пишет русский уполномоченный.[961] После Москвы, Березины, Лейпцига, Парижа, — после всей пролитой крови и перед всей, которая еще прольется, это, в самом деле, невероятно, чудесно, как чудо «второго пришествия».

«Ваше величество, вы всегда творите чудеса, потому что, когда мы узнали, что вы вернулись, мы подумали, что вы сошли с ума…» — начал адъюнкт Маконского мэра свою приветственную речь и не кончил, заглушенный неистовым: «Виват император!»[962] «С ума сошел» не только император, но и вся

Франция.

Двое крестьян, в городке Вильфранше Лионского департамента, покупают у хозяина гостиницы, где остановился Наполеон, кости съеденного им цыпленка, чтобы хранить их, как святыню.

В Лионе, под окнами его, трое-четверо суток стоит, не расходясь, двадцатитысячная толпа и кричит, не переставая: «Виват Революция!»[963]

Он и сам знает, что он — Революция, и снова вдохновляется духом 93-го года, чувствует себя «Робеспьером на коне», действует с решительностью, силой и быстротой Конвента: запрещает белую кокарду, уничтожает старое дворянство и феодальные титулы; объявляет короля низложенным. «Я нахожу, — говорит он, — что ненависть к дворянам и священникам теперь такая же сильная, как в начале Революции».[964]

Да, Революция воскресла, и с нею — он, Человек: для одних — «Зверь, выходящий из бездны», для других — «Мессия, вставший из гроба».

«Ваше величество, — говорит маршал Ней, тоже сын Революции, почтительно целуя руку старого Бурбона, — я надеюсь покончить с Бонапартом и привезти вам его в железной клетке!»[965]

Это выражение так нравится Нею, что он повторяет его всем, а когда кто-то замечает, что «лучше бы привезти Бонапарта в гробу, чем в клетке», — возражает: «Нет, вы не знаете Парижа: надо, чтобы парижане видели его в клетке!»[966]

Ней, с королевскими войсками, маневрирует между Суассоном и Маконом, чтобы захватить и истребить «всю разбойничью шайку» одним ударом. Вдруг получает письмо: «Брат мой, приезжайте ко мне в Шалон, я приму вас, как на следующий день после Бородина».[967] И храбрый из храбрых бледнеет, как те Гренобльские солдаты, услыхавшие команду: «Вот он! пли!» Точно мгновенно сходит с ума. «Вихрь закружил меня, и я потерял голову», — признается впоследствии. «Кинулся в пропасть, как бывало кидался под жерла пушек».[968] Изменил Бурбону — предался Бонапарту. Если бы, впрочем, и хотел драться, не мог бы. «Не могу же я остановить моря руками!» — жаловался, еще до измены.[969]

От Лиона к Парижу, все выше и выше «полет орла». Шествие за ним революционных толп и войск, «как огненный след метеора в ночи».[970]

В ночь на 20 марта король бежит из Тюльерийского дворца, а вечером, на следующий день, карета императора подъезжает к

Павильону Флоры и, в нескольких шагах от него, останавливается: такая давка, что нельзя подъехать к крыльцу. Люди окружают карету, открывают дверцу, берут императора на руки, несут его по двору, вносят в сени, взносят по лестнице — вот-вот задушат, раздавят, убьют. Но он уже ничего не видит и не слышит; плывет по темным человеческим волнам, как бледный цветок; предается им, протянув руки вперед, закинув голову, закрыв глаза, с неподвижной улыбкой на губах, как лунатик во сне или бог Дионис в толпе исступленных вакхантов. «Те, кто нес его, были как сумасшедшие, и тысячи других были счастливы, когда им удавалось поцеловать одежды его или только прикоснуться к ней… Мне казалось, что я присутствую при воскресении Христа», — вспоминает очевидец.[971]

Венский конгресс в ужасе. 13 марта подписана декларация восьми Союзных держав — Англии, Австрии, России, Швеции, Пруссии, Голландии, Испании, Португалии: «Наполеон Бонапарт, снова появившись во Франции, поставил себя вне законов гражданских и общественных и, как возмутитель мирового покоя, обрек себя всенародной казни».[972]

Образуется седьмая Коалиция. Уполномоченные Англии, Австрии, России, Пруссии заключают договор, имеющий целью «сохранение мира», а для мира каждая держава выставляет сто пятьдесят тысяч штыков, — все вместе — миллион, «пока Бонапарт не будет лишен возможности угрожать покою Европы».[973]

О мере ужаса можно судить по мере ярости. «Напрасно мы щадили французов, надо бы их всех истребить!» — вопят немецкие газетчики. «Надо бы весь французский народ объявить вне закона!» — «Перебить их всех, как бешеных собак!»[974]

Ужас Бонапарта — ужас Революции. Это понимает Александр лучше всех: «Отделить, отделить его от якобинцев!» — повторяет он и, в кровавом зареве новой войны, видит исполинское видение апокалипсического Всадника, «Робеспьера на коне». — «Наполеон — Аполлион, Губитель, ангел бездны, — шепчет он, гадая над Апокалипсисом. — Шестьсот шестьдесят шесть — число Зверя — число человеческое».

Ужас напрасный: новая вспышка Революции потухнет, как тот последний, красный луч заката, и все вдруг опять потускнеет, помертвеет; только что было червонным золотом, и вот опять — серый свинец. Сразу после 1793 года наступит 1811. «Робеспьер на коне» исчезнет — снова появится император Наполеон.

«Я прошел Францию, я был внесен в столицу на плечах граждан, при общем восторге, но только что я вступил в нее, как, словно по какому-то волшебству, все от меня отшатнулось,

охладело ко мне».[975]

Нет, он сам охладел ко всем; вдруг опять заскучал, не захотел ничего, как под Бородином; заснул «летаргическим сном», как под Лейпцигом: все видит, слышит и не может очнуться, пальцем пошевелить, когда его кладут в гроб и зарывают в землю.

Людовик XVIII дал Франции конституционную хартию. Бонапарту нельзя отставать от Бурбона. «Наполеон, умерь свою власть, — напевают ему в уши старые якобинцы Конвента и новые либералы Реставрации. — Франция хочет быть свободной… Завтра ты будешь иметь бунтовщиков вместо подданных, если не дашь свободы».[976]

Бенжамен Констант, новый Сийэс-Гомункул, отец мертворожденных конституций, сочиняет либеральную хартию — Дополнительный Акт к императорской конституции, Acte additionel.

Только в «летаргическом сне» можно было в такую минуту, перед миллионным нашествием, спешиться с коня, чтобы пересесть на парламентскую телегу, превратиться из революционного диктатора в конституционного монарха.

Он и сам это чувствует: «Меня толкают не на мою дорогу, ослабляют, сковывают. Франция ищет меня и не находит. „Где прежняя рука императора, которая могла бы усмирить Европу?“ — спрашивает Франция».[977] «Он становился либералом, наперекор себе; калечил себя и ослаблял; уже не был самим собою», — говорит старый честный якобинец.[978]

1 июня происходит праздник новой конституции. «Бенжамины», как ее окрестили, собрание избирательных коллегий, голосовавших за Дополнительный Акт, — торжественная и унылая церемония на Майском, бывшем Марсовом, поле. Кардиналы служат обедню, и император, взойдя на трон, посреди площади, присягает новой конституции, над Евангелием. Думали, что он появится в простом егерском или гренадерском мундире Старой Гвардии, как под Маренго или Аустерлицем; но на нем — древнеримская туника, пурпурная, усеянная золотыми пчелами мантия, белые атласные штаны и черная испанская шляпа с белыми перьями. «Что за маскарад!» — шепчут в толпе. Да, зловещий маскарад; тленом пахнет от него, как от могильного выходца.

7 июня — первое заседание новой палаты, в присутствии императора. Он произносит речь: «В течение трех месяцев обстоятельства и доверие народа облекали меня неограниченной властью. Ныне исполняется самое пламенное желание моего сердца: я начинаю конституционную монархию, люди бессильны упрочить судьбы народов; это могут сделать только учреждения».

[979]

«Люди бессильны», значит, он, Человек, бессилен. Вот второе отречение, хуже первого.

«Несмотря на всю его власть над собой, он не мог скрыть боли и гнева, которых стоило ему это признание; лицо его было мертвенно-бледно, черты искажены, голос пронзительно-резок».

Точно вдруг оглохший Бетховен, играя симфонию, фальшивит, сам это чувствует и не может поправиться.

Две первые союзные армии — англо-голландская, Веллингтона, и прусская, Блюхера, — шли на соединение, чтобы через бельгийскую границу вторгнуться во Францию. Это только передовая линия, а за нею — резервы: австрийцы, шведы, русские — та же миллионная лавина, как и в прошлом году.

Маршалу Даву, военному министру, удалось мобилизовать, в течение трех месяцев, сто тридцать тысяч человек. Меньшая часть их — обломки Великой Армии, большая — «Марии-Луизы». Это последние капли крови из жил Франции. Вся она, в эту минуту, как загнанная лошадь под бешеным всадником: вот-вот упадет и сломит ему спину.

Но, может быть, эти последние — лучшие. «Чтобы дать понятие об энтузиазме французской армии, — пишет герцогу Веллингтону английский шпион из Парижа, — стоит только провести параллель между 92-м годом и нынешним, да и то сейчас перевес в сторону Бонапарта». — «Чувство, которое испытывают войска, не патриотизм, не энтузиазм, а остервененье на врага за императора», — пишет в своем военном дневнике французский генерал Фой. И французский дезертир: «Это одержимые!»[980]

«Никогда еще не было в руках Наполеона такого страшного и хрупкого оружия», — говорит лучший историк 1815 года.[981] Оружие страшное и хрупкое вместе, потому что острие его слишком отточено, — вот-вот сломится. С такою армией так же легко победить, как быть пораженным; все зависит от духа ее, а дух — от вождя.

Кто же он — зверь, сорвавшийся с цепи, беглый каторжник, сумасшедший с бритвою, как думают Союзники, или все еще Вождь, ведущий в рай сквозь ад, как думает Франция? Это решит величайшая битва новых веков — Ватерлоо.

IV. ВАТЕРЛОО. 1815

«Я побеждаю под Ватерлоо», — говорит Наполеон на Св. Елене. Что Ватерлоо — поражение Наполеона, знают все; он один знает, что победа. «Я побеждаю под Ватерлоо и в ту же минуту

падаю в бездну».[982] Но прежде чем упасть, — взлетел, как еще никогда. Вся его жизнь — одна из высочайших вершин человеческой воли, а острие вершины — Ватерлоо.

«Наполеон, в своей последней кампании, проявил деятельность тридцатилетнего генерала», — утверждает лучший историк этой кампании.[983] В тридцать лет Наполеон — победитель Маренго — солнце в зените; и под Ватерлоо — то же солнце.

Если так, значит, проснулся от «летаргии» вовремя; был мертв и ожил.

Это одно из двух свидетельств, а вот другое, английского маршала Уольсли (Wolseley): Наполеон, во время всей кампании, «был под покровом летаргии».[984]

Кому же верить? Или противоречие мнимое?

«Чувства окончательного успеха у меня уже не было, — продолжает Наполеон вспоминать Ватерлоо. — То ли годы, которые обыкновенно благоприятствуют счастью, начали мне изменять; то ли, в моих собственных глазах, в моем воображении, чудесное в судьбе моей пошло на убыль; но я, несомненно, чувствовал, что мне чего-то недостает. Это было уже не прежнее счастье, которое шло неотступно за мной по пятам и осыпало меня своими дарами; это была строгая судьба, у которой я вырывал их как бы насильно и которая мстила мне за них тотчас; ибо у меня не было ни одного успеха, за которым бы не следовала тотчас неудача». — «И все эти удары, я должен сказать, больше убили меня, чем удивили: инстинкт мне подсказывал, что исход будет несчастным. Не то чтобы это влияло на мои решения и действия, но у меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает».[985]

Или, вернее, два чувства перемежались в нем, мерцали, как два света: чувство взлета и чувство падения. Как бы ни пробуждался он от «летаргии», — покров ее висел над ним; как бы ни воскресал, — мертвая точка чернела в сияющем теле воскресшего. Знал, побеждая, что будет поражен; но знал не наверное и должен был бороться до конца. Чтобы так бороться, нужна была сила наибольшая. Это и значит: Ватерлоо — одна из вершин человеческой воли в Истории.

План Наполеона заключался в том, чтобы разбить, одну за другою, обе неприятельские армии, занимавшие Бельгию, — англо-голландскую, Веллингтона, и прусскую, Блюхера, — прежде чем они соединятся. Для этого нужно было перенестись в самый центр их, в предполагаемую точку их концентрации на Брюссельском шоссе. На него-то и решил он «пасть, как молния».

15 июня, чуть свет, французские авангарды перешли через

бельгийскую границу, переправились через реку Замбр, у Шарльруа, отразив с легкостью тридцатидвухтысячный авангард прусского генерала Цитена, и тотчас двинулись к северу. Весь маневр удался чудесно, с такою же математическою точностью и пророческим ясновидением, как в лучезарные дни Аустерлица и Фридланда.

Прусская армия, двигаясь с востока, из Намюра, и английская, с севера, из Брюсселя, должны были соединиться на шоссе из Нивелля в Намюр. Здесь Наполеон решил поставить рогатку: правый фланг расположить к востоку, в местечке Сомбрефф, на Намюрском шоссе, левый — к западу, на Брюссельском, в Катр-Бра, где эти два шоссе пересекаются, а самому стать во Флерюсе, вершине треугольника, образуемого этими тремя точками, чтобы, на следующий день, пасть на ту из двух неприятельских армий, которая подойдет первая; если же обе уйдут, — занять Брюссель, без одного пушечного выстрела.

— Здравствуйте, Ней, очень рад вас видеть, — сказал император только что прибывшему на фронт Нею. — Вы будете командовать 1-ми 2-м корпусом… Ступайте, оттесните неприятеля на Брюссельской дороге и займите позицию на Катр-Бра.[986]

Что эта позиция — ось всей предстоящей операции, а может быть, и всей кампании, Наполеон хорошо понимал. «Прусская армия погибла, если вы будете действовать решительно. Участь Франции — в ваших руках», — скажет он Нею на следующий день. Этим поручением, знаком высшего доверия, он доказывал ему, что не помнит зла — ни Фонтенбло, ни «клетки».

Ней, получив приказ в три часа пополудни, мог быть в Катр-Бра к пяти и захватил бы тогда слабоохраняемую позицию с легкостью; но замешкался в пути, занялся пустяками; когда же, наконец, подошел к ней, после семи вечера, с небольшим авангардом, оставив позади главные силы, позиция была уже занята четырьмя тысячами Нассауской пехоты. Может быть, и тогда еще было бы не поздно, если бы храбрый из храбрых, первый раз в жизни, не испугался, вообразив, что перед ним вся английская армия, и не отложил дела на завтра, чтобы подтянуть резервы. В ту же ночь Веллингтон сконцентрировал на Катр-Бра всю свою армию, так что Ней уже ничего не мог сделать. И хуже всего было то, что император, не получая от него известий, думал, что все идет, как следует. Ось колеса сломалась, а Наполеон продолжал на нем катиться.

Трудно понять, что случилось с Неем в эти роковые часы, когда участь императора, участь Франции была в его руках. Точно «летаргией» Наполеона заразился и он; тот проснулся, а этот

заснул.

Роги рогатки не расперлись, как следует: левый — не дошел до Брюссельского шоссе, а правый — до Намюрского, где внезапно появился прусский авангард Блюхера. Все же главное дело было сделано: Веллингтон отделен от Блюхера.

Утром, 16-го, Наполеон узнал, что вся прусская армия идет на него. «Может быть, через три часа решится участь кампании, — говорит император. — Если Ней исполнит мой приказ, как следует, то не уйдет ни одна пушка из прусской армии».

Новый приказ летит к Нею: «Император атакует неприятеля на занятой им, между Бри и Сент-Аманом, позиции. Маневрируйте же немедленно так, чтобы окружить правый фланг неприятеля и ударить ему на ближайшем расстоянии, в тыл. Армия эта погибла, если вы будете действовать решительно. Участь Франции в ваших руках».[987]

В три часа пополудни бой начался в двух селениях, Сент-Амане и Линьи. Нея ждал император к шести; только что в прусском тылу грянут пушки, он кинет резервы на неприятельский центр, раздавит его, отрежет ему отступление на Слибефф и погонит штыками в спину на Неевы штыки: из шестидесяти тысяч пруссаков никто не уйдет.

Шесть часов, семь, — Неевы пушки не грянули. Вдруг, во французском тылу, у Флерюса, появилась неизвестная колонна в тридцать тысяч человек. Кто это? Англичане, пруссаки? Темное воспоминание — предчувствие сжало сердце императора: где и когда это было — будет? «Измена! Спасайся кто может!» — кричат солдаты, видя находящую колонну, и бегут. Чтобы остановить беглецов, надо повернуть на них же свои орудия.

Нет, было — будет не здесь, не сейчас. Неизвестная колонна — корпус генерала д'Эрлона, отделившийся от Нея и сделавший ложный маневр. Ней не пришел — не придет: ось колеса сломана — катиться не на чем; главный маневр боя не удался; прусская армия не будет уничтожена. Но можно ее победить и отрезать от английской. Император командует последнюю атаку, резервами.

Все батареи сразу открывают огонь по Линийским высотам. Гвардия строится в колонны по дивизиям. Сам император ведет в бой.

В ту же минуту разражается гроза. Пушки отвечают громам, выстрелы — молниям, как будто на земле и на небе — одно сражение. Вспомнил ли тогда Наполеон, как двадцать лет назад, при осаде Тулона, шел, под грозою, в атаку на Английский редут? Вся его жизнь, между этими двумя грозами, — Божья гроза.

К восьми часам прусский центр прорван, и началось отступление. Ветер гонит тучи к востоку, запад яснеет, и Блюхер

видит, с вершины холма, всю свою бегущую армию. Но «не считает себя побежденным, пока может драться».[988] Кидает в бой последние резервы и сам идет с ними в огонь, семидесятилетний старик, как пламенный юноша.

Бой длится до ночи. Лошадь под Блюхером ранена, падает, давит его. Адъютант, граф Ностиц, кидается к нему на помощь. В эту минуту эскадрон французских кирасир несется в атаку мимо них, почти над ними, и не узнает их в темноте; через минуту, отступая, несется назад и опять не узнает. Ностиц кличет прусских драгун. Блюхера освобождают из-под лошади, расшибленного, в полуобмороке, сажают на унтер-офицерскую лошадь и уводят далеко в тыл, в поток беглецов. Их множество: завтра остановят восемь тысяч между Льежем и Ахеном.

— Старому Блюхеру здорово поддали в зад коленом! На восемнадцать миль откатился, — говорит Веллингтон и, по обыкновению, смеется так, как будто гвоздем скребут по стеклу. — Видно, придется и нам отступать. В Англии скажут, что нас отдули, но я ничего не могу сделать.[989]

Поутру, 17-го, Наполеон узнает, что пруссаки отступают на Льеж и Намюр, Веллингтон все еще стоит на Катр-Бра, а Ней — в «летаргии».

— Я пойду на англичан, а вы гонитесь за пруссаками, — говорит император маршалу Груши и роковой тяжести слов своих не чувствует.

Чувствует ее Груши. Никогда еще, за всю свою долгую службу, не имел он на руках такого большого дела: вся прусская армия, пусть разбитая, но все еще грозная, как раненый и разъяренный зверь, будет на нем. Доблестный кавалерийский генерал, он тверд, умен, исполнителен; но «человек одного часа; одного маневра, одного усилия»;[990] местный тактик, а не общий стратег. Хуже всего, что он и сам это чувствует и чувством этим в деле будет скован, разбит, как параличом. Но маршалу Франции сказать: «Увольте, ваше величество, — боюсь!» — язык не повернется. Да уже и поздно: император дает ему подробную инструкцию с тридцатитрехтысячным корпусом следовать по пятам за Блюхером, стараясь разузнать, куда он идет и хочет ли и может ли соединиться с Веллингтоном.

О, если бы Наполеон знал, что делает! Но не знает, не видит; кто-то ведет его, как слепого, за руку.

Блюхер кончен, — остается Веллингтон. Около полудня, с легкой конницей, — все остальные войска следуют за нею, — император скачет по Намюрскому шоссе, на Катр-Бра. Но узнает по дороге, что Веллингтон оттуда ушел или сейчас уходит; там только лорд Ексбридж, с легкой кавалерией, для прикрытия

отступающей армии. Блюхер ушел вчера — сегодня уйдет Веллингтон. «Не было ни одного успеха, за которым бы не следовала тотчас неудача».[991] Если бы не мешал ему кто-то, не путался в ногах его Невидимый, то не зевал бы и Наполеон, как Ней, в «летаргии», выступил бы раньше, только часов на шесть, и настиг бы, раздавил Веллингтона — кончил бы этим последним ударом всю кампанию. Но, может быть, еще не поздно.

Кирасиры, егеря, уланы, конные батареи Гвардии скачут по шоссе, крупною рысью. Император, с дежурными эскадронами, впереди всех.

Лорд Ексбридж, при первом известии, что идут французы, выбегает на шоссе. Тут же Веллингтон, готовый в путь. Враг еще далеко, — только стальные блески бегают на солнце, как зайчики от зеркала. «Это штыки», — говорит Веллингтон, но, посмотрев в бинокль, узнает кирасир; поручает командование арьергардом Ексбриджу, садится на лошадь и скачет галопом за своей отступающей армией, по Брюссельскому шоссе, прямо на север, к Ватерлоо.

Два часа пополудни. Черные тучи, гонимые ветром, громоздятся на небе. Буря идет с северо-запада. Над Катр-Бра уже тень, а на шоссе, откуда идут французы, все еще солнце.

Ексбридж сидит на лошади, у легкой конной батареи, с обращенными в сторону французов жерлами пушек. Вдруг вдали, на гребне холма, появляется всадник, с небольшим отрядом. Сам он и конь его, освещенные сзади, кажутся черными, как из бронзы изваянными, на светлом небе.

«Пли! Пли! Да получше цель!» — кричит лорд Ексбридж, узнав императора. Пушки загрохотали.

Наполеон велит выдвинуть конную батарею Гвардии. Но Ексбридж поединка не продолжает: испугался, что французы слишком близко; велит снять орудия и поскорей уходить.

В ту же минуту разражается гроза. В блеске молний, в раскате громов, в хлещущем дожде и вихре английские гусары и канониры, все вместе, скачут галопом, «как сумасшедшие», «лисью травлю» напоминала эта погоня, вспоминает очевидец.

— Скорей, скорей, ради Бога скорей! — кричит лорд Ексбридж с таким ужасом, как будто гонится за ним Апокалипсический Всадник, в громах и молниях.[992]

Скачут по Брюссельской дороге, на север, к Мон-Сэн-Жану — Ватерлоо, куда еще поутру отступила вся английская армия. Только у Женаппа, за рекою Диль, переправившись первый и установив батареи на том берегу, Ексбридж начал отстреливаться. Скоро французы, сбив его, погнали дальше, но погоня уже замедлилась: ливень превратил шоссе в поток, а поле — в болото,

где кони угрузали по колено.

К вечеру добрались до фермы Бэль-Альянс, на плоском взлобье высокого холма, почти горы, того же имени. Против него — другой холм-гора, с таким же взлобьем, Мон-Сэн-Жан, очень сильная позиция, где укрепился Веллингтон. Вся эта местность, по небольшому селению в тылу англичан, называлась Ватерлоо. Между холмами — глубокий овраг. Необозримые, до края неба, чуть-чуть волнистые поля, со зреющими нивами, виднелись с вершины холмов; кое-где перелески да узкие колокольни церквей над селениями: старая, тихая Фландрия. Но все это сейчас окутано вечерним дождевым свинцом.

Английская конница скатилась в овраг и кое-как вскарабкалась по скользкой круче на Мон-Сэн-Жан.

Наполеон остановился, не зная, что перед ним, — вся ли английская армия или только арьергард. Велел сделать пробные выстрелы и по тому, как ответили английские батареи, понял, что на Мон-Сэн-Жане — вся неприятельская армия.

Час для боя был слишком поздний, да и главные силы французов еще позади.

— Я бы хотел остановить солнце, как Иисус Навин! — воскликнул Наполеон.[993]

Бой отложил на завтра, 18 июня; лагерь велел расположить у Бэль-Альянса, а сам остановился на ночлег на ферме Кайу (Caillou), в чистеньком домике, только что ограбленном и запакощенном брауншвейгцами. Развел большой огонь в камине, чтобы обсушиться: давеча, под ливнем, промок до костей, «точно вышел из ванны».

В девять вечера узнал из донесений разведчиков, что Блюхер идет не на Льеж, а на Вавр (Wavre) — значит, опять на соединение с Веллингтоном, но этим известием не встревожился: тридцать шесть часов после Линийской встрепки и с тридцатью тысячами французов за спиною, отважится ли Блюхер на фланговый марш от Вавра на Мон-Сэн-Жан? А если бы и отважился, разбитая, павшая духом армия сможет ли принять бой?

Ночь император почти не спал; проснулся в час, обошел аванпосты, один, только с генералом Бертраном, опять под проливным дождем. Очень боялся, что Веллингтон уйдет. Вслушивался, вглядывался в темноту, сквозь дождь, — нет ли бивуачных огней и движения в английском лагере. Нет, все тихо и темно; лагерь спит мертвым сном.

Чуть светало, когда Наполеон вернулся на ферму Кайу. Здесь ждало его письмо от Груши: Блюхер идет двумя колоннами — кажется, одной на Льеж, другой — на Вавр; если это

подтвердится, он, Груши, погонится за ним, чтобы отрезать от Веллингтона. Молодец Груши, не то что «летаргический» Ней! Император успокоился так, что даже новых инструкций ему не послал: все и так ясно, как дважды два четыре. Что дважды два бывает и пять, если захочет Рок, — не вспомнил. О, если бы знал, как накануне, и кряхтя от боли в старых костях, семидесятилетний юноша, фельдмаршал «Вперед», «Vorwärts», ворчал: «К лошади велю себя привязать, а боя не пропущу!» Каков Блюхер, сын, такова и Пруссия, мать: вся она — «Вперед»; дважды два для нее сейчас пять.

Утром, посланные на разведки, офицеры, бельгийские шпионы и дезертиры донесли Наполеону, что английская армия не сдвинулась за ночь. Будет бой и победа, как дважды два четыре. Бледное солнце сквозь облака — воскресшее солнце Аустерлица — «осветит гибель английской армии».[994]

Одно нехорошо: боя нельзя начать, когда император захочет и найдет нужным. Дождь перестал, но сделалась такая грязь, что нельзя двинуть орудий, пока не просохнет; а каждый час отсрочки — помощь Блюхеру.

Наполеон, в нетерпении, шагает взад и вперед по комнате; иногда подходит к окну и смотрит на небо.

В пять часов отдал приказ о начале боя в девять. Но и к девяти войска еще не на позициях: чистят оружие, варят суп.

— Английская армия превосходит нашу на четверть с лишком, а все-таки за нас 90 шансов, и 10 не будет против, — сказал Наполеон, завтракая на ферме с штабными генералами.

В комнату вошел Ней, уже не «летаргический»: проснулся еще накануне, в Катр-Бра, понял, какой беды наделал, и вид имел такой жалкий, что духу не хватило у императора разбранить его, как следует.

— Все шансы были бы за нас, ваше величество, если бы Веллингтон был таким дураком, чтобы нас дожидаться, — сказал он, входя и услышав слова императора. — Но он сейчас отступает и, если вы не поторопитесь атаковать его, уйдет…

— Плохо видели, — возразил Наполеон. — Поздно ему отступать, а если и отступит, — погиб: кости брошены, и они за нас!

Маршал Сульт накануне вечером советовал императору отозвать от Груши половину войск, потому что люди нужнее здесь, в великом бою с английскою армией, такою стойкою, такою грозною. Тот же совет повторил и сегодня.

— Веллингтон вас разбил, оттого он и кажется вам великим полководцем, — ответил император гневно. — А я вам говорю: Веллингтон — плохой генерал, и англичане — плохие солдаты, и

все это дело мы кончим, как завтрак!

Вошел генерал Рейль. Наполеон спросил, что он думает об англичанах.

— Храбрые солдаты, ваше величество! Стойкость и меткость прицела у них такие, что прямой атакой их не возьмешь, а разве только маневром.[995]

Рейль хорошо знал англичан по Испанской войне, а Наполеон знал их плохо; надо бы ему послушать Рейля, но не послушал: тот же, кто вчера закрыл ему глаза на Груши, сегодня закрыл уши на Рейля.

Небо прояснело, заблестело солнце, свежий ветер сушил дороги. Командиры артиллерии донесли, что можно скоро будет двинуть орудия.

Наполеон сел на лошадь и начал объезжать войска. «Никогда еще люди не кричали так: „Виват император!“ Это похоже было на сумасшествие, — вспоминает очевидец. — Что-то особенно торжественное и волнующее придавала этим крикам видневшаяся от нас, может быть, в тысяче шагов темно-красная линия английских войск».[996]

Поняли французы, как никогда, что здесь сейчас решится участь не только Франции, но и Человека — человечества.

К одиннадцати войска все еще не построились. Наполеон велел начинать атаку в час. Вопреки совету Рейля, решил не маневрировать, а сразу ударить на английский центр, чтобы прорвать его, откинуть за Мон-Сэн-Жан и действовать потом, смотря по обстоятельствам, уже имея победу в руках. Так же, как в тридцать лет, в полдень счастья, «ставил на карту все за все».[997]

В четверть двенадцатого скомандовал небольшую предварительную атаку на Гугумонский замок, на дне оврага, в лесу, передовую английскую позицию.

Грянула первая пушка; английские офицеры вынули часы и посмотрели: половина двенадцатого.

Гугумон — только начало боя, но уже такое кровавое, что видно по нем, каков будет бой. В то же время Наполеон готовит главную атаку: впереди и на правом фланге Бэль-Альянса ставит батарею из восьмидесяти орудий, чтобы громить английский центр. Около часа Ней посылает доложить императору, что все готово и он ждет приказа к атаке. Прежде чем дым батареи подымется завесой между холмами, Наполеон в последний раз оглядывает поле сражения. Километрах в десяти к северо-западу, на полпути от Вавра, он видит как бы темное, выходящее из Сэн-Ламберского леса, облако. Сразу понял, что это, но спросил мнения штабных. Мнения различны: одни говорят, что это лес

или тень от облака; другие — марширующая колонна, в мундирах французских или прусских. Сульт видит ясно многочисленный корпус.

Темным воспоминанием-предчувствием сжалось сердце императора: где, когда это было — будет? Здесь, сейчас — Блюхер? Нет еще, не Блюхер. Пленный прусский офицер сообщает, что к Сэн-Ламберу подходит авангард прусского генерала Бюлова. Наполеон надеется или хочет надеяться, что корпус — не армия. Пленный умолчал, что вся она идет за Бюловым.

«Бюлов готовится атаковать наш правый фланг, — пишет Наполеон Груши. — Не теряйте же ни минуты, идите на соединение с нами, чтобы настигнуть врасплох и раздавить Бюлова».[998]

— Утром за нас было 90 шансов, а теперь 60 — против 40, и если Груши исправит свою ужасную ошибку, перестанет зевать и подойдет скоро, то победа будет тем решительнее, что мы совершенно уничтожим корпус Бюлова, — говорит император Сульту.[999]

Тот молчит угрюмо, но мог бы напомнить ему свой мудрый совет отозвать от Груши половину войск.

Около двух Наполеон отдает Нею приказ об атаке: полдня пропущено, а каждый час, минута — помощь Блюхеру.

Четыре пехотных дивизии сбегают в овраг; большая часть их остается внизу, у все еще не занятого Гугумона и другого английского аванпоста, Гэ-Сэнта, но меньшая — карабкается по скользким кручам Мон-Сэн-Жана и уже венчает взлобье холма; только бы еще несколько шагов, чтобы, укрепившись на позиции, дать время коннице «ударить обухом», и будет победа.[1000] Но в ту же минуту контратака английской кавалерии сбрасывает их назад, в овраг.

Три часа. Бой затих, как будто отдыхает, собирается с силами.

Цель у Веллингтона одна: продержаться до прихода Блюхера. Но тот медлит, и в английском главном штабе боятся, что второй атаки не выдержать.

Приказ о ней Наполеон отдает в половине четвертого, и готовит ее таким орудийным огнем, «какого самые старые солдаты отродясь не слыхивали».[1001] Но и вторая атака не удалась: вал поднялся, набежал на утес и разбился в брызги. Прав был Рейль: «Англичан прямой атакой не возьмешь, а разве только маневром». Но маневрировать поздно.

Ней, с начала боя, мечтал о большой кавалерийской атаке, под своей личной командой, чтоб искупить Катр-Бра. Не

дожидаясь приказа императора и построив наспех, на дне оврага, эскадроны из пяти тысяч кирасир, уланов и егерей конной гвардии, он ведет их на Мон-Сэн-Жан. И этот вал разбился, пал назад, в овраг; но поднялся опять и так далеко захлестнул, как еще ни один: вот уже французские кирасиры скачут по взлобью холма, овладевают орудиями, прорывают неприятельские линии.

— Я боюсь, что все кончено, — говорит английский полковник артиллерии, Гульд, капитану кавалерии, Мерсеру.[1002]

— Победа! Победа! — кричат генералы вокруг императора. Но он удивлен и разгневан, что лучшая конница брошена в атаку без его приказа.

— Ней поспешил, это может скверно кончиться, — говорит он, оглядывает поле сражения и, помолчав, прибавляет: — Да, слишком рано, на час; но делать нечего, надо его поддержать. — И велит Келлермановой тяжелой коннице идти на помощь Нею.

Слишком рано или поздно, этого, может быть, он и сам не знает, потому что положение становится, с каждой минутой, все грознее: идут сразу два боя — фронтовый, с англичанами, и фланговый, с пруссаками. Бюлов уже подошел, занял местечко Плансенуа, на правом фланге французов, грозит зайти им в тыл и отрезать отступление. Молодая Гвардия едва сдерживает натиск.

А на Мон-Сэн-Жане все то же: вал за валом набегает и разбивается. Этому конца не будет, кажется французам; но англичане знают, что будет конец. «Центр нашей линии был открыт, — вспоминает очевидец. — Ни в какую минуту сражения исход его не казался более сомнительным».

Веллингтон начинает терять свою невозмутимость. «Надо, чтобы подошла ночь или пруссаки!» — бормочет он, стоя у старого вяза, на перекрестке двух дорог, Охайнской и Брюссельской, где простоял почти весь бой. Командиры всех частей подбегают к нему и, докладывая о своем отчаянном положении, спрашивают, что делать.

— Стоять, — отвечает Веллингтон. Подбегают другие, тоже спрашивают.

— Стоять, стоять до конца![1003]

Ней видит или чувствует, что английская линия дрогнула; может быть, горсти свежих войск хватило бы, чтобы нанести ей последний удар. Он посылает адъютанта к императору просить немного пехоты. «Пехоты! — отвечает тот. — Где ее взять! Родить мне вам ее, что ли?»[1004]

Так же ответил на Шевардинском редуте, когда оттолкнул победу, как пресыщенный любовник — любовницу; но под Маренго и Арколем не так. Мертвая точка вдруг зачернела в сияющем теле воскресшего.

У него еще восемь батальонов Старой Гвардии и шесть батальонов — Средней. Если бы, в ту же минуту, он отдал Нею половину их, то «это подкрепление прорвало бы наш центр», признается лучший английский историк Ватерлоо. Но Наполеону кажется, что, оставшись без кавалерийских резервов, он, со всею Гвардией, едва защитит свою собственную позицию. Эта минута для него не менее грозна, чем для Веллингтона. Молодая Гвардия уже отступила, под натиском Бюлова; прусские ядра взрывают землю у Бэль-Альянса; фланг французов обойден и угрожаем тыл.

Император велит построить одиннадцать батальонов Гвардии в такое же число каре, ставит их вдоль Брюссельской дороги, против Плансенуа, и посылает два батальона отнять у пруссаков это местечко. В двадцать минут атакуют — берут.

Четверть восьмого. Но солнце заходит ясно; два часа еще будет светло: в них все и решится.

Вдруг, издали, с северо-востока, откуда пришел Бюлов, доносится пушечный гул; растет, приближается, грохочет уже у Лималя, километрах в двенадцати. Он, наконец-то он, Груши! Молодец! Не зевал, поспел, догнал-таки Блюхера и сейчас дерется с ним; победит или нет, — все равно остановит, не даст ему соединиться с англичанами. Та же рука, что столько раз спасала Наполеона на самом краю бездны, спасет и теперь.

Что английская линия дрогнула, видят сейчас французы. Веллингтон кинул в бой последние резервы, — так, по крайней мере, кажется императору; а у него еще вся Гвардия — «Непобедимые». Он велит выступить девяти батальонам, давеча построенным в каре на Брюссельской дороге; сам становится во главе первого и ведет их, для последнего приступа, на дно оврага, в Гэ-Сэнт, в пекло адово.

Полчаса назад, когда Ней просил подкреплений, эта атака могла быть решающей. Но теперь поздно. Веллингтон успел укрепиться и ободриться: что-то уже знает, видит на Охайнской дороге, чего еще французы, с Бэль-Альянса, из-за холмов, не видят.

Но император, на дне оврага, тоже видит: корпус Блюхера! Прозевал-таки Груши, не поспел, не спас. Та же рука, что возносила Наполеона только что над бездною, теперь толкает в нее. Но лицо его так же спокойно, как под Арколем и Маренго: стоит людям взглянуть на него, чтобы увидеть победу.

Он рассылает адъютантов по всей боевой линии с радостною вестью: «Груши подошел, поспел — спас!»[1005] И люди, видя правду, верят лжи. «Виват император!» — кричат так неистово, что заглушают грохот пальбы. Раненые, умирающие, приподнимаясь, тоже кричат. Старый солдат Маренго, сидя на

откосе дороги с раздробленными ядром ногами, говорил идущим в бой твердым и громким голосом:

— Ничего, братцы, вперед, и виват император![1006]

Между Гугумоном и Гэ-Сэнтом, в пекле адовом, пять батальонов, одни против всей английской армии, идут нога в ногу, штык со штыком, спокойные, величавые, как на Тюльерийских парадах. Все генералы, с Неем и Фрианом впереди, — под огонь первые. Ней падает с пятой убитой под ним лошади; встает, идет пеший, со шпагой наголо.

Английские батареи бьют на расстоянии трехсот шагов, двойным картечным огнем, фронтовым и фланговым. Каждый залп делает брешь в батальонах. Люди только смыкают ряды, суживают каре и продолжают идти, крича: «Виват император!» Англичане крепко стоят, исполняя приказ Веллингтона: «Стоять до конца!»[1007]

— Чья дольше бьет, та и возьмет! — говорит старый английский солдат, кусая патрон.

Два французских батальона уже взошли на взлобье Мон-Сэн-Жана, не встречая противника. Вдруг, шагах в двадцати, встает перед ними темно-красная стена — английская гвардия. Люди полегли в высоких колосьях пшеницы и по команде: «Гвардия, бей! Up, guard, and at them!» вскочили, как на пружинах; целят — бьют. Первый залп косит триста человек — почти половину двух батальонов, уже поредевших давеча под картечным огнем. Остановились, смешались из-за убитых и раненых. Вместо того, чтобы скомандовать «в штыки», офицеры перестраивают ряды и минут десять люди стоят под двойным ружейным и картечным огнем; наконец отступают.

Веллингтон, видя, что Гвардия дрогнула, командует общую атаку. Англичане бегут, опустив головы, уставив штыки, на эту горсть французов, опрокидывают ее и скатываются с ней в рукопашной на дно оврага. «Люди так сплелись, что нельзя было по ним стрелять», — вспоминает очевидец.[1008]

«Отступает Гвардия!» — звучит по всей французской линии, как похоронный колокол Великой Армии.

В ту же минуту корпус Блюхера выходит с Охайнской дороги и начинает громить французов. «Измена! Спасайся кто может!» — кричат они и бегут. Как же не измена? Только что сам император сказал: «Груши», и вот Блюхер.

Веллингтон хочет добить эту раненную насмерть армию; выезжает верхом на фронт, к самому краю горы, снимает шляпу и машет ею по воздуху. Войска поняли знак. Сразу батальоны, батареи, эскадроны всех дивизий кидаются вперед, топчут раненых и убитых копытами коней, колесами пушек. С правого

фланга до левого англичане, ганноверцы, бельгийцы, брауншвейгцы, голландцы, пруссаки, под звуки барабанов, горнов и труб, в густеющих сумерках, низвергаются потоками в овраг.

Французы бегут на Бэль-Альянс. Английские гусары и драгуны гонят их и рубят саблями. «Не жалей! не жалей! no quarter! no quarter!» — кричат как исступленные.

Император видит все — как будто не видит. Сонно лицо его, неподвижно, как в летаргическом сне: спал, проснулся и опять заснул; был мертв, ожил и умер опять.

Спит душа, а тело бодрствует, движется. Строит три последних батальона в три каре на дне оврага, шагах в двухстах под Гэ-Сэнтом: правое на Брюссельской дороге, чтобы, под защитой этой плотины, армия могла собраться и отступить в порядке. Сам сидит на лошади посередине каре. В мертвой душе одна только мысль жива: «Умереть, умереть сейчас здесь, на поле сражения!»[1009] Рядом с ним, впереди, позади, — всюду падают люди, а он цел. Кто-то хранит его. Зачем?

Тут же, недалеко от дороги, Ней, пеший, без шляпы, неузнаваемый, с лицом, почерневшим от пороха, в мундире, разодранном в клочья, с одной эполетой, разрубленной ударом сабли, с обломком шпаги в руке, кричит в бешенстве графу д'Эрлону, увлекаемому в омут бегства:

— Если мы останемся живы, д'Эрлон, нас обоих повесят!

И останавливая бегущих, снова кидает их в бой.

— Люди, ступайте сюда, глядите, как умирает маршал Франции!

Все вокруг него перебиты, а он все еще цепляется за поле сражения, где хочет найти смерть.[1010]

Три батальона Гвардии продолжают стоять в каре, осыпаемые градом картечи спереди, сзади, с обеих сторон. Наконец, император отдает приказ отступать. Отступают медленно, шаг за шагом, уже не в каре — их слишком мало — а в треугольниках, скрестив штыки и пробиваясь сквозь стену врагов, отовсюду ими окруженные, как затравленный кабан — сворою гончих.

Соприкосновение с неприятелем так тесно, что, несмотря на грохот пальбы, слышны голоса с фронта на фронт.

— Сдавайся! Сдавайся! — кричат англичане.

Генерал Кабронн, взбешенный этими криками, отвечает непристойным ругательством:

— М…..!

И, раненный пулей в лоб, падает навзничь.[1011]

Слово Кабронна выражает смысл Ватерлоо. Наполеона победили Веллингтон и Блюхер. Что это значит?

«Кроме войны, у Веллингтона нет двух мыслей в голове».[1012]

У Блюхера немногим больше. Веллингтон знает, что нужно «стоять», а за что стоять — за Англию или английскую плутократию, — не знает. Блюхер знает, что надо идти «вперед», а куда идти и за что, — за Пруссию или прусские шпицрутены, — тоже не знает.

У Наполеона-Человека — величайшая мысль человечества — мир всего мира, братский союз народов, царство Божье; пусть он не знает, как исполнить эту мысль; пусть к раю идет сквозь ад и не выйдет из ада; все-таки мысль — величайшая, и победа над ним Веллингтона и Блюхера есть поражение человеческого смысла бессмыслицей. Ватерлоо решило судьбы мира, и если это решение окончательно, — значит, мир достоин не Наполеона-Человека, а человеческого навоза — «m……»

Ночью император ждал отступающих войск близ Катр-Бра, на лесной прогалине, у бивуачного огня, разведенного несколькими гренадерами Старой Гвардии. Он стоял, скрестив руки на груди, неподвижный, как изваяние, с глазами, устремленными на Ватерлоо. Кто-то из бежавших офицеров подошел к нему и сказал:

— Ваше величество, уезжайте отсюда поскорей, вы здесь ничем не прикрыты!

Император молчал, как будто не слышал. Офицер заглянул ему в лицо и увидел, что он плачет.[1013]

Мертвые не плачут: значит, жив — ожил опять — в который раз! От очень большого горя не плачут и живые: значит, горе небольшое.

Утром из Филиппвилля пишет брату Иосифу, в Париж: «Бой проигран, но еще не все потеряно: я могу, собрав все мои силы — войска запаса и национальную гвардию — выставить тотчас 300 000 штыков… Но надо, чтобы мне помогали и не сбивали меня с толку… Я надеюсь, что депутаты поймут свой долг и соединятся со мной, чтобы спасти Францию».[1014] Это и значит: Ватерлоо — небольшое горе. «Молния не разбила души его, а только скользнула по ней».

Вечером, 20 июня, на пути из Филиппвилля в Париж, Наполеон вышел из коляски на двор почтовой гостиницы в Лаоне. Сквозь открытые ворота видно было с улицы, как он ходит по двору, опустив голову и скрестив руки на груди. Кучи навоза из конюшен валялись на дворе. Кто-то из смотревших на императора с улицы проговорил шепотом:

— Иов на гноище![1015]

«Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» Этого не скажет Наполеон, потому что не знает, кому сказать. Но странная тихость и ясность в душе его. «Вы,

может быть, не поверите, но я не жалею моего величия; я мало чувствителен к тому, что потерял», — скажет на Св. Елене;[1016] то же мог бы сказать и теперь Иов на гноище.

Понял — вспомнил, что жизнь — только сон, повторяющийся в вечности; круговорот жизни — круговорот солнца: утренние сумерки, восход, полдень, вечер, закат, ночь.

НОЧЬ

I. ВТОРОЕ ОТРЕЧЕНИЕ. 1815

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» Эти слова могли бы служить эпиграфом к Наполеоновой ночи.

В последние годы, так же как всю жизнь, он о душе своей вовсе не думал; можно бы даже сказать — не помнил, есть ли у него душа. Но она сама себя помнила и спасала себя помимо него, вопреки ему.

Что душа человека — «сердце» его — иногда восстает на него, борется с ним, знали мудрые дети, древние египтяне. «Сердце мое, сердце матери моей, не восставай на меня, не свидетельствуй против меня», — говорит умерший, когда на страшном суде Озириса сердце его взвешивается на непреложных весах. Это значит: Сердце человека или Душа его есть существо, от него отдельное, как бы некий живущий в нем бог, и горе человеку, когда она восстает на него.

Горе это узнал Наполеон.

— На что же мы будем играть? Я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю, — говорит у Лермонтова игрок Лугин привидению старого ростовщика.

— У меня в банке вот это, — отвечает ему привидение.

«Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное… То было чудное, божественное видение: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая, она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке».[1017]

«Звезда» — верное слово нашел столь близкий по духу к Наполеону Лермонтов. Отделившаяся от человека душа его, некий бог, живущий в нем и над ним, неземная судьба его и есть «Звезда» — судьба Наполеона.

«Я хочу, чтобы меня любили пятьсот миллионов людей», — мечтал он, на высоте величия и могущества.[1018]

«Глупый человек! — могла бы ответить ему, самому умному из людей, еще более умная душа его. — Какая польза тебе, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь; если будет тебя любить весь род человеческий, а ты сам — никого?»

«Не думайте, — говаривал он, — что сердце у меня менее чувствительное, чем у других людей; я даже добр; но с самого раннего детства я подавлял в себе эту сторону души, и теперь она

во мне заглохла».[1019]

Заглохла, но не совсем: проснулась, восстала на него и начала его губить, чтобы спасти себя.

«Я приношу себя в жертву, je m'offre en sacrifice» — эти слова из второго отречения Наполеона такие чуждые, неимоверные в устах его — тоже эпиграф к «ночи» его, — как будто не он сам говорит, а неземная судьба его, Душа, Звезда. За нее-то он и ставит на карту все, что имеет, в игре со «старым ростовщиком» — Роком.

Через три дня после Ватерлоо, 21 июня, в восемь часов утра, император вернулся в Париж, в Елисейский дворец. Он казался изнеможенным; лицо его было желто, как воск, щеки осунулись, глаза потухли.

«Не могу больше… Мне нужно два часа покоя… Душно! — сказал он, хватаясь за грудь, встретившему его, при выходе из кареты, министру иностранных дел, Коленкуру. — О судьба, судьба! Три раза победа ускользнула из моих рук… Но и теперь еще не все потеряно… Я найду людей, найду ружья… Все может поправиться».[1020]

Взяв горячую ванну, он прямо из нее отправился в Совет министров.

«Положение наше очень тяжелое, — сказал он после краткого отчета о ходе военных событий. — Я вернулся, чтобы внушить народу великое и благородное самопожертвование… Пусть только Франция встанет, и враг будет раздавлен… Мне нужна большая власть, временная диктатура, чтобы спасти отечество. Я мог бы захватить ее сам, во имя общего блага; но было бы полезнее, национальнее, если бы я получил ее от Палаты».[1021]

Министры молчали угрюмо; когда же он начал их опрашивать по очереди, отвечали уклончиво.

— Говорите прямо. Депутаты хотят моего отречения? — спросил император.

— Я этого боюсь, ваше величество, — ответил член палаты, Реньо, ставленник Фуше, министра полиции.

— Если Палата не хочет помогать императору, он и без нее обойдется! — воскликнул брат Наполеона Люсьен.

— Я надеюсь, что присутствие неприятеля на французской территории вернет депутатам сознание долга, — сказал император. — Народ избрал меня не для того, чтобы меня низвергнуть, а чтобы поддерживать… Я их не боюсь… Стоит мне сказать слово, чтобы их всех перебили. Я ничего не боюсь для себя, но все для Франции. Если мы будем ссориться, все погибнет. А между тем патриотизм народа, ненависть его к чужеземцам, любовь ко мне могли бы нам дать огромную силу…

И тут же начал он излагать план новой кампании с таким блеском, что министры заслушались, забыли Ватерлоо: снова воскресал перед ними Наполеон, «бог войны, бог победы».

— Это черт, но не человек, — говорил, несколько часов спустя, Фуше своим новым друзьям — роялистам. — Он меня сегодня напугал: когда я слушал его, мне казалось, что он все начнет сызнова. К счастью, сызнова не начинают![1022]

В Елисейском дворце разговаривали, а в Палате действовали. Принято было постановление: «Палата объявляет заседание свое непрерывным, всякую попытку распустить ее — государственным преступлением и всякого, кто покусится на это, изменником отечества».

Наполеон понял, что это значит.

— Надо бы мне распустить их еще до отъезда на фронт, а теперь кончено: они погубят Францию! — сказал он в тот же день, во втором заседании Совета министров, и прибавил тихо, как будто про себя:

— Если нужно, я отрекусь…

Вечером вышел с братом Люсьеном в дворцовый сад, отделенный от улицы рвом, с низенькой, полуразвалившейся стенкой.

— Виват император! Оружия! Оружия! — кричала, не умолкая, толпа на улице.

— Слышите? — сказал Люсьен. — Вот народ. Одно только слово, и ваши враги падут. То же по всей Франции. И вы отдадите ее в жертву изменникам?

Наполеон приветствовал толпу движением руки и ответил Люсьену:

— Больше ли я, чем простой человек, чтобы вернуть обезумевшую Палату к единению, которое одно могло бы нас спасти, или я презренный вождь партии, чтобы зажечь гражданскую войну? Нет, никогда! 18 Брюмера мы обнажили меч для блага Франции; для того же блага мы должны его сейчас откинуть далеко от себя. Я готов на все для Франции, — я ничего не хочу для себя.[1023]

После ухода Люсьена подошел к Наполеону Бенжамен Констан, отец «Бенжамины», той самой мертворожденной конституции, которая теперь низлагала императора. Слушая вопли толпы, Констан ужасался: что, если Наполеон подымет, чтобы спастись, вторую Революцию, хуже первой?

Император долго молчал, глядя на толпу.

— Видите этих людей? — проговорил он наконец. — Не их осыпал я почестями и золотом; нищими нашел я их и оставляю нищими. Но у них верный инстинкт, голос народа. Если бы я

захотел — через час мятежной Палаты не существовало бы… Но человеческая жизнь такой цены не стоит. Я не хочу быть королем Жакерии. Я вернулся с Эльбы не для того, чтобы залить Париж кровью…[1024]

Что это значит? Значит, первая Революция, политическая, кончилась; начинается или могла бы начаться — вторая, социальная. Буржуазия сделала первую; вторую сделает «чернь», la canaille, как тогда говорили, «пролетариат», как мы теперь сказали бы. «Чернь одна — ничто и ничего не может, но со мной может все», — говаривал Наполеон.[1025]

Ров Елисейского сада, за которым вопила толпа, был рубежом этих двух Революций, двух веков — эонов. Переступит ли он за него или скажет и о революции, как говорил о войне: «никогда она не казалась мне такою мерзостью»?

Может быть, вспомнил он в эту минуту, как четверть века назад, 10 августа 1792 года, идучи на Карусельную площадь, «встретился с кучкой людей гнусного вида», несших на острие пики человеческую голову и заставивших его кричать: «Да здравствует народ!» Может быть, понял, что нынешняя «чернь» страшнее той; юная Волчица-Революция страшнее старой, им, Волчонком, загрызанной: если сунется к этой, как знать, кто кого загрызет?

На следующий день, 22-го, Люсьен, в заседании Совета министров, убеждал брата повторить 18 Брюмера, разогнать Палату штыками.

— Нет, мой милый Люсьен, — возразил император, — хотя 18 Брюмера правом нашим было только спасение народа, а теперь у нас все права, но пользоваться ими мы не должны…

И, помолчав, продолжал:

— Князь Люсьен, пишите…

Вдруг обернулся к Фуше с такой усмешкой, что тот весь зашевелился под ней, как стрелой пронзенная гадина.

— Черкните-ка, кстати, и вы этим добрым людям, чтоб успокоились: получат свое!

Люсьен сел за стол и взял перо; но, при первых словах, продиктованных братом, раздавил перо на бумаге, вскочил, оттолкнул стул и пошел к двери.

— Стойте! — произнес император так повелительно, что тот невольно послушался, вернулся и сел опять за стол. Наступила глубокая тишина; слышны были только далекие, из-за дворцового сада, крики толпы: «Виват император!»

— Начиная войну за независимость Франции, — диктовал Наполеон, — я рассчитывал, что все национальные власти соединятся со мной в одном усилии, в одной воле, и имел

основание надеяться на успех. Но обстоятельства, как вижу, изменились, и я приношу себя в жертву врагам отечества, — только бы они были искренни в своих уверениях и желали зла мне одному. Соединитесь же все, чтобы спасти Францию и остаться свободным народом!

Сына забыл; ему напомнили о нем, и он прибавил: «сына моего объявляю императором французов, под именем Наполеона II. Приглашаю Палату установить, по закону, регентство».[1026]

Весь Париж кипел, как котел на огне. Толпы рабочих ходили по улицам с революционными песнями. Весть об отречении подлила масла в огонь. Все грознее становились крики: «К оружию! к оружию!»

Были в толпе и офицеры Великой Армии.

— Батальонами пойдем на Палату, — грозили они, — потребуем нашего императора, а если не получим, подожжем Париж с четырех концов!

«Никогда еще народ не выказал большей любви к Наполеону», — вспоминает очевидец.[1027]

Что отречение, обезглавив оборону, повлечет за собой чужеземное нашествие, народ верно предчувствовал и хотел спасти Францию, как в 1793 году. «Чернь с Наполеоном может все» — это знал и Фуше. Он так перетрусил, что решил удалить его из Парижа.

24 июня Палата постановила: «Просить бывшего императора покинуть столицу». Он согласился уехать в замок Мальмезон, часах в двух от города, и 25-го выехал потихоньку, прячась от толпы, осаждавшей дворец, как будто бежал.

Во Франции он не мог оставаться. Первою мыслью его было искать убежища в Англии: довериться чести злейших врагов своих, — в этом находил он величие, достойное своей великой судьбы. Многих усилий стоило приближенным убедить его оставить эту мысль и бежать в Америку.

Зная, что на Рошфорском рейде стоят два готовых к отплытию фрегата, «Зааль» и «Медуза», он просил дать их ему для путешествия. Но Фуше, собираясь торговать с Союзниками головой императора, не торопился выпускать его из Франции. В Мальмезон был послан генерал Бекэр, с явным поручением охранять Наполеона, тайным — стеречь.

Тщетно ожидая фрегатов, император жил в Мальмезоне, едва ли не в первый раз в жизни, праздно. В этом покинутом замке, где провел он свои лучшие годы, сладкий обман воспоминаний нахлынул в душу его. Он вспомнил восходящее солнце Консульства, полдень, вечер и закат Империи; вспомнил Жозефину-покойницу.

Перед капитуляцией Парижа, 29 марта 1814 года, она бежала от русских казаков, куда глаза глядят, зашив бриллианты и жемчуга в ватную юбку; но потом осмелела, вернулась в Мальмезон и ждала здесь милостей от Бурбонов и Союзников. О Наполеоне как будто забыла. Русские, австрийцы, англичане, пруссаки — все завоеватели Франции — были желанными гостями в Мальмезоне; император Александр особенно. Вообразив, что он к ней неравнодушен, она кокетничала с ним, молодилась, наряжалась в белые кисейные платья, как семнадцатилетняя девочка, и не чуяла, что стоит одной ногой в гробу.

22 мая слегла, простудилась; сделался насморк с небольшою болью в горле. Не обратив внимания на это, она танцевала на балу с Александром и прусским королем, разгорячилась, вышла в легком бальном платье, ночью, в сад на сырость, простудилась еще больше и заболела гнилою жабою, 28-го началась агония, и 29-го, в полдень, не приходя в память, Жозефина скончалась.

Ничего не оставила в мире, кроме трехмиллионного долга за духи, румяна, помады, перчатки, корсеты, кружева, шляпки и тряпки. Незадолго до смерти, но еще совсем здоровая и даже как будто веселая, произнесла однажды странно для нее глубокие слова: «Мне иногда кажется, что я умерла, и у меня осталось только смутное чувство, что меня нет».[1028] Может быть, никогда и не было: пар вместо души, как у первой жены Адама, Лилит.

Наполеона известить о смерти ее никто не подумал. Он узнал о ней на о. Эльбе из случайно попавшейся ему на глаза старой газеты. «Казался очень огорченным и заперся в своей комнате».[1029]

Тотчас по возвращении в Париж он вызвал присутствовавшего при смерти Жозефины доктора Горо и начал его расспрашивать:

— Отчего она умерла?

— От грусти.

— О чем?

— Обо всем происходившем, о положении вашего величества.

— Добрая женщина! Добрая Жозефина! Она меня, в самом деле, любила![1030]

Правде смотреть в глаза он умел, как никто, и так же умел себя обманывать.

В сладкий обман воспоминаний погружен был и теперь, когда полупрозрачная летняя ночь сходила на старые вязы и буки Мальмезонских аллей, на тихие, звездные, под звездным небом, пруды, где спящие лебеди бледнели, как призраки, на цветники, где благоухала душа умирающих роз.

— Бедная Жозефина! — говорил он, бродя по саду. — Я не могу привыкнуть здесь жить без нее. Мне все кажется, что она выходит из аллеи и срывает одну из этих роз, которые она так любила… Это была прелестнейшая женщина, какую я знал![1031]

В это время Фуше, глава временного правительства, извивался, как беспозвоночно-гибкая гадина, между Союзниками, Бурбоном, Бонапартом и революционным Парижем. Он сообщил Веллингтону о намерении Наполеона ехать в Америку, испрашивая, будто бы, для него пропуска, а на самом деле давая возможность англичанам усилить крейсерную блокаду берегов, чтоб не выпускать его из Франции.

Трижды в три дня повторял император просьбу свою о фрегатах. Наконец пришел ответ: фрегаты будут готовы, но не выйдут из гавани до получения пропуска.

Наполеон понял, что это западня. «Я не поеду в Рошфор, пока не буду уверен, что смогу выехать оттуда немедленно», — ответил он Фуше.[1032] Из двух тюрем предпочитал Мальмезон: здесь был все-таки ближе к своему последнему убежищу — армии.

В пропуске Веллингтон, конечно, отказал. Комиссары Союзников объявили французским уполномоченным, что, «желая навсегда лишить Наполеона Бонапарта возможности нарушать покой Европы и Франции, державы требуют выдачи его под свою охрану».[1033]

Самые умеренные из Союзных дипломатов думали о пожизненном заточении императора в какой-либо крепости на континенте или ссылке на очень далекий остров. Лорд Ливерпуль предлагал «выдать Бонапарта французскому королю, чтоб он мог расправиться с ним, как с бунтовщиком». Блюхер, считая себя «орудием Божественного Промысла», хотел расстрелять или повесить его перед фронтом прусской армии, «дабы тем оказать услугу человечеству».[1034] А Фуше продолжал торговать головой императора, предлагая ее за перемирие то Англии, то Австрии, и вместе с тем выманивал его из Мальмезонской западни в Рошфорскую, более надежную.

28 июня прискакал в Мальмезон командир 3-го легиона национальной гвардии с известием, что к замку подходят пруссаки. В то же время генерал Бекэр получил от военного министра Даву спешный приказ сжечь мосты на Сене, чтобы отрезать неприятелю подступы к замку, так как Блюхер уже собирался выслать отряд, захватить императора в плен.

В замке сделалась тревога.

— Если я увижу, что император должен попасть в руки пруссаков, я его застрелю! — говорил один из его приближенных,

генерал Гурго.[1035]

В еще большей тревоге были Фуше и Даву. Блюхер подходил к Парижу, где восьмидесятитысячная армия рвалась в бой с таким героическим духом, что генералы не сомневались: пруссаки будут разбиты. Что, если Наполеон захочет стать во главе армии, или, хуже того, сама она пойдет за ним в Мальмезон? Этого Фуше испугался так, что решил, наконец, выпустить Наполеона из Франции.

29-го, рано поутру, генерал Бекэр сообщил императору постановление Временного правительства отдать в его распоряжение два Рошфорских фрегата, не дожидаясь английского пропуска.

Прусская конница подходила к Мальмезону. Надо было торопиться с отъездом: император согласился ехать в тот же день.

Во время беседы его с главным директором почт, Лаваллеттом, о движении неприятельских войск послышались с большой дороги за парком громкие крики. «Что это?» — спросил Наполеон, и, когда ему доложили, что французский линейный полк, проходя мимо замка для занятия Сен-Жерменских высот, приветствует его, — он, казалось, был тронут; подумал с минуту, нагнулся над военною картою, где диспозиции французских войск отмечены были наколотыми булавками, переставил их, поднял голову и проговорил:

— Франция не должна быть завоевана горстью пруссаков. Я могу еще остановить неприятеля и дать правительству время вступить в переговоры с державами.

Быстро вышел из комнаты и, через несколько минут, вернулся в полной генеральской форме егерского полка Старой Гвардии, в ботфортах со плюрами, при шпаге, с треугольной шляпой под мышкой. Весь помолодел: только что был скорбный узник, и вот опять император.

— Генерал, — обратился он к Бекэру, — положение Франции, воля патриотов, крики солдат требуют моего присутствия в армии. Я поручаю вам сообщить правительству, что прошу у него командования, в качестве не императора, а простого генерала, чье имя и слава могут еще оказать больше влияния на судьбы Франции. Честью солдата, гражданина и француза клянусь удалиться в Америку, только что отражу неприятеля![1036]

У генерала Бекэра была душа солдата; слова Наполеона пробудили в нем надежду. Он тотчас поскакал в Париж с искренним желанием успеха своему поручению.

— Да что он, — смеется над нами, что ли? — закричал Фуше в бешенстве, когда Бекэр сообщил ему о просьбе Наполеона. — Будто мы не знаем, как он исполнил бы свое обещание, если бы

мы могли его принять. Вон, вон его из Франции!

Это был удар ослиного копыта в издыхающего льва.

— Люди эти не знают, что делают, — проговорил император спокойно, узнав об отказе Фуше. — Мне больше ничего не остается, как ехать.[1037]

Вышел опять из комнаты, снял мундир, надел коричневый фрак, велел открыть покой, где скончалась Жозефина, пробыл в нем, запершись, несколько минут и, выйдя оттуда, принял офицеров дворцовой охраны.

— Мы видим, что не будем иметь счастья служить вашему величеству, — начал один из них речь от лица товарищей, но не кончил — заплакал. Император молча обнял его.

Подали карету. Наполеон сел в нее и поехал в Рошфор.

II. БЕЛЛЕРОФОН. 1815

«Попочка, иди в клеточку!» — звала одна глупенькая старушка своего попугая, улетевшего в сад. Но тот, сидя на ветке высокого дерева, только поглядывал на нее лукавым глазом да покрикивал: «попка дурак!» Дураком, однако, не был: в клетку идти не хотел. Этот анекдот вспоминается, когда стараешься понять, что заманило Наполеона в английский плен.

«Школьник был бы хитрее моего. Un écolier eut été plus habile que moi», — говорил он сам уже в плену.[1038] Да, школьник был бы хитрее этого «хитрого политика», попка-дурак умнее этого умницы. Но в том-то и дело, что мера человеческая больше ума. Если бы Наполеон не обезумел, то и не дал бы полной меры своей: Человек.

«Я приношу себя в жертву», — когда он это сказал, то, может быть, сам еще не знал, что говорит; когда же узнал и ужаснулся, было поздно; слово сказано — дело сделано: «я всегда делаю, что́ говорю, или умираю».

«Жертва» — вот чем заманила, пленила его неземная Судьба его — «Звезда» — отделившаяся от него и на него восставшая Душа. Хочет не хочет, он должен идти, куда она зовет его, мудрая.

Жертва — один из двух соблазнов, а другой — честь. «Чувство военной чести свойственно было Наполеону в высшей степени… Этот хитрый политик был солдат, рыцарь без упрека», — говорит один из его лучших историков.[1039]

Наполеон знает людей, как никто, видит их насквозь, и не слишком хорошо о них думает. «Надо, чтобы люди были очень подлыми, чтобы быть такими, как я о них думаю», — говаривал.[1040] Трудно бы, казалось, такого человека обмануть. Нет, легко,

потому что как истинному рыцарю свойственны ему и детская доверчивость, простодушие детское. Есть в Наполеоне, как это ни странно сказать, Дон-Кихот, вечный романтик, любовник Мечты-Дульцинеи. Люди не могли бы его обмануть, если бы он этого сам не хотел; но он хотел этого слишком часто, может быть, потому именно, что слишком хорошо видел горькую правду в людях.

Рыцарски-нелепая мысль отдаться в руки англичан, честно довериться чести врага соблазняла его давно — всегда; всегда знал он — помнил, что это будет.

Семнадцатилетний мальчик, Бонапарт, пишет в своей ученической тетради повесть об австрийском авантюристе, бароне Нейгофе, объявившем себя, в 1737 году, корсиканским королем Феодором I, арестованном англичанами, посаженном в лондонский Тауэр и, через много лет, освобожденном лордом Вальполем. «Несправедливые люди. Я хотел осчастливить мой народ, и это мне удалось на мгновение; но судьба изменила мне, я в тюрьме, и вы меня презираете», — пишет Феодор Вальполю, и тот отвечает ему: «Вы страдаете, вы несчастны; этого достаточно, чтобы иметь право на сострадание англичан».[1041]

«Дорого я заплатил за мое романтическое и рыцарское мнение о вас, господа англичане!» — как будто кончает Наполеон на Св. Елене ту неоконченную, детскую повесть.[1042]

В тех же ученических тетрадях пишет три слова: «Св. Елена, маленький остров. St. Hélène, petite isle…» И дальше — пустая страница. Теперь и ее дописывал.

По всему пути из Мальмезона в Рошфор толпы бежали за ним, с тем же немолчным: «виват император!», как тогда, при возвращении с Эльбы. Но теперь, зная, что он покидает Францию, молили, плакали: «останьтесь, останьтесь с нами, не покидайте нас!»[1043]

В городе Ниоре 2-й гусарский полк едва не взбунтовался, требуя, чтоб он принял команду и вел его на Париж.

Эльбское чудо могло бы повториться, если бы он захотел; но он уже ничего не хотел: за него хотела Душа его иного чуда, большего.

3 июля он приехал в Рошфор, где, по донесению роялистского шпиона, «был принят, как бог».[1044] Оба фрегата, «Зааль» и «Медуза», стояли на рейде готовые, но выйти в море не могли, потому что английский крейсер, «Беллерофон», блокировал рейд.

Созван был военно-морской совет, и на нем предложен план бегства. В устье Жиронды стояли два французских корвета, под командой капитана Бодэна.

«Бодэна я знаю, — говорил старый, преданный Наполеону вице-адмирал Мартэн. — Это единственный человек, способный

доставить его величество здравым и невредимым в Америку».

Наполеон согласился на этот план и, если бы тотчас исполнил его, — был бы спасен. Но отложил; прошло два-три дня, а он все откладывал. Думая, что план ему не нравится, предложили другой: маленькая, тонн в 50, датская гоэллета, «Магдалена», стоящая в Рошфорской гавани, нагрузившись водкою, возьмет на борт императора с четырьмя лицами свиты; в случае же обыска он спрячется в пустую бочку.

Наполеон согласился и на это, даже груз водки велел закупить, как будто не думал о том, что скажет история, если англичане, после двадцатилетней войны с ним, найдут его в бочке.

Может быть, соглашался на все, потому что ничего не хотел, кроме одного, что соблазняло его, чем дальше, тем больше, как пропасть соблазняет человека, нагнувшегося над нею, броситься в нее. Наполеон медлил, а Фуше торопился. 4 июля, после капитуляции Парижа, он испугался так, как еще никогда, что император захватит командование армией. «Посадите его на фрегат немедленно, хотя бы даже силой», — писал Фуше генералу Бекэру. «Посадите», но не «увозите»: думал держать его на корабле, заложником — дипломатическим «живым товаром».

8 июля Бекэр явился к императору, умолял его решиться на что-нибудь, так как его положение в Рошфоре становилось опасным.

— Но ведь что бы ни случилось, генерал, выдать меня у вас духу не хватит? — спросил его Наполеон улыбаясь.

— Ваше величество знает, что я отдам за него жизнь; но, в случае перемены правительства, я уже ничего не смогу для вас сделать.

— Ладно, готовьте шлюпки на остров д'Экс. Я буду там вблизи от фрегатов и сяду на них при первом попутном ветре. [1045]

Моряки давали слабую надежду, что очень сильный ветер с берега позволил бы фрегатам выйти с рейда, хотя и с большою опасностью. В тот же день Наполеон отправился в рыбачью гавань Фурас и сел в шлюпку. Молча, в оцепенении, смотрела на нее толпа старых рыбаков и матросов. Когда же гребцы взмахнули веслами, рев прибоя заглушен был отчаянным воплем: «Виват император!» «Мы плакали, как девочки», — вспоминал потом один из толпы.

Император велел ехать не на о. д'Экс, как сначала решил, а на фрегат «Зааль». Пробыл здесь два дня. «Беллерофон» был виден с фрегата как на ладони. Соблазн усилился. Два дня боролся он с ним, а на третий отправил уполномоченных, герцога Ровиго и

графа Лас Каза, с явным поручением узнать, есть ли надежда на пропуск, а если нет, помешает ли «Беллерофон» отъезду его; с тайною целью выпытать, каковы намерения английского правительства насчет его и какой ему будет оказан прием, если он явится на крейсер.

Командир «Беллерофона», капитан Мейтленд, принял посланных, но на вопросы их ответил уклончиво: ничего не знает о пропуске, и о намерениях правительства тоже; но, если фрегаты выйдут в море, он нападет на них; сделает также обыск на всех французских и нейтральных торговых судах и, если найдет на них Наполеона, арестует его до решения своего начальника, адмирала Хотема.

Лас Каз и Ровиго старались уверить Мейтленда, что император едет в Америку, чтобы там спокойно доживать свой век, отказавшись от политики.

— Если так, почему же он не ищет убежища в Англии? — спросил Мейтленд.

Этого только и ждали французы, но виду не подали. Чтобы узнать, что он разумеет под словом «убежище», притворились удивленными и начали возражать, что сырой и холодный климат Англии не годится императору, да и к Франции он будет там слишком близко, чтобы не быть заподозренным в желании вернуться в нее; и что, наконец, он привык видеть в англичанах своих исконных врагов, а те — в нем «чудовище, лишенное всех человеческих чувств». Тут Мейтленду, уже из простой учтивости, пришлось уверить их, что мнение англичан о Наполеоне не так плохо и что ему бояться от них нечего. На этом разговор и кончился.[1046]

Посланные, вернувшись к императору, признались, что, несмотря на любезность Мейтленда, нельзя от него ждать ничего доброго. Слух, что Наполеон вынужден отдаться в руки англичан, возмутил экипаж и команду фрегатов. Командир «Медузы», капитан Понэ, предложил новый план:

— Ночью сегодня «Медуза» пойдет впереди «Зааля» и в темноте настигнет «Беллерофон» врасплох. Я начну с ним бой, борт о борт, и не дам ему сдвинуться с места… Часа два продержусь, наверное; после боя фрегат мой будет в очень плохом состоянии, но «Зааль» успеет выйти в море, пользуясь ночною бризою с берега.

Он хорошо знал, что обрекает на гибель не только фрегат, но, может быть, и весь экипаж, и себя самого. Император был тронут до глубины души.

Чтобы исполнить план Понэ, нужно было согласие старшего командира обоих фрегатов. Тот сначала дал его, но потом взял

обратно: испугался Фуше.

Императору больше нечего было ждать от фрегатов, и он решил переехать на о. д'Экс.

Экипаж был в отчаянии. Люди плакали, били себя кулаками по лицу, кидали шапки на палубу и топтали их ногами в бешенстве.

— Я хотел его спасти или умереть! — говорил Понэ. — Он не знает англичан. Несчастный, он погиб.[1047]

Шесть офицеров 14-го флотского полка на о. д'Эксе, шесть мальчиков, предложили еще один план: два люгера, понтонные двухмачтовые шлюпки, стоящие в Рошфорской гавани, возьмут на борт императора с двумя-тремя лицами свиты, проберутся ночью, в темноте, вдоль берега, к Ла-Рошелю, выйдут оттуда в открытое море и закупят или захватят силой первое попавшееся торговое судно, чтобы доставить на нем беглецов в Америку.

Наполеон не хотел огорчать мальчиков: согласился или сделал вид, что соглашается. Но, про себя, уже все решил. Столько кругом было жертв, что начал, наконец, и он понимать, что значит «жертва». Может быть, все еще говорил, как тот Лермонтовский игрок — своему Ростовщику-Року: «душу свою на карту не поставлю», — но уже поставил.

13-го, вечером, в бедной комнатке д'Экского домика, где остановился император, зашла у него речь с генералом Гурго, человеком неглупым, но грубым, о плане шести мальчиков.

— Курам на смех этот план! — говорил Гурго. — Жаль, что у вашего величества не хватает духу отдаться в руки англичан. Это для вас было бы лучше всего. Роль авантюриста ниже вашего достоинства… История скажет, что вы отреклись только из страха, потому что жертвуете собой не до конца…

Хам учил героя, и тот молчал, потому что ответить было нечего.

— Да, может быть, отдаться умнее всего, — проговорил, наконец, император, глядя в открытое окно, где мачты «Беллерофона» чернели паутиной снастей на красном закате. — Я вчера еще собирался ехать на «Беллерофон», но вот не собрался… Жить среди врагов — этой мысли я не могу вынести…

Вдруг в окно влетела птичка и забилась в углу комнаты. Гурго встал, поймал ее и зажал в руке.

— Пустите, пустите! Довольно несчастных! — вскрикнул Наполеон. Гурго пустил ее в окно.

— Ну-ка, посмотрим, куда она полетит, это будет примета, — сказал император.

— Ваше величество, она летит на «Беллерофон»! — воскликнул Гурго, торжествуя.[1048]

Наполеон ничего не ответил, но лицо у него потемнело. Опять услышал зов: «Попочка, иди в клеточку!»

В ту же ночь велел грузить вещи на два люгера и датскую гоэлетту, потому что эти два плана решили соединить.

В одиннадцать часов генерал Бекэр доложил императору, что все готово. Тот ничего не ответил. Бекэр, выйдя от него, подождал довольно долго и, наконец, попросил генерала Бертрана снова доложить. Но только что Бертран, войдя в комнату, начал докладывать, Наполеон остановил его:

— Нет, я сегодня не еду, переночую здесь.

И еще через несколько минут велел сказать Лас Казу и генералу Лаллеману, что завтра, чуть свет, едет на «Беллерофон».

Но на следующий день не поехал, отложил еще на день. Снова отправил Лас Каза на «Беллерофон».

Зная, что английское правительство не даст никаких обещаний, хотел иметь, по крайней мере, слово Мейтленда, что не будет арестован, как военнопленный.

— Я не имею никаких полномочий и не могу ничего обещать, — ответил тот. — Но полагаю, что общественное мнение Англии, более могущественное, чем даже верховная власть, заставит действовать министров согласно с великодушными чувствами английской нации.[1049]

На языке чести это и значит: «Наполеон найдет убежище в Англии; если он сядет молящий у ее очага, она его не предаст».

С этим ответом вернулся Лас Каз к императору. Тот в последний раз созвал приближенных на совещание. Мнения разделились; одни говорили: «ехать на „Беллерофон“», другие: «не ехать». Генерал Монтолон предлагал вернуться к первому плану — пробраться к устью Жиронды, где все еще ждала «Баядерка». Генерал Лаллеман заклинал императора бежать на датской гоэлетте, — опять пустая бочка! — или отправиться в армию, отступившую за Луару: можно было рассчитывать на 14-й флотский полк, на линейные полки в Рошфоре и Ла-Рошеле, на федератов, на Бордоский гарнизон, на 2-й гусарский полк в Ниоре, на многие войсковые части по дороге, и, наконец, в самой армии он будет принят с восторгом.

— Все солдаты жаждут драться и умереть за ваше величество, — заключил Лаллеман.

— Нет, — ответил Наполеон, покачав головою, — если бы дело шло об империи, я мог бы испробовать вторую Эльбу, но из-за себя лично не хочу быть причиной ни одного пушечного выстрела. Завтра, поутру, мы едем.

Оставшись наедине с Гурго, он показал ему черновик письма к английскому принцу-регенту:

«Ваше королевское высочество. Будучи преследуем партиями, разделяющими мою страну, и ненавистью великих европейских держав, я окончил мою политическую карьеру и прихожу к вам, как Фемистокл, чтобы сесть у очага британского народа. Я отдаюсь под защиту его законов, которой испрашиваю у вашего высочества, как самого могущественного, постоянного и великодушного из всех моих врагов».[1050]

Он хотел отправить Гурго в Англию с этим письмом, чтобы тот передал его лично принцу-регенту, и тут же принялся мечтать о жизни в Англии, в уединенном сельском домике, в десяти или двенадцати лье от Лондона, вместе с друзьями, «под именем полковника Мьюрона», того самого, который, защищая его телом своим от австрийской картечи на Аркольском мосту, был убит на груди его, так что кровь брызнула ему в лицо. «Я приношу себя в жертву» — это Мьюрон не только сказал, но и сделал. Вот когда напомнила Наполеону-Человеку душа его забытый урок.

«В сельском домике кончить жизнь в безмятежной идиллии» — этому поверят, на это согласятся английские министры, Веллингтон, Блюхер, Фуше, Талейран! «Школьник был бы хитрее моего», Наполеон в сорок шесть лет — шестилетний мальчик.

15 июля, на восходе солнца, император сел на французский военный бриг, «Ястреб».

На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук, —

те же, как под Аустерлицем и Ватерлоо.

Когда матросы приветствовали его обычным криком: «Виват император!» — в крике этом было рыдание.

— Угодно вашему величеству, чтоб я сопровождал его на крейсер, согласно полученной мной инструкции? — спросил генерал Бекэр.

— Нет, возвращайтесь на остров, — ответил Наполеон. — Нехорошо, если скажут, что Франция выдала меня Англии.[1051]

Лодка — невозвратная лодка Харона — отчалила. Знал ли он, помнил ли, что покидает Францию, мир навсегда?

26 июля «Беллерофон» кинул якорь на Плимут, а 31-го адмирал лорд Кит (Keith) объявил «Генералу Бонапарту» решение английских министров — вечную ссылку на о. Св. Елены.

Наполеон возмутился, но не очень и не надолго.

— Я не поеду на Св. Елену, — говорил он приближенным. — Это постыдный конец… Скорее кровь моя обагрит палубу «Беллерофона»!

— Да, государь, — храбрились те, — лучше будем

защищаться так, чтобы нас всех перебили, или взорвем пороховой погреб![1052]

В тот же день император вышел, по обыкновению, на палубу, чтобы взглянуть на множество собравшихся лодок с любопытными, и «лицо его было такое же, как всегда», вспоминает очевидец.[1053] Уже покорился. «Лучше меня никто не умеет покоряться необходимости; в этом настоящая власть разума, торжество духа».[1054]

«Беллерофон» был слишком мал для дальнего плавания. В Портсмуте снаряжали большой военный фрегат, «Нортумберлен», под командой адмирала Кокберна (Cockburn). Но фрегат еще не был готов. Только 4 августа вышел «Беллерофон» из Плимута навстречу «Нортумберленду».

Весь этот день Наполеон просидел у себя в каюте запершись. Приближенные были в тревоге: знали, что он носит при себе спрятанную в платье скляночку с ядом; опасались, как бы не отравился.

Вечером вошел к нему Монтолон, с таким испуганным видом, что император сразу понял, в чем дело.

— Рады бы англичане, чтоб я себя убил! — проговорил, смеясь.[1055]

О самоубийстве все-таки думал.

«Мне, дорогой мой, иногда хочется вас покинуть, и это не так трудно, — говорил Лас Казу. — Стоит только немного вскружить себе голову… Тем более, что мои убеждения этому нисколько не препятствуют… В вечные муки я не верю: Бог не мог бы допустить такого противовеса Своей бесконечной благости; особенно за такое дело, как это. Ведь что это, в конце концов? Только желание вернуться к Нему немного скорее…»

Лас Каз заговорил, как всегда говорят в таких случаях, о терпении, мужестве, о возможной перемене обстоятельств к лучшему.

— Может быть, вы и правы, — сказал Наполеон, выслушав его внимательно. — Да, человек должен исполнить свою судьбу, это и мое великое правило. Ну что ж, исполним!

«И он заговорил о другом, спокойно, даже весело».[1056]

Счел, однако, нужным сочинить или подписать сочиненный Лас Казом «Протест»:

«Я протестую торжественно, пред лицом Бога и людей, против совершаемого надо мною насилия… Я не пленник, — гость Англии… Только что я взошел на борт „Беллерофона“, — я сел у очага британского народа… Если английское правительство, отдавая приказ капитану „Беллерофона“ принять меня, готовило западню, оно обесчестило себя и свое знамя… Я

взываю к истории: история скажет, что враг, двадцать лет воевавший с английским народом, пришел к нему свободно, в своем несчастье, искать убежища под его законами… И чем же ему ответила Англия?.. Лицемерно подала ему руку, а когда он принял ее, убила его».[1057]

Надо сказать правду: все это, может быть, не так убедительно, как он думал или хотел бы думать. Детское простодушие в политике не прощается. Он сам знает, что тяжело земле его носить.

«Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением: „уф!“[1058] Могла ли Англия принять такого гостя? Мера за меру: Англия поступила с Наполеоном не хуже, чем он — с испанским королем». Плимут за Байону, Англия могла бы ответить ему его же словами: «когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтоб она пронеслась, и горе тому, кто попадется под ее колеса!..»

Есть жертва в том, что постигло его; но есть и казнь, — нельзя сказать, чтоб несправедливая, и лучше бы он терпел ее молча.

7 августа «Нортумберленд» взял на свой борт императора и тотчас поднял паруса.

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят…
Есть остров на том океане,
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт…
Зарыт, живой в гробу.

III. СВ. ЕЛЕНА. 1815–1821

«Остров Св. Елена — крутая, почти отвесная скала, длинная, узкая, гладкая, темная, более похожая на исполинский, плавающий на океане гроб, чем на землю живых».[1059]

Плоскогорье Репорте Хилль (Rupert's Hill), на высоте тысячи шестисот футов над уровнем моря, с покинутой фермой Лонгвуд

(Long-wood), бывшим скотным двором, где поселили императора, — самое кромешное место этого кромешного острова. Черные скалы — тюремные стены; низкие тучи — тюремные своды; всюду кругом бездонные пропасти да беспредельный океан. Как бы «тот свет», «страна без возврата». [1060] Дантова ада преддверие с надписью:

> Всякую надежду оставьте, входящие.

Здесь сама природа — проклятая узница ада, осужденная на вечные муки. Все один и тот же ветер — юго-восточный пассат; все одно и то же лютое солнце тропиков. «Этот ветер разрывает мне душу, это солнце сжигает мне мозг!» — жалуется император. [1061] Все одно и то же время года — ни зима, ни лето, ни весна, ни осень, а что-то между ними среднее, вечное. Восемь месяцев — дождь, ветер и солнце, а остальные — солнце, ветер и дождь: скука неземная, однообразие вечности.

Почва Летейская — меловая глина, от дождя клейкая, липнущая к ногам таким тяжелым грузом, что трудно ходить: ноги, как в бреду, не движутся.

Зелень тоже Летейская: чахлые, скрюченные ветром все в одну сторону, каучуковые деревья, сухие морские вересковые, жирные кактусы да бледный, с ядовитой слюной, молочай.

Низко по земле ползущие облака-призраки: входишь в такое облако, и вдруг все исчезает в тумане; исчезаешь и сам, — сам для себя становишься призраком.

Гроз не бывает на острове: горный пик Дианы — громоотвод; только удушье, томление бесконечное.

Лучшего места для Наполеонова ада сам дьявол не выбрал бы.

«Английские дипломаты, когда он попался им в плен, более всего желали, чтобы кто-нибудь оказал им услугу — повесил или расстрелял его, а когда никого не нашлось для этого, решили посадить его под замок, как карманного воришку, pick pocket», — говорит лорд Росбери.

«Если бы англичане убили Наполеона сразу, это было бы великодушнее», — говорит Лас Каз, соузник императора. [1062]

«Я себя не убью, — говорит он сам, — я не сделаю этого удовольствия моим врагам… Я поклялся выпить чашу до дна, но, если бы меня убили, я был бы рад». [1063]

И вспоминая недавний расстрел короля Мюрата в Калабрии: «калабрийцы оказались менее варварами, более великодушными, чем люди из Плимута». [1064] — «Если бы я узнал, что получен приказ о моем расстреле, я счел бы это за милость и был бы

счастлив».[1065]

Долго люди не могли поднять и связать исполина, заснувшего летаргическим сном, но подняли, наконец, связали, уложили в гроб и забили крышку наглухо.

15 октября 1815 года, после семидесятидневного плавания, «Нортумберленд» кинул якорь в Джемс-Таунской гавани. Лонгвуд был еще не готов. Узник поселен в загородном домике английского купца Балькомба, в поместье Бриары — Шиповники, и только 10 декабря переведен в Лонгвуд. Три тюрьмы, три гроба, один в другом: первый — океан; о. Св. Елена находится почти в двух тысячах километрах от мыса Доброй Надежды; второй — окружность острова, в сорок четыре километра; третий — внутренний, двенадцатимильный круг, охраняемый цепью часовых, где узнику разрешено двигаться, ходить пешком и ездить верхом. Английский лагерь расположен в ста шагах от лонгвудского дома, перед самыми окнами его, так что шагу нельзя ступить, не наткнувшись на английский штык. В девять часов вечера караульные посты сближаются, и дом окружен ими так, что никто не может ни войти, ни выйти, не быв замеченным. Всю ночь патрули обходят дом дозорами. Все места, где может или кажется только что может причалить лодка, заняты караулами, а также все ведущие к морю тропинки, даже такие крутые, что император, при тучности своей, не мог бы спуститься по ним, не сломав себе шею.

За долгие годы походов он так привык двигаться, что частые и дальние прогулки верхом необходимы ему больше чем для здоровья, — для жизни. Но, почти тотчас по прибытии в Лонгвуд, он отказывается от них почти с отвращением: «я не могу вертеться, как белка в колесе; когда я чувствую под собою лошадь, мне хочется скакать, куда глаза глядят; но знаю, что нельзя, и это мука несносная!»[1066] Доктора грозят ему опасной болезнью, если он не будет ездить верхом. «Что ж, тем лучше, скорей конец!» — отвечает он равнодушно.

Двигался, работал, действовал, стремился, боролся всю жизнь, и вот вдруг остановка, недвижность, бесцельность, праздность, покой — смерть. «Этот переход от деятельной жизни к совершенной неподвижности все во мне разрушил».[1067] Разрушение начинается с духа, в его глубочайшей сущности, — воле. Воля всепожирающая, сила духа беспредельная, обращенная некогда на мир, теперь обращается на него самого и терзает, пожирает его. «Будешь пожирать свое сердце», — как предсказал ему Байрон. «Казнь покоя», — как чудно определяет Пушкин.

Ужас жизни в том, что она растянута и раздроблена до бесконечности. Чашу смерти пьет по капле. «Меня убивают

булавочными уколами, on m'assassine à coups d'épingles», — жалуется однообразно, стонет все одним и тем же стоном. «Булавочными уколами убивают того, кого победить едва хватило союзных армий всей Европы».[1068] Человек, раздетый донага, привязанный к столбу, обмазанный медом и отданный на съедение насекомым.

Ужас казни — позор. «Зрительные трубки всей Европы обращены на Св. Елену». Все Фуше и Талейраны, Веллингтоны и Блюхеры, хамы всех времен настоящих и будущих, смотрят и ждут, когда-то голый закорчится под мушиными жалами.

«Я поклялся выпить чашу до дна». Но, только начав пить, понял, что чаша бездонна. Страшно задыхаться в гробу полумертвому; но насколько страшнее — живому, бессмертно-юному!

«Что это говорят, будто он постарел? Да у него еще сорок кампаний в брюхе!» — воскликнул один английский солдат, увидев Наполеона на Св. Елене.[1069]

«Я чувствую себя таким же сильным, как прежде; не устал, не ослабел, — говорит император в начале плена. — Я сам удивляюсь, как мало подействовали на меня последние великие события: все это скользнуло по мне, как свинец по мрамору; тяжесть согнула пружину, но не сломала: она разогнулась с прежней упругостью».[1070]

В играх его с девочками Бэтси и Дженни Балькомб, дочерьми Бриарского хозяина, видно, что в сорокашестилетнем Наполеоне все еще маленький мальчик. Шалит, проказит, смеется, бегает, играет в жмурки, не только для них, но и для себя.

Через много лет после смерти его старушка Бэтси не может вспомнить о нем иначе, как о четырнадцатилетнем ровеснике.[1071]

Вечная юность — надежда вечная.

«Рано или поздно, мы уедем отсюда в Америку или Англию».[1072] — «Я полагаю, что, когда дела во Франции придут в порядок и все успокоится, английское правительство позволит мне вернуться в Европу… Только мертвые не возвращаются».[1073] Но, про себя, знает, что можно сделать обратный вывод: кто не возвращается, — мертв.

— Если вы меня покинете, — говорит генералу Гурго, — я, может быть, буду во Франции раньше вашего… Там все в брожении; надо терпеливо ждать кризиса. Мне еще долго жить, моя карьера не кончена.[1074]

Надеется, что Св. Елена будет тем же, что Эльба; английская партия «бунтовщиков» (Riots), желая иметь его своим вождем для защиты народных прав, овладеет несколькими портами Англии,

вышлет за ним корабли и отвезет его во Францию, чтобы свергнуть Бурбонов.[1075]

В Рио-де-Жанейро арестован французский полковник, желавший пробраться на Св. Елену на паровой шлюпке, чтобы освободить императора. Если одному не удалось, может удастся другому.

Мальчик-гардемарин с английского фрегата «Конквирор», в Джемс-Таунской гавани, что-то кому-то шепнул, и в Лонгвуде праздник: «сами-де англичане думают, что император скоро вернется на трон»![1076]

— Предложи мне Франция сейчас корону, я отказался бы, — говорит он, но тут же прибавляет: если бы не был уверен, что это единодушное желание нации![1077]

А за недостатком Франции есть Америка:

— Как знать, не оснует ли ваше величество обширной империи в Америке?

— Нет, я слишком стар.[1078]

В старость свою, однако, не верит.

— Мне еще пятнадцать лет жизни! — говорит в марте 1817 года, а в октябре, перед самым началом смертельной болезни:

— Мне еще нет пятидесяти, здоровье мое сносно: мне остается, по крайней мере, тридцать лет жизни.[1079]

Это в хорошие минуты, но есть и другие:

— Думаете ли вы, что, когда я просыпаюсь ночью и вспоминаю, чем был и чем стал, не бывает и у меня скверных минут?[1080]

Что же значит эта бесконечная надежда? Значит бесконечное мужество.

— Как вы изменились! — говорит впавшему в уныние и замышляющему измену генералу Гурго. — Хотите, я вам скажу почему? У вас нет мужества. Мы здесь на поле сражения, а кто уходит из сражения, потому что ему не везет, — трус![1081]

Составляет план бегства по карте острова.

— Днем, через город, лучше бы всего. А если с берега, то с нашими охотничьими ружьями мы часовых десять уложим.

— Все двенадцать, ваше величество.[1082]

Планы предлагаются нелепые: нарядиться лакеем или спрятаться в корзине с грязным бельем. Но человека совершенно бесстрашного, твердо решившегося бежать и не сидящего под замком, а движущегося в двенадцатимильной окружности никакие часовые в мире не устерегли бы. Мог бы бежать, но вот не бежит; что-то не пускает его. Что же именно?

— Надо быть покорным судьбе; все там на небесах написано! — говорит, глядя на небо. — Надо слушаться своей

звезды.[1083] — «Я полагаю, что звезде моей обязан тем, что попал сюда».[1084]

Вот кто держит его, сторожит, — его же собственная, от него отделившаяся и на него восставшая Душа-Звезда. Вот какой невидимой цепью прикован к Св. Елене, как Прометей к скале.

Коршун, терзающий печень титана, — сэр Гудсон Лоу, губернатор острова.

«Богу войны, богу победы» надо воевать, побеждать до конца. Но кого? Лонгвудских крыс, блох, клопов, комаров, москитов? Да, их, а также врага исконного — Англию: Англия — Лоу. Льву в клетке надо грызть решетку; решетка — Лоу. Погребенному заживо надо стучаться в крышку гроба; крышка — Лоу.

Может быть, он вовсе не такой «злодей», как это кажется узнику. Длинный, худой, сухой, жилистый, веснушчатый, огненно-рыжий, из мелких военных полуагентов, полушпионов на Корсике, пробившийся горбом к генеральским чинам, он только слепое орудие английских министров.

«Скажите генералу Бонапарту: счастье его, что к нему назначили такого доброго человека, как я; другой посадил бы его на цепь за его проделки», — говорит Лоу[1085] «Добрый человек» — слишком сильно сказано; но мог быть и хуже.

«Мои инструкции таковы, что их даже сказать нельзя», — признается он однажды и пишет английским министрам, ходатайствуя за императора.[1086]

«Генерал Бонапарт плохо принялся за дело: ему бы следовало сидеть смирно, в течение нескольких лет, и, в конце концов, судьбой его заинтересовались бы».[1087] Может быть, так оно и есть, и, кажется, самому Лоу искренно хочется, чтобы так было.

Он не лишен остроумия.

— Я не знал, что генералу Бонапарту нужно себя кипятить в горячей воде столько часов и так часто повторять эту церемонию! — смеется почти добродушно, по поводу горячих ванн императора, для которых в Лонгвуде не хватает воды. Крайние злодеи неостроумны.

— Он был величайшим врагом Англии, а также моим, но я ему все прощаю, — скажет над гробом Наполеона.[1088] Что это, гнусное лицемерие «палача»? Как знать? Во всяком случае, палачу простить жертву не так-то легко.

Впрочем, каждый из них — палач и жертва вместе. Мучают друг друга, истязают, убивают; сводят друг друга с ума, — кто кого больше, трудно сказать.

Лоу, в самом деле, душевно заболевает от вечного страха, что Наполеон убежит; знает, что может убежать, а отчего не бежит, — не знает.

Узник требует от тюремщика невозможного — свободных прогулок и сношений с жителями острова — это значило бы открыть клетку орла. Требует, чтобы тюремщик не показывался ему на глаза — это значило бы перестать стеречь.

«Император говорит, что скорее умрет, чем пустит к себе Лоу».[1089] Когда же тот хочет войти к нему насильно, кричит:

— Он переступит только через мой труп! Дайте мне мои пистолеты![1090]

В спальне его всегда лежат наготове заряженные пистолеты и несколько шпаг.

Каждое утро является в Лонгвуд английский офицер и, когда император прячется от него, — смотрит в замочную скважину, чтобы убедиться, что арестант в сохранности. Однажды, сидя в ванне и заметив, что офицер смотрит на него, Наполеон выскочил из ванны и пошел на него, голый, страшный. Тот убежал, а он грозил его убить.

— Первый, кто войдет ко мне, будет убит наповал!

— Он мой военнопленный, и я его усмирю! — кричит Лоу в бессильном бешенстве, но знает, что ничего с ним не поделает: может его убить — не усмирить.

Тюремщик становится узником. «Когда он смотрит на меня, у него такие глаза, как у пойманной гиены», — говорит император. «Между нами стояла чашка кофе, и мне показалось, что он отравил его одним своим взглядом; я велел Маршану (камердинеру) выплеснуть кофе за окно».[1091] Так «пойманная гиена» превращается в существо могущественное и сверхъестественное — сатану лонгвудского ада.

За последние пять лет они ни разу не виделись, но между ними продолжался глухой, бесконечный спор, уже не из-за главного, а из-за пустяка — императорского титула.

— Лучше мне умереть, чем назваться генералом Бонапартом. Это значило бы, что я согласился не быть императором.[1092]

— Я, сударь мой, для вас не генерал Бонапарт. Ни вы и никто в мире не может отнять у меня принадлежащих мне титулов! — кричал император на Лоу в одно из последних свиданий.

Но разве он не отрекся дважды и сейчас не отрекается: «я довольно нашумел… мне нужен покой: вот почему я отрекся от престола»?[1093] Нет, не отрекся: «я отказываюсь от моего отречения… я его стыжусь… Это была моя ошибка, слабость…»[1094] То помнит, но забывает жертву. Или прав Гургохам: «история скажет, что вы отреклись только из страха, потому что жертвуете собою не до конца».

Но бывают минуты, когда он все помнит и надо всем торжествует.

«Он (Лоу) ничего со мной не поделает: я здесь так же свободен, как в то время, когда повелевал всей Европой»[1095] — «Других унижает падение, а меня возвышает бесконечно».[1096] — «Моей судьбе недоставало несчастия. Если бы я умер на троне, в облаках всемогущества, я остался бы загадкой для многих, а теперь, благодаря несчастию, меня могут судить в моей наготе».[1097] — «Вы, может быть, не поверите, но я не жалею моего величия: я мало чувствителен к тому, что потерял». — «А почему бы мне вам не верить, государь? — отвечает Лас Каз. — Вы здесь, конечно, более велики, чем в Тюльерийском дворце… Ваши тюремщики — у ваших ног… Дух ваш покоряет все, что к нему приближается… Вы, как Св. Людовик в плену у сарацин, — истинный владыка своих победителей…»[1098]

Или как «Прометей на скале».[1099]

Старый малайский раб Тоби — огородник в Бриарской усадьбе. Есть чудная и страшная связь между бедным Тоби и бедным «Бони».[1100] С Тоби английские матросы сделали то же, что английские министры — с Бони: обманули, увезли и продали в рабство.

Император подружился с Тоби и хотел выкупить его на волю. Полюбил и Тоби Наполеона, называл его не иначе, как «добрым господином», «good gentleman», или просто «добрым человеком», «good man».[1101] «Часто Наполеон расспрашивал старика о его молодости, родине, семье и о теперешнем положении: он, казалось, хотел понять чувства его».[1102]

Однажды, гуляя с Лас Казом в Шиповниках, — увидел Тоби, копавшего грядки в саду, остановился перед ним и сказал:

«Что за жалкая тварь человек! Все оболочки схожи, а сердцевины разные. Этого люди не желают понять и оттого делают столько зла. Будь Тоби Брутом, он убил бы себя; будь Эзопом, — может быть, сделался бы советником губернатора; будь пламенно верующим христианином, — носил бы цепи во имя Христа и благословлял бы их. Но бедный Тоби ни о чем этом не думает, в простоте сердца, гнет спину и работает…»

Несколько минут император молчал; потом, отходя, прибавил:

— Далеко, конечно, бедному Тоби до короля Ричарда! Но злодейство не менее ужасно: ведь и у этого человека была семья, своя жизнь, свои радости. И страшное преступление совершили над ним, заставив его издыхать под игом рабства…

Вдруг остановился и продолжал:

— Вижу, мой друг, по вашим глазам: вы думаете, что Тоби на Св. Елене не один…

И то ли оскорбленный этим сравнением, то ли желая

укрепить мое мужество, он воскликнул с жаром, с величием:

— Нет, дорогой мой, здесь не может быть никакого сравнения, ибо если злодейство больше, то и у жертв больше сил для борьбы! Тел наших не мучают, а если бы и мучили, есть у нас душа, чтоб победить палачей… Может быть, наш жребий даже завиден. Мир смотрит на нас… Мы все еще мученики бессмертного дела… Мы здесь боремся с насильем богов, и народы благословляют нас![1103]

Это и значит: «Прометей на скале» — жертва за человечество. Тут кончается Наполеонова «история» — начинается «мистерия». Чья, в самом деле, судьба, чье лицо в веках и народах более напоминает древнего титана?

«Комедиантом» назвал Наполеона папа Пий VII. Но, может быть, вся его жизнь, так же как это сравнение с Тоби, — уже не человеческая, а божественная комедия.

«Будешь завистью себе подобных и самым жалким из них», — напророчил он себе в начале жизни, и в конце ее пророчество исполнилось: более жалок Наполеон, чем Тоби. «Блаженны нищие духом» — это о таких, как Тоби, сказано, а не о таких, как Наполеон.

Кто же соединил их, «сравнил»; и для чего? Этого он еще не знает; думает, что «тут не может быть никакого сравнения». Нет, может. Или сын забыл мать. Наполеон — Революцию, повторяющую слово Божье ревом звериным, голосами громов, — тихое слово: «первые будут последними»?

«Никто в мире не может отнять у меня принадлежащих мне титулов», — все еще цепляется он за свой императорский сан, как утопающий за соломинку; «комедиант» все еще играет комедию. В низеньких комнатах лонгвудского дома, бывшего скотного двора, где крыши протекают от дождя, ситцевые обои на отсыревших стенах висят клочьями, полы из гнилых досок шатаются, и бегает множество крыс, — крыса выскочила однажды из шляпы императора, — соблюдается строжайший этикет, как в Тюльерийском дворце: слуги в ливреях; обед на серебре и золоте; рядом с его величеством незанятое место императрицы; придворные стоят навытяжку.

Кто-то однажды сказал при нем, что китайцы почитают своего богдыхана за Бога.

— Так и следует! — заметил он.

Пряжка с башмака его упала во время прогулки; все кинулись ее подымать. «Этого бы он не позволил в Тюльерийском дворце, но здесь, казалось, был доволен, и мы все благодарны ему, что он не лишил нас этой чести», — вспоминает Лас Каз.

— Я сам знаю, что пал, но почувствовать это от одного из

своих… — как-то раз начал император, жалуясь на одного из своих приближенных, и не кончил.

«Эти слова, жест его, звук голоса пронзили мне сердце, — вспоминает тот же Лас Каз. — Мне хотелось броситься к его ногам и целовать их».

— Люди, вообще, требовательны, самолюбивы и часто бывают не правы, — продолжал император. — Я это знаю и потому, когда не доверяю себе, спрашиваю: так ли бы я поступил в Тюльерийском дворце? Это моя великая мера.[1104]

Мера ложная: ею он сам себя умаляет. Но надо быть таким хамом, как Гурго и сорок тысяч наполеоновых историков, чтобы этому радоваться: «он мал, как мы, он мерзок, как мы!»

Скованный Прометей — в вечности, а во времени — человек, сидящий у камина, с распухшей от флюса щекой, и по-стариковски брюзжащий:

— У, проклятый ветрище! От него-то я и болен!.. Видите, дрожу от озноба, как трус — от страха… А скажите-ка, доктор, как легче всего умереть?.. Говорят, от замерзания: умираешь во сне…[1105]

Знает, что себя не убьет, но думает о смерти, как о воде — жаждущий.

Минуты, часы, дни, месяцы, годы — все та же пытка: скука пожирающая, как лютое солнце тропиков.

Не знает, как убить время. Утром валяется в постели или целыми часами сидит в ванне. Днем, немытый, небритый, в белом шлафроке, в белых штанах, в рубашке с расстегнутым воротом, с красным клетчатым платком на голове, лежа на диване, читает до одури; стол завален книгами, и в ногах и на полу кучи прочитанных, растрепанных книг. Иногда диктует, дни и ночи напролет, а потом зарывает рукописи в землю. Вместо прогулок верхом устроил себе внутри дома длинное бревно на столбике и качается на нем, как на деревянной лошадке.

По вечерам придворные сходятся в салон его величества; играют в карты, домино, шахматы, беседуют о прошлом, как «тени в Елисейских полях».

— Скоро я буду забыт, — говорит император. — Если бы пушечное ядро убило меня в Кремле, я был бы так же велик, как Цезарь и Александр… а теперь я почти ничто…[1106]

Долго сидит молча, опустив голову на руки; наконец, встает и говорит:

— Какой, однако, роман моя жизнь![1107]

Очень не любит, точно боится, чтоб его оставляли одного после обеда. Целыми часами сидит за столом, чтобы дамы не могли уйти, поддерживает вялый разговор или, перейдя в салон,

читает вслух, большей частью французские классические трагедии. Особенно любит «Заиру» Вольтера, до того надоевшую всем, что генерал Гурго и госпожа Монтолон хотят выкрасть ее из библиотеки. Слушатели дремлют, но он следит за ними:

— Госпожа Монтолон, вы спите?

— Гурго, проснитесь же!

В наказание заставляет их читать и, скрестив руки, слушает, но, через пять минут, сам начинает дремать.[1108]

— Какая скука. Боже мой! — шепчет, оставшись один.

Идет качаться на качалке, или посылает генералу Гурго задачу о конических сечениях, о доставке в осажденный город муки в бомбах; или философствует, зевая:

— Кажется, человек образован солнечной теплотой из грязи. Геродот рассказывает, что в его время Нильский ил превращался в крыс, и можно было наблюдать, как они образуются в иле… [1109]

Или дразнит «благочестивого» Гурго, доказывая, что магометанство лучше христианства, потому что победило половину земного шара в сто лет, а христианство — в триста.

— А ведь папа-то во Христа верует! — удивлялся искренне. [1110] — Скажите, Гурго, может Бог сделать, чтобы палка не была о двух концах?

— Может, государь; обруч — палка, но у нее нет конца.[1111]

Все молчат. Император хмурится и опять начинает, зевая:

— Кардиналу Казелли случалось колебать мое неверие… Но я все-таки думаю, что, когда мы умерли, мы по-настоящему умерли, quand nous sommes morts, nous sommes bien morts. Да и что такое душа?.. Когда на охоте передо мной свежевали оленя, я видел, что внутренности у него такие же, как у человека… Электричество, гальванизм, магнетизм, — вот где великая тайна природы… Я склонен думать, что человеческий мозг, как насос, высасывает эти токи из воздуха и делает из них душу…[1112]

Опять молчание.

— Что это, Гурго, вы сегодня мрачны, как гренадерская шапка?.. Да и вы, госпожа Бертран, отчего так грустны? Оттого, что я вам вчера сказал, что вы похожи на прачку?..[1113]

Бедная, краснеет, не знает, куда девать глаза, и молчание становится еще более тягостным. Ветер воет в трубе; дождь случит в окна; низко ползущие облака заглядывают в них, как призраки.

— Черт побери, господа, вы не очень любезны! — говорит император, встает из-за стола и переходит в салон. — Ах, где-то мой бедный Лас Каз? Он мне, по крайней мере, рассказывал сказки, а вы все как ночные колпаки![1114]

Узники друг друга ненавидят, как могут ненавидеть только люди, лежащие на одной соломе в одной тюрьме. Бесконечно, из-за пустяков, ссорятся, и это еще спасение: иначе бы сошли с ума от скуки.

Раз убежала из лонгвудского стойла только что приведенная туда корова, и все из-за нее перессорились так, что житья в доме не стало. Главным за корову ответчиком был обер-шталмейстер Гурго, потому что коровье стойло было рядом с конюшнею.

«Император в сильном гневе из-за коровы. Если она не найдется, он хочет перебить всех наших кур, коз и козлят, — записывает Гурго в своем дневнике. — Но я этих коровьих дел знать не желаю, и больше ли, меньше ли одной коровой в Лонгвуде, мне наплевать… Перетерплю, впрочем, и это, как все остальное».[1115]

Гурго на ножах с Монтолоном, обер-гофмаршалом. Что, собственно, произошло между ними, трудно понять, но ссора была отравлена тем, что в нее была замешана г-жа Монтолон, находившаяся в любовной связи с императором; от него родился у нее ребенок в Лонгвуде; и это, кажется, знают все, кроме мужа; а может быть, знает и он, но терпит.

Ссора, наконец, разгорелась так, что Гурго хотел послать вызов Монтолону.

— Как вы смеете ему грозить? Вы, сударь, разбойник, убийца… Я запрещаю вам грозить, я сам буду с вами драться за него… Я вас прокляну! — кричал император, не смея заглянуть ему прямо в глаза.

Надо правду сказать: дело это одно из самых нехороших дел Наполеона. Чтобы так обмануть последнего и единственного, до конца ему верного друга, соблазнить жену его, не из любви, ни даже из прихоти, — женщины нашлись бы для Наполеона и на Св. Елене, — а только от скуки, между «Заирой» и качалкой, — нужно в самом деле пасть: «я знаю, что пал». Мера падения дает меру пытки.

Пытка длилась шесть лет, шесть лет ждал свободы Пленный Рыцарь:

В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.
Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время,
Душно под новой бронею мне стало.
Смерть, как приедем, поддержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало![1116]

IV. СМЕРТЬ. 1821

Наконец, заболел. Недуг подкрался незаметно. Первые признаки его — опухоль ног, скорбут, боль в правом боку — начались еще весною 1817 года. Доктор О'Мэара, врач не очень искусный, но человек неглупый и честный, доложил Гудсону Лоу, что болезнь императора может сделаться опасной для жизни его, если не будут приняты решительные меры, и что главная причина болезни — сидячая жизнь, упорный отказ от прогулок верхом, вследствие отвращения двигаться в огражденном пространстве.

Лоу испугался — не ответственности, конечно, перед английскими министрами: скорая смерть Наполеона была бы им на руку, — а чего-то другого: может быть, не хотел быть убийцей Наполеона. Дал ему понять, что готов идти на все уступки. Но император ответил, что не желает никаких благодеяний от «изверга», и все осталось по-прежнему.

В течение полтора года больному делалось то лучше, то хуже, пока, наконец, к осени 1819 года болезнь не усилилась так, что он слег.

Чувствовал постоянную тяжесть и боль в правом боку. Доктора думали, что это болезнь печени; но он сразу угадал, что болен тем же, от чего умер его отец, — раком в желудке. Никому не говорил об этом: может быть, и сам не был в этом уверен.

Мужество, изменившее ему в здоровье, вернулось в болезни. Не хотел умирать — «бежать с поля сражения». — «С телом моим я всегда делал все, что хотел». Думал, что и теперь сделает.

Докторам не верил, лекарств не принимал, лечился по-своему. Только что сделалось ему полегче после припадка, занялся садовыми работами. Целыми днями, командуя артелью китайских рабочих, сажал деревья в саду, планировал цветники, газоны, аллеи, рощи; устраивал водопроводы, фонтаны, каскады, гроты. Так увлекался работой, как будто снова надеялся исполнить мечту всей своей жизни — сделать из земного ада рай.

Леченье, казалось, шло ему впрок. Но все кончилось ничем: лютое солнце сжигало цветы, дождь размывал земляные работы, ветер ломал и вырывал с корнем деревья. Рая не вышло, ад остался адом, и эта Сизифова работа ему, наконец, так опротивела, что он опять заперся в комнатах.

Сделался новый припадок. В самые тяжелые минуты он вспоминал детство, мать.

— Ах, мама Летиция, мама Летиция! — шептал, закрыв лицо руками.[1117]

Там, в начале жизни, было что-то твердое — «Святая Скала», Pietra-Santa, как называлась одна из его корсиканских прабабушек, — и здесь, в конце, та же Скала — Св. Елена, а все, что между ними, — только мимо летящее облако-призрак.

Встал еще раз и начал бродить по комнатам; но с каждым днем слабел.

— Что это за жизнь? — говорил. — Я не живу, а прозябаю… Все меня тяготит, все утомляет… Ах, доктор, какая хорошая вещь покой. Для меня теперь постель лучше всего; я не променял бы ее на все царства мира. Но как я опустился! Прежде не выносил покоя, а теперь погружен в летаргию: я должен делать усилие, чтобы поднять веки. Я когда-то диктовал четырем-пяти секретарям о различных предметах, и они писали так же скоро, как я говорил. Но тогда я был Наполеон, а теперь — ничто![1118]

Нет, и теперь — все тот же. Доктор, однажды, щупал ему пульс; больной взглянул на него, усмехнулся и сказал:

— Это все равно, как если бы генерал слушал маневрирующую армию…[1119]

Ухом слушал, а глазом не видел: был слеп. В слове этом еще весь Наполеон-Ясновидец.

Снова духом побеждает тело, «силой воли» поправляется.

— К черту медицину! — говорит доктору Антоммарки, молодому корсиканцу, человеку грубому, невежественному и самомнительному. — Есть во мне что-то, что меня электризует и заставляет думать, что моя машина послушается еще моей воли… Ну, разве не так, проклятый докторище, корсиканище? — смеется и дерет его за ухо.[1120]

Делает большую прогулку верхом, скачет галопом пять-шесть миль. Но лечение уже не удается, скачка не вызывает обычной испарины; после нее ему делается хуже. «Император погружен в глубокую печаль», — записывает Антоммарки 23 января 1821 года.

— Доктор, не обманывайте меня, я сумею умереть, — говорит ему больной на следующий день. — Если час мой пробил, этого не измените ни вы, ни все доктора в мире.[1121]

Понял, что борется не с болезнью, а со смертью, и смотрит ей в глаза так же спокойно, как, бывало, на полях сражений; но здесь, живому в гробу, это труднее.

— О, зачем ядра пощадили меня, если мне суждено было умереть такою жалкою смертью! — возмущался иногда.[1122]

— Когда я был Наполеон, — сказал однажды, умываясь, — я делал это быстро и весело. А теперь не все ли равно, на что я похож? Да и сейчас мне это труднее, чем, бывало, составить целый план кампании.[1123]

Почти не ел: от каждого куска тошнило и рвало. Боль в боку и в животе становилась нестерпимою.

— Вот здесь, — жаловался, — точно лезвие бритвы скользит и режет.[1124]

Каждый вечер караульный офицер должен был доносить губернатору, что видел «генерала Бонапарта». Но две недели не доносил, потому что тот не показывался из дому и даже к окну не подходил. Лоу сам, наконец, явился в Лонгвуд, обошел весь дом, заглядывал в окна, стараясь увидеть императора, но не увидел и ушел, грозя офицеру расправиться с ним по-свойски, если он не добьется, чтоб ему показали Бонапарта, живого или мертвого.

Офицер, наконец, добился: стоя за окном, заглянул сквозь раздвинутую занавеску во внутренность комнаты, в то время, как больной сидел в кресле. Но Лоу и этим не удовольствовался, требуя, чтобы доверенное от него лицо впущено было в дом; в противном же случае грозил войти в него силою. Трудно себе представить, чем бы все это кончилось, если бы император не согласился принять английского полкового врача, Арнотта, о чьем уме и благородстве много слышал.

Арнотт советовал ему перейти в новый, тут же, в Лонгвуде, для него отстроенный дом, где комнаты просторнее и больше воздуху.

— Зачем? Я все равно умру, — ответил ему Наполеон так спокойно и уверенно, что у него не хватило духу возражать.[1125]

2 апреля, узнав, что на горизонте появилась комета, император сказал тихо, как будто про себя:

— Значит, смерть: комета возвестила и смерть Цезаря.[1126]

Вдруг сделалось лучше. Боль затихла. Мог есть без тошноты. Перешел с постели в кресло; читал газеты, слушал историю Ганнибала, «Илиаду». Велел сорвать цветок в саду и долго нюхал его. Все радовались.

— Ну что же, доктор, значит, еще не конец? — сказал император весело, когда вошел к нему Антоммарки; потом оглянул всех и продолжал:

— Да, друзья, мне сегодня лучше, но я все-таки знаю, что мой конец близок. Когда я умру, вы вернетесь в Европу, увидите родных, друзей и будете счастливы. Увижу и я моих храбрых в Елисейских полях. Клебер, Дезэ, Бессьер, Дюрок, Ней, Мюрат, Массена, Бертье, — все выйдут ко мне навстречу, заговорят со мной о том, что мы сделали вместе, и снова сойдут с ума от

восторга, от славы. Мы будем беседовать о наших войнах — с Ганнибалами, Сципионами, Цезарями, Фридрихами… И какая будет радость! Только бы там, на небе, не испугались такому собранию воинов! — прибавил, смеясь.[1127]

Вошел Арнотт. Император сказал и ему, что чувствует себя бодрее.

— А все-таки, доктор, дело сделано, удар нанесен, я умираю, — продолжал, помолчав, уже другим, торжественным голосом. — Подойдите, Бертран, я буду говорить, а вы переводите господину Арнотту на английский язык, слово в слово.

Перечислив все обманы, насилия, злодейства, предательства Англии, кончил:

— Вы меня убили, и, умирая на этой ужасной скале, я завещаю позор и ужас смерти царствующему дому Англии![1128]

К вечеру опять сделалось хуже, впал в изнеможение, почти обморок.

Несколько дней назад начал писать завещание и теперь продолжал. Только что был в силах, звал Монтолона и Маршана, запирался с ними на ключ, садился в постели и, держа в одной руке папку с листом бумаги, другой — писал. Когда, после тошноты и рвоты, делался потрясающий озноб, Маршан кутал леденевшие ноги его в горячие салфетки.

— Отдохнули бы, ваше величество, — говорил Монтолон.

— Нет, сын мой, я чувствую, что надо спешить.[1129]

Если очень слабел, выпивал рюмку крепкого Констанцского вина, «масла на огонь», по слову Арнотта; и продолжал писать.[1130]

В завещании — множество пунктов, подробных и мелочных, с перечислением сотен предметов, сумм и лиц. Вспоминает всех, кто сделал ему в жизни добро, и благодарит, награждает не только живых, но и мертвых, в детях и внуках; прибавляет все новых, не может кончить, боится, как бы не забыть кого-нибудь.

После ужасной ночи с жаром и бредом велит принести шкатулки с драгоценностями, вынимает и выкладывает на постели золотые табакерки, бонбоньерки, медальоны, камеи, часы, ордена, кресты Почетного Легиона; разбирает, что кому на память. Доктору Арнотту — золотой ящичек. В гербовом щите, на крышке его, вырезывает, между двумя рвотами, ослабевшей рукой, неловко, но тщательно, императорское N.

Все разобрав и записав, складывает обратно в шкатулки, перевязывает их зелеными и красными шелковыми лентами, запечатывает и отдает ключи Маршану.

— Тело мое вскройте и, если найдете рак в желудке, сообщите сыну, чтоб остерегся, — повторяет доктору Антоммарки

несколько раз. — Эта болезнь, говорят, наследственна в нашем роду; пусть же, по крайней мере, сын мой спасется от нее. Вы мне это обещали, доктор, не забудьте же![1131]

Думает о спутниках, как вернутся на родину; не пришлось бы им снова голодать, во время плаванья, как уже раз голодали, на пути сюда; составляет точный список всех съестных припасов в Лонгвуде; даже овец на скотном дворе не забыл.[1132]

«Я не добр, — говаривал, — нет, я не добр; я никогда не был добрым; но я надежен, je suis sûr».[1133]

Надо быть «надежным», чтобы думать о чужом голоде, когда самого тошнит и рвет.

Ночью в потрясающем ознобе, под «режущей бритвой» боли, диктует две Грезы, Rêveries: первая, неизвестно о чем, — может быть, горячечный бред, а вторая — «о наилучшем устройстве Национальной гвардии для защиты Франции от чужеземного нашествия».[1134]

— А китайцы-то мои бедные! — вдруг вспоминает. — Двадцать золотых раздайте им на память: надо же и с ними проститься как следует![1135]

Похоронить себя завещает на берегах Сены, «среди того французского народа, которого так любил»,[1136] или «на Корсике, в Аяччском соборе, рядом с предками».

— А если меня отсюда не выпустят и мертвого, положите там, где течет эта вода, такая свежая, такая чистая![1137]

Каждый день приносили ему воду из соседней долины Герания, где под тремя плакучими ивами был холодный и чистый родник. Воду эту, за время болезни, он полюбил особенно. Каждый раз, отведав, говорил:

— Хорошо, очень хорошо! C'est bon, c'est bien bon![1138]

Завещая себя похоронить рядом с источником, как бы отдаривал за нее Землю Мать последним, что у него оставалось, — прахом.

«Я умираю в римской, апостолической вере, в которой родился», — говорит в завещании.[1139]

Так ли это?

В самом начале болезни просил дядю, кардинала Феша, прислать ему двух священников, «чтобы не околеть, как собака».[1140] Тот выслал ему двух старых корсиканских аббатов, о. Виньяли и о. Буонавита.

21 апреля, когда больной понял, что умирает, он призвал о. Виньяли и сказал ему:

— Знаете ли вы, что такое chambre ardente?[1141]

— Знаю, ваше величество.

— Служили в ней когда-нибудь?

— Нет, государь.

— Вы будете служить в моей. Когда я буду отходить, вы устроите алтарь в соседней комнате, поставите на него чашу с «дарами» и будете читать молитвы на отход души. Я родился в католической вере и желаю исполнить все ее обряды и получить все напутствия.

В эту минуту доктор Антоммарки, стоявший в ногах больного, усмехнулся.

— Глупости ваши, сударь, мне надоели! — воскликнул император. — Я могу извинить ваше легкомыслие и дурные манеры, но бессердечие не прощу никогда. Ступайте вон!

Тот вышел.

— Когда я умру, — продолжал Наполеон, обращаясь к духовнику, — вы меня положите в Chambre ardente и будете в ней служить, не переставая, до самых похорон.

Помолчал, потом заговорил о родном селении о. Виньяли, на Корсике, о домике, который он там хотел себе построить, и о приятной жизни, какой он в нем заживет.[1142]

О. Виньяли стал на колени, поцеловал свесившуюся с постели руку больного и вышел из комнаты молча, с глазами полными слез; может быть, понял, что не надо говорить о небесном тому, кто так хорошо говорит о земном.

Две недели прошло — две недели смертных мук. Об о. Виньяли император как будто забыл, а если помнил, то все откладывал. Наконец, 2 мая, послал за ним, но велел ему прийти в «гражданском платье», «en costume bourgeois» и «никому не показывать того, что он несет», т. е. чаши с дарами. Это приказание повторил несколько раз.[1143]

«Кажется, Наполеон желал получить напутствие церкви, но признаться в этом стыдился, зная, что многие сочтут это слабостью, а может быть, и сам считая тем же», — вспоминает лорд Голланд со слов Монтолона.[1144]

Духовник вошел к умирающему и остался с ним наедине. Маршан, стоя у дверей соседней комнаты, никого не пускал. Через полчаса о. Виньяли вышел и, в простоте сердца, нарушая волю императора, объявил, что исповедал и отсоборовал его, но причастить уже не мог, «по состоянию его желудка».[1145]

После таинства ничто не изменилось в умирающем: так же был «прост и добр ко всем», забывал себя для других, но ни о чем небесном не думал, — думал только о земном, землю одну любил до конца.

Через час по уходе о. Виньяли созвал приближенных и сказал им:

— Я умираю. Будьте верными памяти моей, не омрачайте ее

ничем. Я освятил все добрые начала, перелил их в мои законы, в мои дела… К несчастью, обстоятельства были суровы, принуждая и меня к суровости в ожидании лучших времен. Но подошли неудачи; я не мог ослабить лука, и Франция была лишена свободных учреждений, которые я предназначал для нее. Но она не осудит меня, потому что знает мои намерения, любит мое имя, победы мои. Будьте же и вы заодно с Францией, не изменяйте нашей славе… Вне этого все позор и гибель![1146]

Кто так говорит, — ни в чем не раскаялся.

Два последних дня очень страдал, тосковал, метался, горел в жару; утоляя жажду родниковой водой из долины Герания, каждый раз повторял, точно благодарил кого-то:

— Хорошо, очень хорошо! Бредил сраженьями:

— Штейнтель, Дезэ, Массена!.. А, победа решается… Скорее, скорее в атаку! Мы победим![1147]

В ночь с 4-го на 5-е с минуты на минуту ждали конца. На дворе выла буря. Монтолон был один с императором. Тот что-то говорил в бреду, но так невнятно, что нельзя было расслышать. Вдруг вскрикнул:

— Франция… армия!

И, вскочив, бросился вон из постели. Монтолон хотел его удержать, но тот начал с ним бороться, и оба упали на пол. Умирающий сжал ему горло так, что он едва не задохся и не мог позвать на помощь. Наконец, из соседней комнаты услышали шум, прибежали, подняли, разняли их и уложили Наполеона в постель. Он больше не двигался. Это была последняя вспышка той силы, которая перевернула мир.

Весь день лежал, как мертвый; только по лицу видно было, что все еще борется великий Воин с последним врагом — Смертью.

К вечеру буря затихла. В 5 часов 49 минут, с бастионов Джемс-Таунской крепости, грянула заревая пушка. Солнце зашло — Наполеон умер.

Тело его положили на узкую походную кровать и покрыли синим походным плащом; шпага у бедра, на груди распятие.

Мертвое лицо его помолодело, сделалось похоже на лицо Бонапарта, Первого Консула.

Когда унтер-офицеры английского гарнизона в Лонгвуде прощались с телом императора, один из них сказал своему маленькому сыну:

— Смотри на него хорошенько, это самый великий человек в мире.[1148]

Похоронили его в долине Герания, у родника, под тремя плакучими ивами.

Лоу заспорил с французами о надгробной надписи: «Наполеон» или «Бонапарт»; не могли согласиться, и могила осталась без имени. Может быть, и лучше так: здесь лежал больше, чем Бонапарт, и больше, чем Наполеон, — Человек.

«Я желаю, чтобы прах мой покоился на берегах Сены». — Это желание его исполнилось. Но, может быть, певец, его, Лермонтов, прав: тень императора тоскует

О знойном острове под небом дальних стран,
Где сторожил его, как он, непобедимый,
Как он, великий океан,

и где над его безыменной могилой мерцало Созвездие Креста. В жизни он так и не понял, но, может быть, понял в смерти, что значит Крест.

Сам Наполеон о себе никогда не молился, но, кажется, повесть о нем лучше кончить молитвой:

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, Наполеона, в селении праведных.

1927
Франция

notes

Примечания

1

Stendhal. Vie de Napoléon. 3 ed. P., 1896. P. 2.

2

Bloy L. L'âme de Napoléon. P., 1920. P. 7.

3

Thiébault P. Mémoires. P., 1892. T. 4. P. 259.

4

«Er hatte kein grösseres Erlebniss, als jenes ens realisimum». — Nietzsche F. W. Götzen-Dämmerung; oder, Wie man mit dem Hammer philosophiert. 4 Aufl. Leipzig, 1899.

5

Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Запись 11 марта 1828 г.

Staël-Holstein A.-L. G. de. Considerations sur la révolution française. P., 1862. T. 3, ch. 2; T. 4, ch. 18.

7

7. Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791 (Publ. par Masson F., Bingli G.). P., 1910. P. 5.

8

Rémusat C. É. G. de. Mémoires de madame de Rémusat, 1802–1808 / Pub. par Rémusat P. P., 1893. T. 2. P. 112.

Ibid. T. 1. P. 231.

10

Lacour-Gayet G. Napoléon: Sa vie, son oeuvre, son temps. P., 1921. P. 576.

11

O'Méara B. E. Napoléon en exile. P., 1897. T. 2. P. 6.

12

Gourgaud G. Sainte-Hélène: Journal inédit de 1815 à 1818. P., 1889. T. 2. P. 13.

Ibid. P. 163.

14

Rémusat C. É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 125.

15

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. P., 1897. T. 2. P. 15.

16

Las Cases E. Le memorial de Sainte-Hélène. P., 1894. T. 1. P. 308.

17

Речь Наполеона в Палате Ста Дней в 1815 г.

18

Мандзони А. Пятое мая (1821).

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P.: Hachette, 1909. T. 9.

Ibid. P. 5.

Ibid. P. 142, 20, 129, 76.

22

Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 256.

23

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. P., 1900. T. 5. P. 435.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte, virilités. P., s.a. P. 169.

Levy A. Napoléon intime. P., 1897. P. 452.

26

Толстой Л. Статьи о кампании 12-го года, прилож. к «Войне и миру».

Bloy L. L'âme de Napoléon. P., 1920.

Ibid. P. 9—10.

Ibid. P. 98.

Ibid. P. 24.

31

Ibid. P. 141.

32

Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 370.

Ibid. T. 1. P. 460.

Ibid. T. 2. P. 42.

Ibid. T. 3. P. 357.

36

O'Méara. Napoléon en exil. T. 1. P. 200.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. P., 1873. T. 3. P. 6.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 481.

Ibid. P. 503.

Ibid. P. 481.

Thiébault P. Mémoires. T. 5. P. 277.

Houssaye H. 1815. P., 1905. T. 3. P. 356.

Ibid. P. 15.

44

Гюго В. Возмездие (1853).

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 177.

Ségur P. P. Histoire em memoires. T. 2. P. 461.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 207.

48

Гимн царю Ахенатону, в гробницах Тэль эль-Амарны 1350 г. до Р.Х.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 570.

Ibid. P. 531.

Thiébault P.. Mémoires. T. 5. P. 295.

52

Гейне Г. Гренадеры (1820). Пер. М. Михайлова.

Bloy L. L'âme de Napoléon. P. 42.

Levy A. Napoléon intime. P. 399.

55

Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 640.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 270, 272.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 246.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 177.

Ibid. P. 393.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 148.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 512.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 505.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 605.

Ibid. T. 2. P. 194.

Thibaudeau A.-C. Mémoires, 1799–1815. P., 1913. P. 376.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 395.

Levy A. Napoléon intime. P. 51.

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 356.

Holland H. R. Souvenirs des cours de France, d'Espagne, de Prusse et de Russie. P., 1862. P. 193–194.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte: Journal. P., 1909. P. 20.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 2. P. 15.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 395.

Ibid. T. 2. P. 245.

Ibid. T. 4. P. 43.

Los Cases E. Le memorial… T. 2. P. 107.

Гете И. В. Фауст (Рабочая комната Фауста).

Los Cases E. Le memorial… T. 4. P. 243.

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 224.

O'Méara B. É. Napoléon en exil. T. 2. P. 282.

Ibid. P. 6.

81

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 153.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 240.

83

Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 245.

Ibid. P. 303.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 569.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 308.

O'Méara B. É. Napoléon en exil. T. 1. P. 178.

Ibid.

89

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 46; Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 290.

Ibid.

91

Блок А. Скифы (1918).

Пушкин А. С. Наполеон (1821).

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 118.

Ibid.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 370.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 440.

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 124; Metternich. Mémoires, documents et écrits divers. P., 1880. T. 2. P. 304.

Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 43.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 174.

100

Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 245.

101

Ibid. T. 4. P. 152.

Ibid. T. 3. P. 297.

Ihid. T. 4. P. 153.

Ibid. T. 3. P. 298.

105

H. Ibid. T. 1. P. 530–532.

Ibid. T. 4. P. 157.

Ibid. P. 115.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 345.

Ibid. P. 170.

Ibid. P. 345.

111

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 1. P. 104.

Ibid. T. 3. P. 204.

113

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 240.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 605.

115

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 70.

Thiébault P. Mémoires. T. 3. P. 394.

117

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 200.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 240.

119

Барбье А. О. Ямбы (1831). Стихотворение «Кобылица».

120

Fauvelet de Bourrienne L A. Mémoires sur Napoléon. T. 1. P. 230.

121

Ibid. P. 322.

Ibid. P. 363.

123

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 65.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 158.

125

Pradt de. Histoire de l'ambassade dans le grand duché de Varsovie en 1812. P., 1815. P. 23.

126

Marmont A. F. L. Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse de 1792 à 1841 P.. 1857. T. 3. P. 337.

127

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 157.

Rémusal C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 274.

129

Ibid. P. 332.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 435.

131

Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 50.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 242.

133

Pasquier E. D. Histoire de mon temps: Mémoires. P., 1893. T. 1. P. 160.

Ibid.

135

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 719.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 251.

137

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 49–50.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 210.

139

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 248.

Ibid.

Ibid. P. 257.

Ibid. P. 258.

Ibid. P. 254.

Napoléon. Correspondence. P., 1858. T. 19. P. 15, 384.

145

Bloy L. L'âme de Napoléon. P. 11.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 455.

147

Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 173.

148

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 1. P. 253.

Napoléon, der ganz in der Idee lebte, konnte sie doch im Bewusstein nicht erfassen; er leugnet alles Ideelle durchaus und spricht ihm jede Wirklichkeit ab, indessen er eifrig es zu verwiklichen trachtet.

150

Rupp J. Mémoires du général Rapp (1772–1821) aide-de-camp de Napoléon. P., 1895. P. 147–153; Fauvelet de Bourrienne L. A. Memoires sur Napoléon. T. 4. P. 411–417; Constant de Rebecque H. B. Mémoires… sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. Bruxelles, 1830. T. 3. P. 115.

151

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 569.

Fournier A. Napoléon I. P., 1891. T. 1. P. 63.

153

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 556, 562, 566.

154

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 154.

155

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 436.

156

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon (1819–1821). P., 1898. T. 1. P. 134, 145.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 65.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 453.

Fournie.A. Napoléon I. T. 1. P. 262.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 19.

161

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 158. Ce n'est pas fanatisme qui est à craindre maintenant, mais l'atheism.

162

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 91.

163

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 2. P. 32.

Los Cases E. Le memorial… T. 3. P. 246.

165

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 48.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 182.

167

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 217.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 410.

169

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 1. P.148.

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 76–77.—

171

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 35.

O'Méara B. E, Napoléon en exil. T. 2. P. 39.

173

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène, 1815–1821. P., 1912 P. 434, 478.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 5, 6.

175

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 6. P. 385.

176

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 382–389. Сохранился только черновик повести, довольно безграмотный, на плохом французском языке. Я должен был слегка упростить в объяснить его: иначе осталась бы непонятной страшная сила мысли и чувства.

177

Gourgaud C. Sainte-Hélène. T. 1. P. 101.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 112.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 209.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 101.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 125.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 368.

183

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 1. P. 278.

184

Abrantés L. S.-M. Mémoires de la duchesse d'Abrantés. P., 1923. T. 1. P. 15.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 170.

Gourgaud G. Sainte Hélène. T. 1. P. 346.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 165.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 465.

189

Пушкин А. С. К морю (1824).

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 165.

191

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160.

192

Fauvelet de Bourrienne L. A Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 389.

193

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 32.

195

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 140.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 76.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P., 1902. P. 25.

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. T. 9. P. 25.

199

Тютчев Ф. И. Неман (1853).

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 101.

201

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 100–101.

Houssaye H. 1815. T. 2. P. 322.

203

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 88.

Levy A. Napoléon intime. P. 339.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 335.

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 61.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 125.

Charles de Clary. Trois mois à Paris lors du mariage de l'empereur Napoléon I-er et l'archiduchesse Marie-Louise. P., 1914. P. 83.

209

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. a P. 383; T. 1. P. 106; T. 2. P. IX.

210

Foin A. J. E. Mémoires du baron Fain, premier secrétaire du cabinet de l'empereur. P., 1909. P. 291.

211

Fauvelet de Bourrienne L A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 150.

Vandal A. Napoléon et Alexandre I-erà. L'alliance russe sous le premier empire. P., 1914. T. 2. P. 256.

213

Las Cases E. Le mémorial… T. 1. P. 361.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 91.

215

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 1. P. 106.

Ibid. T. 3. P. 81.

217

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 359.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 118.

219

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 82.

Ibid. P. 255.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 313; T. 2. P. 6.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 160.

223

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 252.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 263, 264.

Ibid. P. 25–26.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 192.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 162.

Ibid.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 185–187.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 165.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 194.

Lacour-Gayet G. Hapoléon. P. 165.

233

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 269.

Ibid. P. 274.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 347, 389, 390.

Ibid. P. 388.

Ibid. T. 3. P. 273.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 423, 441.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 260.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1.

241

Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 267.

Ibid. T. 4. P. 641.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 103.

Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 169.

245

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 17; Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 305; Abell L. E. Napoléon à Sainte-Hélène: Souvenirs de Betzy Balcombe. P., 1898. P. 62.

Вопреки сомнению Бурриенна (1, 372), это подтверждают не только граф Дор, хирург Ларрей, доктор Дженетт, но и сам Наполеон в беседе с О'Меара (3, 210).

Houssaye H. 1815. T. 3. P. 356.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 3. P. 363.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 346.

Fournier A. Napoléon I. T. 2. P. 223.

251

Fain A. J. E. Mémoires. P. 253–257.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 403.

Houssaye H. 1815. T. 2. P. 229.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 312.

255

Marbot M. Mémoires. P., 1891. T. 2. P. 203, 210; Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 358; Las Cases E. Le memorial. T. 3. P. 222.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 169.

Houssaye H. 1815. T. 3. P. 41.

Fain A. J. E. Mémoires. P. 291.

Ibid. P. 301.

260

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 139.

261

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 243; T. 1. P. 273–274.

Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 198.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 658–659, 642.

Fain A. J. E. Mémoires. P. 95.

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 1. P. 7.

Ibid. T. 4. P. 20.

Levy A. Napoléon intime.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 217.

269

Fauvelet de Bourrienne L A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 150.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. P., 1893.

Abell L. E. Napoléon a Sainte-Hélène. P. 21, 108.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 40, 450.

273

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 564; Abrantés L. S.-M. Mémoires. T. 2. P. 304. Наполеон на смертном ложе, рисунок английского капитана Мерриета (Marryat), сделанный 5 мая 1821 г., в самый день смерти императора.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 35.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. P., 1902 T. 1. P. 261.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 19.

277

Levy A. Napoléon intime. P. 488.

Pradt de. Histoire de l'ambassade dans le grand duché de Varsovie en 1812. P. 94; Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 92.

Pradt de. Histoire de l'ambassade…

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 117.

Ibid. P. 34.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 246.

283

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 228.

Holland H. R. Souvenirs des cours de France, P. 200.

285

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 65.

Houssaye H. 1815. T. 3. P. 215.

287

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 263.

Ibid. P. 301.

289

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 107.

Баратынский Е. А На смерть Гете (1832).

291

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 28.

Ibid. P. 103.

Levy A. Napoléon intime. P. 447.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 355.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 198.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 3. P. 337.

Houssaye H. 1815. T. 3. P. 616.

298

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 387. «Il faut jouer le tout pour le tout»

«J'aimerais plus repos; mais le boeuf est attelé, il faut qu'il labour».

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 523.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 250–251.

Fain A. J. E. Mémoires. P. 77–78.

303

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 375.

Levy A. Napoléon intime. P. 488.

305

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 549.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 95–96.

Pradt de. Histoire de l'ambassade… P. X, 5.

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 32.

309

Pelet de la Lozere. Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d'administration, recueilliers par un membre de son conseil d'état. P., 1833. P. 8.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 109.

311

O'Méara B. E. Mémoires. T. 1. P. 29.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 96.

313

Levy A. Napoléon intime. P. 51.

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 3.

315

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 145.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 257.

317

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 12.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 216.

319

Fain A. J. E. Mémoires. P. 92.

Ibid. P. 115.

321

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 153.

322

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 296; Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 38; Fain A. J. E. Mémoires. P. 290.

323

Fain A. J. E. Mémoires. P. 290.

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 3. P. 308.

Fain A. J. E. Mémoires. P. 3, 57.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 145.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 367.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 649–650.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 203.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 47.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 192.

Ibid.

Ibid.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. P., 1889.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 16.

336

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 4. Это сказано почти накануне 18 Брюмера.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 163.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 424.

Lacour-Gayet G. Napoléon.

Gourgaud G. Sainte. Hélène. T. 2. P. 460.

341

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 194.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 314.

343

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 461.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 316.

Ibid. P. 315–316.

Ibid. T. 4. P. 144.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 300, 291.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 219.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 194.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 300.

Ibid. P. 308.

352

Anlommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 110. Умирающий Наполеон произнес внятно только два слова — tête! armée. Вероятно, «tête» значит «tête de pont» — мостовое укрепление. Смысл бреда: мост — армия: сражение на мосту.

Masson F. Mme Bonaparte (1796–1804). P., 1920. P. 91.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 304.

355

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 2. P. 167.

Houssaye H. 1814. P., 1925. P. 312.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 153.

Ibid. T. 2. P. 271.

359

Levy A. Napoléon intime. P. 279.

Ibid. P. 171.

361

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 311.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 222.

363

Marbot M. Mémoires. T. 2. P. 16.

Houssaye H. 1815. T. 2. P. 271.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 285.

Ibid. T. 3. P. 351–359; Marbot M. Mémoires. T. 3. P. 200.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 180.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 250.

369

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 76.

Тютчев Ф. И. Неман.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 200.

Ibid. P. 201.

Houssaye H. 1815. T. 2. P. 82.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 306.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 570.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 346.

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 140.

Ibid. T. 1. P. 296.

Ibid. T. 3. P. 267.

Ibid. T. 4. P. 243.

Ibid. T. 1. P. 300–309.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 212.

383

Barrés M. Les déracines. P., 1897. Баррес называет Наполеона не совсем удачно профессором энергии, le professeur de l'énergie. Менее всего Наполеон похож на профессора; да и само слово «энергия» слишком отвлеченно и механично для такого органического явления, как Наполеоново мужество. Но мысль верна.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P., s.a.

385

Пушкин А. С. Пир во время чумы.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 457.

Thiébault P. Mémoires. T. 4. P. 250.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 54.

389

Fauvelet de Bourrienne L A Mémoires sur Napoléon. T. 5. P. 428.

390

Мережковский Д. Тайна Трех. Прага: Пламя, 1925. С. 286–289, об отношении Гильгамеша к Атлантиде.

391

Gilgamesh. Tablet XI: La poème chaldéen du déluge. P., 1885. P. 206.

Ibid. Tablet I. P. 1—51.

Abell L. E. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 112.

Il me semble quelquefois que je suis morte et qu'il ne me reste qu'une sorte de faculté vague de sentir que je suis plus.

395

Je suis la mère de toutes les douleurs.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 5.

Macdonald J.-E.-J. Souvenirs du maréchal Macdonald, duc de Tarente. P., 1910. P. 280.

Майков А. Н. Три смерти (1857).

399

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 477; Masson F. Napoléon et son fils. P., 1912. P. 238; Masson F. Joséphine repudiée (1809–1814). P. 296.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 20.

Ibid. P. 34.

Ibid. P. 47.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 181.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 182.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 71.

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 1. P. 102.

407

Fauvelel de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 3. P. 499. Guilio, conte improvisé par Napoléon. «On vit paraitre â Rome un être mystérieux qui prétendait dévoiler les secrets de l'avenir et qui s'enveloppait d'ombres si épaisses que son sexs même était l'object de doute et de discussion. Les uns décrivaient les formes et les traints d'une femme, tandis que les autres justifiaient leur effroi en lui donnant l'aspect d'un monstre hideux». Сам Наполеон — «корсиканское чудовище»: у него тоже «магнетическое предвидение» и «полнота не нашего пола», «un embonpoint qui n'est pas de notre sexe» (Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 88).

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 513, 509.

Ibid. T. 4. P. 181.

410

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon, T. 1. P. 326.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 298.

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 115.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 197.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 471.

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 1. P. 280.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 337.

417

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 363.

Thibaudeau A.-C. Mémoires. P. 455. Слово Фуше.

419

Levy A. Napoléon intime. P. 341.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 181.

421

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 149.

Vandal A. Napoléon et Alexandre I-er. T. 2. P. 164.

Masson F. Le sacre et le couronnement de Napoléon. P., 1925. P. V.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 254.

425

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 2. P. 56.

Ibid. T. 4. P. 245.

Thiébault P. Mémoires. T. 4. P. 390–393.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 152.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. P., 1889.

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 60.

431

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 390.

Ibid. T. 3. P. 380.

433

Bloy L L'âme de Napoléon. P. 9, 97, 232.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 163.

435

Тютчев Ф. И. Сон на море (1836).

Fauvelet de Bourrienne L A Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 389.

Las Cases E. Le memorial… T. 4.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 362.

Miot de Melito A. F. Mémoires. P., 1880. T. 1. P. 289.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 74.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 42.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 162.

Houssaye H. 1815. T. 3. P. 393.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 363.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 367.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 185.

Ibid. P. 334.

Abrantés L S.-M. Mémoires. T. 2. P. 53.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 54.

450

Жорж Кадудаль, роялистский заговорщик 1804 г.

451

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 74.

452

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 3. P. 340; Ségur P. P. Histoire et mémoires. T 4. P. 81.

453

Segur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 457.

Ibid. T. 4. P. 87.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 158–159.

Ibid. T. 2. P. 60.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 287.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160–161.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 191.

Ibid. T. 1. P. 350.

461

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 383.

Ibid. T. 3. P. 390.

Dante. Purgatorio. P. XXV, 109.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 151–152.

Masson F. Le sacre et le couronnement de Napoléon. P. V.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 84.

Ibid.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 267.

Ibid. P. 242.

470

Лермонтов М. Ю. «Гляжу на будущность с боязнью…» (1838).

Fain A. J. E. Mémoires. P. 287.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 70.

Las Cases H. Le memorial… T. 3. P. 266.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 54

Ibid.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 567.

Thibaudeau A.-C. Mémoires. P. 168.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 83.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 40.

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 26.

481

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 120; Las Cases E. Le. memorial… T. 1. P. 82.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 44.

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 9.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 283.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 52.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. Z P. 184.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 286; Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 47.

Las Cases E. Le memorial… T. 2 P. 335.

Ibid. P. 362.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. P. 269.

Ibid. P. 213.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 51.

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 360.

494

Мопассан Ги де. Счастье (1884).

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 273.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 94.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 271.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 52.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 273.

500

Стендаль. Красное н черное.

501

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 165.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 77–78.

503

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 4. P. 245. «Préoccupation pour ainsi dire létargique»; Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 389. «Une sorte de prévision magnétique de ses futures destinées».

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 79.

505

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 21.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon, T. 1. P. 117.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 246.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 267.

509

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 118.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 552.

Ibid. P. 381.

512

Stendhal. Le rouge et le noir. P. 72.

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 267.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 129.

515

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 5.

Ibid. P. 569.

517

Masson F. Napoléon dans sa jeunesse, 1769–1793. P., 1911. P. 83–86.

518

Fauvelet de. Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. I. P. 24; Masson F. Napoléon dans sa jeunesse. P. 88.

519

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 240.

Masson F. Napoléon dans sa jeunesse. P. 89.

521

Levy A. Napoléon intime. P. 33.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 210.

523

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 231.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 262.

Miot de Melito A. F. Mémoires. P., 1880.

Ibid. T. 2. P. 274. «Je fais toujours ce que je dis. ou je meurs».

Levy A. Napoléon intime. P. 34–35.

Masson F. Napoléon et sa famille. P., 1900. T. 1. P. 114.

Lacour-Gayet G. Napoléon, P. 336.

Lacour-Gayet C. Napoléon. P. 17.

531

Levy A. Napoléon intime. P. 43.

Ibid. P. 45.

Abrantés L. S.-M. Mémoires. T. 1. P. 15.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 523, 529.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 102.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 5–6.

Ibid. P. 1.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 75.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 2. P. 22.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 394.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 2. P. 94–96.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 562.

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 4.

Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 127.

Ibid. P. 141.

Ibid. P. 23.

Ibid. P. 567.

Fauvelet de Bourrienne L. A Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 389.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 2. P. 293–294.

Ibid. P. 290–291.

Ibid. P. 294.

Ibid. T. 3. P. 11.

Ibid. P. 10.

Levy A. Napoléon intime. P. 51.

Masson F. Napoléon dans sa jeunesse. P. 313–314.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 20.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 18.

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 66.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 115.

Ibid. P. 126.

Ibid. P. 144.

Ibid. P. 145.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 105.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 163.

Ibid. P. 166.

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 356.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 111.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 424.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 114.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 193.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 115.

Ibid. P. 117–118.

Ibid. P. 118.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 216.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 216–218.

Ibid. P. 221.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 120.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 230.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 133.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 81–83.

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 114.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 73–75.

Levy A. Napoléon intime. P. 457.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 452.

Thiébault P. Mémoires. T. 1. P. 533.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 452.

587

Thiebault P. Mémoires. T. 1. P. 534–537; Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 123; Stendhal. Vie de Napoléon. P. 96–98; Marmont A. F. L. Mémoires. T. 1. P. 84; Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 163–167.

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 126.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 340.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 112.

591

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 210.

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 1. P. 279.

593

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 326.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 340.

Masson F. Mme Bonaparte. P. 14.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 344.

Masson F. Mme Bonaparte. P. 132.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 8.

Holland H. K. Souvenirs des cours de France… P. 200.

Levy A. Napoléon intime. P. 102.

601

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 54.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 278.

603

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 129.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 127.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 31.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 165.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 248.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 194.

609

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 195.

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 170.

611

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 232.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 127.

613

Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 170.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 40.

Ibid. P. 33.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 38.

617

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 40.

618

Metternich. Mémoires, documents et écrits divers. T. 1. P. 147; Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. T. 9. P. 141.

619

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 181.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 120.

621

Ibid.

Ibid. T. 4. P. 144.

623

Мережковский Д. Наполеон-Человек. Гл. VII. Вождь. Некоторые повторения как здесь, так и в других местах неизбежны, потому что те же события освещаются другим светом.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 317.

Ibid. P. 323.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 33.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 279.

Ibid. P. 289.

629

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 46.

Abrantés L. S.-M. Mémoires. T. 1. P. 15.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 55.

Ibid. P. 51.

633

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 1. P. 230.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 1. P. 356.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 283.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 1. P. 367.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 420.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. P. 51.

639

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 274.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 11.

641

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 435.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 10.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 134.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 65.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 1. P. 433.

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 84–85; Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 256; Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 1. P. 363.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 48.

Ibid. P. 52.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 40.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 5–6.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 88.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 293.

Ibid. P. 276.

Ibid. P. 274.

Ibid. P. 221.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 3. P. 2.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 89.

Ibid. P. 51.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 141.

Thiébault P. Mémoires. T. 3. P. 60.

Masson F. Mme Bonaparte. P. 170.

Thiebault P. Mémoires. T. 3. P. 60.

663

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 357.

Marmont A. F. L Mémoires. T. 2. P. 91.

Ibid. P. 93.

Ibid. P. 93.

667

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 3. P. 204.

Vandal A L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 314; Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 87.

669

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 94.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 315–322.

Ibid. P. 357.

Ibid.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 98.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 358–402.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 145.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 104.

Thibaudeau A.-C. Mémoires. P. 7.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 372.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 357.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 160.

681

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 158.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 150.

683

Thiéault P. Mémoires. T. 3. P. 274.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 114.

Ibid. P. 113.

Ibid. P. 455.

Ibid. P. 120.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 290.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 119.

Heraclite. Fragment 6.

691

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 505.

Ibid. T. 1. P. 541.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 2. P. 47.

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 43.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 480.

Rolland P. Histoire de France abrégée. P., 1835. P. 119.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 486.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 290.

Ibid. T. 2. P. 107.

700

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 162; Las Cases E, Le memorial… T. 3. P. 6.

701

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 163.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. Z P. 106.

703

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 162.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 93.

Ibid. P. 22.

Levy A. Napoléon intime. P. 406.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 45.

Levy A. Napoléon intime. P. 482.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 506.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 100.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 161.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 504.

Bloy L. L'âme de Napoléon. P. 6.

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 3. P. 30.

Abrantes L. S. -M. Mémoires. T. 3. P. 8.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 11.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 88.

Thibaudeau A.-C. Mémoires. P. 22

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 379.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 160.

Miot de Melito A. F. Memoires. T. 1. P. 349.

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 2. P. 35.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 509.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 153.

Miot de Melito A. F. Mémoires. T. 2. P. 163.

Ibid. P. 170.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 274.

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 1. P. 337, 390.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 252.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 363, 264.

Ibid. P. 641.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 19.

Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 169.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 281.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 167.

Miot de Melito A. F. Mémoires. T. 2. P. 184–185.

Masson F. Le sacre et le couronnement de Napoléon. P. 3.

Ibid. P. 88.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 253.

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 114.

Abrantés L. S.-M. Mémoires. T. 3. P. 45–46.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 168.

Masson F. Napoléon et sa famille. T. 1. P. 273.

Ветхий Завет. Книга судей. 14:14.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 218.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 510.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 224.

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 3. P. 183.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 2. P. 212, 216.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 328.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 531.

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 217; Marmont A. F. L. Mémoires. T 2. P. 215.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 237.

Тютчев Ф. И. Неман.

Fauvelet de Bourrienne L. A Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 389.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160; Miot de Melilo A. F. Mémoires. T. 1. P. 289.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 242.

Marbot M. Mémoires. T. 2. P. 20.

759

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 183.

Marbot M. Mémoires. T. 2. P. 39.

761

Тютчев Ф. И. Полдень (1827–1830).

Vandal A. Napoléon et Alexandre I-er. T. 1. P. 58, 67.

Abrantés L. S.-M. Mémoires. T. 2. P. 25.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 67.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 29.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 243.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 289.

768

Тютчев Ф. И. «Душа хотела б быть звездой…» (1836).

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 239.

Ibid. P. 410–411.

Ibid. P. 412, 416.

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 166, 171.

Marbot M. Mémoires. T. 3. P. 113.

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 171.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 616.

Vandal A. Napoléon et Alexandre I-er. T. 1. P. 120.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 242–243.

Ibid. P. 263.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 3. P. 337.

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. T. 9. P. 124.

781

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 2. P. 440–441.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 33.

783

Rémusat C.-É G. de. Mémoires. T. 3. P. 221.

Слово Достоевского о Пушкине.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 441.

Vandal A. L'avènement de Bonaparte. T. 1. P. 272.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 459.

Fauvelet de Bourrienne. L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 148.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 442.

Marbot M. Mémoires. T. 2. P. 79–84.

«Vous n'êtes que du fumier dans un bas de soie».

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 423.

Thiebault P. Mémoires. T. 4. P. 394.

Bloy L L'âme de Napoléon. P. 169.

Fournier A. Napoléon 1. T. 3. P. 8.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 297.

Marbot M. Mémoires. T. 2. P. 85.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 254.

Ibid. P. 309.

800

Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 353–359.

801

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 3. P. 243.

802

Rapp J. Mémoires. P. 147–153; Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 411–417; Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 3. P. 115; Мережковский Д. Наполеон-Человек. Гл. «Человек из Атлантиды». Здесь опять неизбежное повторение, потому что то же событие освещается другим светом — не личности, а времени.

803

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 419.

Rapp J. Mémoires. P. 166–167.

«Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung».

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 464.

Ibid. P. 423.

Ibid. P. 424.

809

Masson F. Joséphine répudiée. P. 46.

Masson F. Napoléon et les femmes. P., 1927. P. 271.

811

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 13–14.

Masson F. Napoléon et son fils. P. 309.

813

Constant de. Rebecque H. B. Mémoires. T. 3. P. 215.

Abrantés L. S.-M. Mémoires. T. 3. P. 215.

815

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 3. P. 215.

Macdonald J.-E.-J. Souvenirs. P. 284.

817

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 383.

Masson F. Napoléon et les femmes, P. 295.

Ibid. P. 314.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 640.

821

Ibid. T. 2. P. 168.

Bloy L. L'âme de Napoléon. P. 151.

823

Rémusat C.-É C. de. Mémoires. T. 3. P. 50.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 248.

Ibid. P. 254.

Ibid. P. 257.

827

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 470.

Bloy L. L'âme de Napoléon. P. 151.

829

Мережковский Д. Наполеон-Человек. Гл. «Владыка мира».

830

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 407.

831

Bloy L. L'âme de Napoléon. P. 152.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 383–384.

833

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 3. P. 65.

Thibaudeau A.-C. Mémoires. P. 286.

835

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 387.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 140.

Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 269.

Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 95.

839

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 4. P. 338.

Rémusat C.-É. G. de Mémoires. T. 1. P. 125.

841

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 3. P. 304.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 176.

843

Constant de Rebecque. H. B. Mémoires. T. 1. P. 286.

Masson F. Le sacre et le couronnement de Napoléon. P. 5.

845

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 383.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 5. P. 2.

847

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 3. P. 80.

Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 1. P. 50.

849

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 5.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 87.

851

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 158.

852

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 8.

853

Vandal A. Napoléon et Alexandre I-er. T. 1. P. 492.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 131.

Ibid. P. 138.

Ibid. P. 281.

Ibid. P. 205, 212.

Ibid. P. 271.

Ibid. P. 373.

Ibid. P. 374.

861

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 216.

862

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 43.

863

Ibid. T. 4. P. 381.

Ibid. P. 385, 387.

Ibid. P. 399.

Ibid. P. 386.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 279.

Ibid. T. 2. P. 245.

869

Ibid. T. 4. P. 153.

Ibid. T. 5. P. 32.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 181.

Ibid. T. 5. P. 51.

Ibid. P. 75.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 207.

Rapp J. Mémoires. P. 260–261.

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 3. P. 440.

877

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 321.

Ibid. P. 324.

879

Marbot M. Mémoires. T. 4. P. 91; Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 3. P. 444.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 343.

881

Fournier A. Napoléon I. T. 3. P. 130.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 478.

883

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 3. P. 474.

las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 243.

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 212.

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 5. P. 5.

Lacour-Gayet G, Napoléon. P. 484.

Ibid. P. 488.

889

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 357.

Ibid. P. 373.

891

Ibid. T. 2. P. 60.

Marbot M. Mémoires. T. 4. P. 181.

Ibid. P. 185.

Ibid. T. 5. P. 300.

895

Fain A. J. E. Mémoires. P. 290; Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 6. P. 180.

Macdonald J.-E.-J. Souvenirs. P. 224.

897

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 6. P. 187.

Stendhal. Vie de Napoléon. P. 287.

899

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 496.

Marbot M. Mémoires. T. 4. P. 191.

901

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 497.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 498.

903

Houssaye H. 1814. P. 4.

Ibid. P. 7.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 507.

Ibid. P. 504.

907

Ibid.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 356.

909

Houssaye H. 1814. P. 399.

910

Ibid.

Ibid. P. 252.

Ibid. P. 445.

913

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 6. P. 8.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 481.

915

Marmont A. F. L. Mémoires. T. 6. P. 51.

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 6. P. 479.

917

Ibid.

Houssaye H. 1814. P. 519.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 513.

920

Houssaye H. 1814. P. 63.

921

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 513.

Ibid. P. 511

923

Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 4. P. 197.

Houssaye H. 1814. P. 410.

925

Fain A. J. fi. Mémoires. P. 203.

Houssaye H. 1814. P. 413.

Ibid. P. 541–542.

Ibid. P. 591–592.

Ibid. P. 604–607; Macdonald J.-E.-J. Souvenire. P. 264.

Ibid. P. 600–601.

Ibid. P. 637.

Ibid.

Ibid. P. 641.

Ibid.

935

Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 7. P. 196–199; Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 2. P. 325; Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 4. P. 256–270; Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 173.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 558.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 526.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 266.

939

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 501.

940

Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 5. P. 387.

Macdonald J.-E.-J. Souvenirs. P. 300–301.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 151.

Ibid. P. 7.

Napoléon. Manuscrits inédite. P. 382.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 179.

Ibid. P. 176.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 531.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 172.

949

Thibaudeau A.-C. Mémoires. P. 417.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 174.

Ibid. P. 175.

Holland H. K. Souvenirs des cours de France… P. 145.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 193.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 238.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 235.

Ibid. P. 247–248.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 463.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 255, 260.

Ibid. P. 249.

Ibid. P. 310.

Ibid. P. 276.

Ibid. P. 303.

963

Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 467.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 492.

Ibid. P. 275.

Ibid. P. 306.

Ibid. P. 312.

Ibid. P. 313.

Ibid. P. 315.

Thiebault P. Mémoires. T. 5. P. 277.

Ibid. P. 298.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 300.

Ibid. P. 445.

Ibid. P. 459.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 161.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 558–559.

Ibid.

Thibaudeau A.-C. Mémoires. P. 459.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 616.

Ibid. T. 2. P. 82.

Ibid. P. 84.

Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 161.

Houssaye H. 1815. T. 2. P. 488.

Ibid. P. 498.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160–161.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 123.

Ibid. P. 165.

Ibid. P. 184.

Ibid. P. 260.

Ibid. P. 232.

Ibid. P. 233.

Ibid. P. 269.

Ibid. P. 495.

Ibid. P. 285.

Ibid. P. 318–319.

Ibid. P. 329.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 314.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 344.

Ibid. P. 345.

Ibid. P. 351.

1001

Ibid. P. 364.

Ibid. P. 374.

1003

Ibid. P. 393.

1004

Ibid.

1005

Kennedy J. S. Notes of the battle Waterloo. L, 1865. P. 127–130.

1006

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 403.

1007

Ibid. P. 409.

Ibid. P. 410.

1009

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 242.

1010

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 416.

Ibid. P. 418.

Staël-Holstein A.-L G. de. Mémoires. P., 1882. P. 226.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 440–441.

Ibid. P. 448.

Ibid. P. 450.

1016

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 267.

1017

Лермонтов М. Ю. Штосс (1841).

Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 252.

1019

Fournie. A. Napoléon I. T. 2. P. 233.

1020

Houssaye H. 1815. T. 3. P. 14.

Ibid. P. 16–22.

Ibid.

1023

Bonaparte L. La vérité sur les Cent jours. P., 1835. P. 56–61; Houssaye H. 1815. T 1. P. 39–40.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 41.

1025

Courgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 499.

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 60–62.

Ibid. T. 3. P. 78–79, 87–99.

Lacour-Gayet G. Napoléon. P. 360.

1029

Masson F. Joséphine répudiée. P. 388.

Ibid. P. 418.

1031

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 199.

Ibid. P. 205.

Ibid. P. 206.

Ibid. P. 209.

Ibid. P. 217.

Ibid. P. 223.

Ibid. P. 225.

1038

Levy A. Napoléon intime. P. 341.

1039

Vandal A. Napoléon et Alexandre I-er. T. 2. P. 164.

1040

«Il faudrait que les hommes fussent bien scélérats pour l'être autant que je le suppose».

1041

Napoléon. Manuscrits inédite. P. 33–34.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. P. 363.

1043

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 356.

Ibid. T. 3. P. 364.

Ibid. P. 367.

Ibid. P. 372–377.

Ibid. P. 378–381.

Ibid. P. 386.

Ibid. P. 390.

1050

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 20.

1051

Houssaye H. 1815. T. 1. P. 402

1052

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 46.

1053

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 39.

Ibid. P. 504.

1055

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 48.

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 44–45.

Ibid. P. 47.

1058

Rémusat C.-É. G. de. Mémoires. T. 1. P. 125.

1059

Abell L. Я. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 2.

1060

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 333.

1061

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 69.

1062

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 317.

1063

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 50, 121.

1064

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 317.

1065

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 228.

1066

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 317.

1067

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 4. P. 77.

1068

Gourgaud G. Sainte-Hélène. Письмо императору Александру I.

1069

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 140.

Ibid. T. 1. P. 504.

1071

Abell L. E. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 31, 41.

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 231.

1073

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 74.

1074

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. Z P. 129.

Ibid. P. 124.

Ibid. P. 259.

1077

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 117.

1078

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 1. P. 522.

Ibid. T. Z P. 346.

Ibid. P. 430.

Ibid. P. 206, 210.

Ibid. T. 1. P. 430.

1083

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 363.

Ibid. P. 350.

Ibid. P. 251.

Ibid. P. 261.

1087

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 478.

1088

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 484.

1089

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 256.

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 40.

Ibid. P. 43.

Ibid. T. 2. P. 350.

1093

Ibid. T. 1. P. 117.

Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 266.

1095

O'Méara B. E. Napoléon en exil. T. 1. P. 131.

1096

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 8.

1097

Ibid. T. 1. P. 310.

Ibid. T. 3. P. 267.

1099

Ibid. T. 4. P. 55. «Napoléon cloué sur un roc à la façon de Promété».

1100

«Bony» — английское уменьшительное от Bonaparte.

1101

Abell L. E. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 64; O'Méara B. E Napoléon en exil. T. 1. P. 17.

1102

Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 305.

1103

Ibid. P. 307–310.

Ibid. P. 106.

1105

O'Méara B. E. Napoléon en exil. P., 1897.

1106

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 163.

1107

Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 649.

1108

Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 225.

1109

Gourgaud G. Sainte-Hélène. T. 2. P. 271.

1110

Ibid. T. 1. P. 441.

1111

Ibid. T. 2. P. 363.

Ibid. P. 437; T. 1. P. 440, 386 et passim.

1113

Ibid. T. 2. P. 464, 456.

Ibid. P. 26–27.

1115

Ibid. T. 1. P. 453–454.

1116

Лермонтов М. Ю. Пленный рыцарь (1840).

1117

Anlommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 1. P. 269.

Ibid. P. 295, 308.

Ibid. P. 327.

Ibid. P. 325–326.

Ibid. P. 328, 333.

Ibid. T. 2. P. 58.

Ibid. P. 19.

1124

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 471.

Ibid. P. 455.

1126

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon, T. 2. P. 54.

Ibid. P. 61, 63.

Ibid. P. 85.

1129

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 561.

Ibid. P. 462.

1131

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 96, 97, 103.

1132

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 462.

1133

Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 198.

1134

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 473.

1135

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 105.

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 240.

1137

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 100.

1138

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 476.

1139

Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 640.

1140

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 434.

1141

«Огненная часовня» — «полуелей» надгробный.

1142

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 478; Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 87.

1143

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 479.

Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 234.

1145

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 479.

Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 107.

Ibid. P. 105.

1148

Masson F. Napoléon à Sainte-Hélène. P. 487.